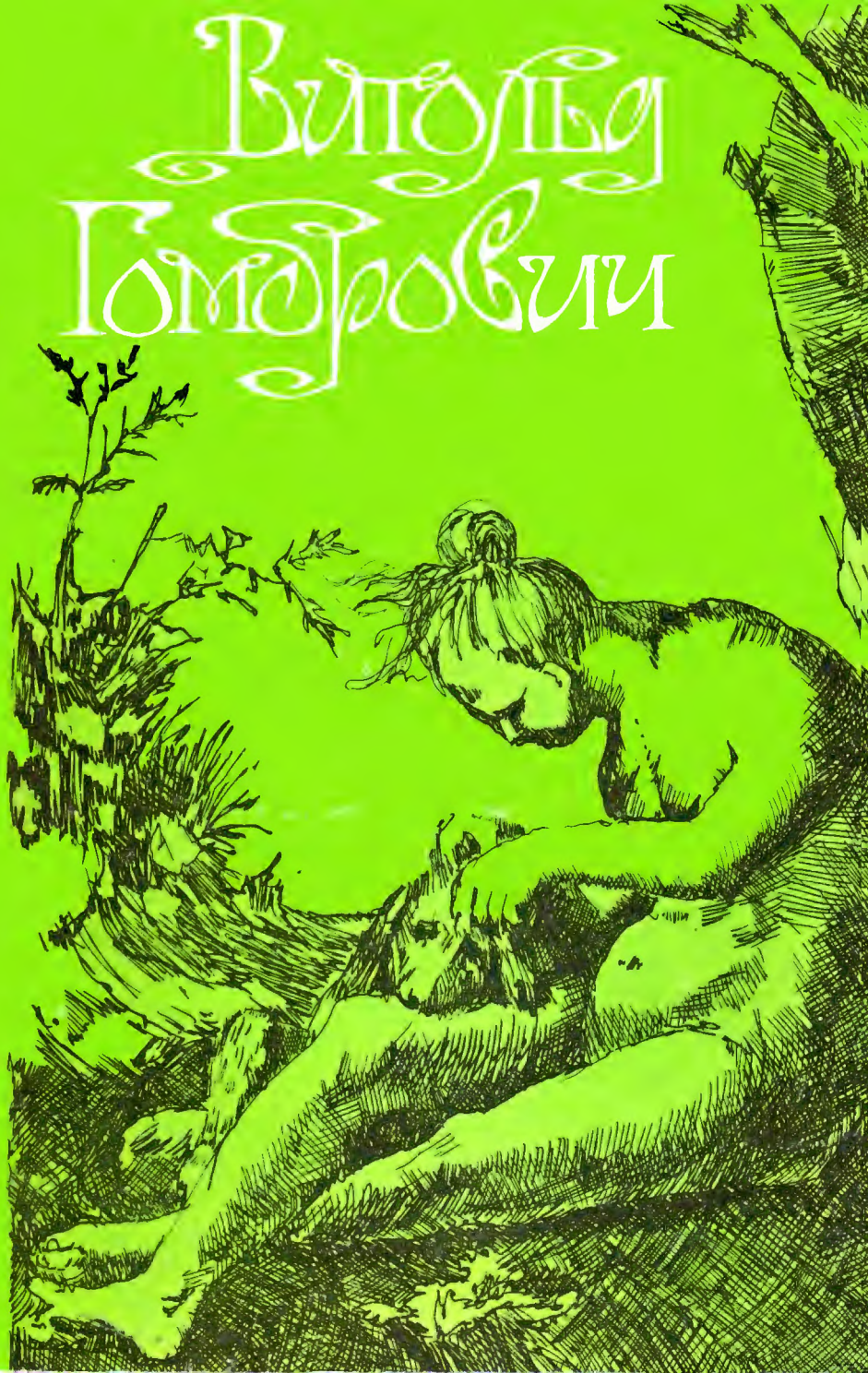


Владимир Гомарович

Владимир Гомарович



"ДЕЛОВАЯ"
Москва 1992

Witold
Gombrowicz

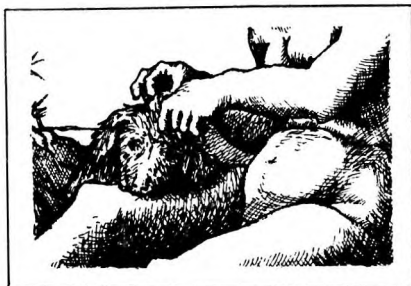


Dziwictwo
i inne opowiadania

Pornografia
powieść

Z Dziennika

Витольд Гомбрович



Девственность
и другие рассказы

Порнография
роман

Из дневника

“ЛАБИРИНТ”
Москва 1992

**Перевод с польского, комментарий, послесловие
Юрия Викторовича Чайникова**

**Иллюстрации, художественное оформление
Анны Владимировны Фомичевой**

Редактор Г.Н. Шелогурова

© Ю.В. Чайников, перевод, комментарий, послесловие, 1992 г.

© А.В. Фомичева, иллюстрации, художественное оформление, 1992 г.

ISBN 5-87604-007-X Издательство “Лабиринт”, 1992 г.

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ В ЛАБИРИНТЕ МНЕНИЙ (вместо предисловия)

Писатель, завоевавший после второй мировой войны международную известность и безусловное признание у своих молодых польских коллег, для которых он — эмигрант с 1939 года — все же стал авторитетным мэтром, — Витольд Гомбрович начинал как типичный выходец из зажиточной шляхетской семьи. В литературных кругах было не принято помянуть собственную родословную, но по этой самой причине он свое происхождение постоянно подчеркивал — выворачивать наизнанку узаконенные нормы поведения вообще характерно для его “метода”. Гомбрович завершил курс права в Варшавском университете, затем изучал философию и экономику в Париже, но забросил многообещающую карьеру юриста сразу после литературного дебюта — сборника безумных новелл “Дневник периода возмужания” (1933). Не менее безумным оказался его роман “Фердыдурке” (1938) и пьеса “Ивона, принцесса Бургундии” (1938). Слово “безумный” здесь подразумевает лишь то, что Гомбрович будоражил читателя всякими дурачествами. И в самом деле, он вел игру, состоящую из бесконечных провокаций, и загонял читателя в угол, вынуждая его признавать самые неприятные истины. Склонный к философствованию, но совершенно чуждый всякого пиетета к университетской философии, Гомбрович и к литературе не испытывал особого почтения. Он презирал литературу как напыщенный ритуал и, даже обращаясь к ней, старался избавиться от всех ее предустановленных правил.

Чеслав Милош

“Независимая Польша: 1918 — 1939”
(в его “Истории польской литературы”, 1969)

Не будем забывать, что Гомбрович писал в “Дневнике”: “Я не верю в незротическую философию”. И если эротика — основа

всего его творчества, то глубинная сущность эротики по Гомбровичу та же, что и у Жоржа Батая: в эротике замешаны ужас, распад, смерть и... святость — но лишь видимость святости. “Благочестие аб-со-лют-но необходимо: малейшие из самых маленьких радостей нельзя вкушать без благочестия”, — говорит страшный и сардонический Леон в “Космосе”. Было бы абсурдом сводить “Фердыдурке” к гомосексуальности, “Порнографию” — к эротическим опытам, “Космос” — к онанизму. Но гений Гомбровича самые абстрактные идеи воплощает в сопряжении с эротикой.

К.А. Еленьский
“Витольд Гомбрович”
 (“Три-квотерли”, 1967, № 9)

Без сомнения, в маскараде Гомбровича немало от атмосферы 1930-х годов: “большие жесты” немодного кино, дразнящий эротизм эстрадных ревию, беднеющие семьи, которые пока еще могут себе позволить содержать слуг. И интеллектуальная страсть к парадоксам...

Иржи Петеркевич
“Вилы и страх”
 (“Энкаунтер”, 1971, март)

Гомбрович, не скрывая собственного имени, путешествует по своим романам в качестве рассказчика-взрослого, которого влечет к себе неоформленный, разомкнутый мир Юности. До тридцати лет в нас прибывает жизни, а после тридцати — смерти.

Юные существуют в своем особом времени, у них свой язык, отличный от языка старших.

В каждом из нас живет гадкий, неловкий, аморальный ребенок, который ковыряет в носу обрывает мухам крылышки, пока благопристойно-взрослый экстерьер вежливо передает солонку.

И в самом деле, все герои Гомбровича способны совершать

хорошие поступки лишь из страха перед дурными поступками. Абсолютная порядочность — это абсолютный маскарад.

Гэри Индиана
“Сердца как пята...”
(“VLS”, 1987, май, № 55)

“Порнография”, написанная двадцатью годами позже, чем “Фердыдурко”, — более традиционная и целостная вещь, совершенная по композиции и безукоризненно мрачная.

Гомбрович, этот апостол незрелости, с поразительной зрелостью подчинил и свои искания формы, и свои подсознательные комплексы принципам искусства, создав, как сказано в его собственном предисловии к английскому изданию, “благородный, классический роман..., чувственно-метафизический роман”.

Не Пиррова ли это победа? Что если концептуальная стройность и драматургическая цельность “Порнографии” достигнуты за счет той честности, которая постоянно ощутима в сумбуре “Фердыдурке”? Ведь, проникая за воображаемый занавес, отделяющий его от военной Польши, и создавая за ним связанное “классическое” действие, Гомбрович в определенном смысле прячется от нас; книга, подобная “Фердыдурке”, существует в качестве фантастического комментария к реальному миру, в то время как “Порнография” — это мир в миниатюре, завершенный в себе и упакованный в свою завершенность как в целлофан.

Джон Апдайк
“Рассматривая Гомбровича”
(“Нью Йоркер”, 1967, 23 сентября)

Ничего общего с “порнографией” в традиционном смысле слова: всякий, кто немного знаком с клоунадами Гомбровича, сразу заподозрит подвох, едва бросив взгляд на заглавие. Во всем романе — ни одной реалистически изображенной сексуальной ситуации. Если можно говорить об интеллектуальной непристойности (которая здесь не исключена), то она и состоит в

том, что роман не изображает ни одного естественного сексуального акта — ни между молодыми, ни между молодым и старым героями. Никакой сексуальной реальности. Весь секс в состоянии потенциального. Вот это-то Гомбрович и называет порнографией...

Ханс Майер
“Взгляды Витольда Гомбровича”
(в его книге
“Очерки современной литературы”, 1962)

Ни одна вещь Гомбровича не доставляет такого наслаждения, как “Дневник”. Это самое объемное и протяженное во времени его сочинение: более 750 страниц, написанных в течение четырнадцати лет. Когда Гомбрович публиковал “Дневник” в номерах “Культуры”, многие читатели приняли его за документальное произведение, за дневник писателя, который откровенно рассказывает о себе. Но даже случайному читателю быстро открывается, что “Дневник” нельзя приравнять к расширенной статье в биографическом словаре. Его рассказчик стилизован, он лишь приодет под Гомбровича, но не тождествен писателю.

И все же “Дневник” оставляет ощущение такой интимности, которая почти что несовместима с печатным станком. В этом смысле перед нами как бы догутенберговское произведение: оно обращается к читателю точно так же, как некогда обращался к своим слушателям сказитель в мрачных интерьерах средневековых покоев.

Ева Томпсон
“Витольд Гомбрович”
(монография; Твейн Паблшерс, 1979)

Рассказы





Девственность

Нет ничего более искусственного, чем описания молодых девиц и те изысканные сравнения, к коим прибегают в этом случае. Уста как вишня, грудь как розочки, о, тогда б достаточно было купить в магазине немного ягод и цветов! Если б у губ и в самом деле был вкус спелой вишни, кто б тогда осмелился любить? Кто бы тогда соблазнился карамелькой - буквально сладким поцелуем? - Но тсс, довольно, тайна, табу, не будем больше о губах. - Через призму чувств локоть Алиции виделся то белым, гладким, девственным заострением, плавно перетекающим в более теплые тоны плеча, то снова, когда рука безвольно опущена - округлой сладкой ямочкой, тихим закутком, боковым алтариком ее тела. В остальном Алиция была похожа на любую другую дочь отставного майора, воспитанную любящей матерью в пригородном *cottage*. Как и другие - она временами задумчиво поглаживала локоть, как и другие - рано научилась водить носком туфельки по песку...

Но довольно об этом...

Жизнь взрослеющих девиц не сравнить ни с жизнью инженера или адвоката, ни с жизнью хозяйки дома, жены и матери. Взять хотя бы тоску и шум в крови, такие же постоянные, как и тиканье часов. Давно уже кто-то заметил, что нет ничего более необъяснимого, чем быть привлекательным. Нелегко уберечь то существо, закон бытия которого - соблазнять, но Алицию зорко стерегли канарейка Фифи, майорша-мать и пинчер Биби, которого

она держала на поводке во время послеобеденной прогулки. Интересен был сговор домашних животных в деле охраны Алиции. “Биби - пела канарейка, отгоняя недобрые мысли, - Биби, собачка, стереги хорошенько нашу хозяйку. Служи на задних лапках! Служи на задних лапках! Следи за зонтиком: он такой ленивый, пусть хорошенько заслоняет от солнца нашу любимую хозяйку!”

Как-то в один погожий августовский вечер, на закате, Алиция прохаживалась по аллее садика, забавляясь тем, что концом зонтика делала в гравии маленькие круглые ямочки. Садик, небольшой, но милый, был окружен каменной оградой, заросшей вьющимися розочками; какой-то бродяга разлегся под солнцем, на гребне ограды, отколупнул кусок кирпича и кинул в Алицию. Камень ударил ее по лопатке, она пошатнулась, чуть не упала и уж впору ей было закричать, как она заметила, что преследователь не выказывает ни гнева, ни радости, а только другим обломком кирпича снова метит ей в спину. Лицо грубияна выражало лишь лень полуденной сестры, равнодушие и цинизм. Алиция легко улыбнулась ему дрожащими от боли губами, после чего бродяга слез с ограды и исчез - она же вернулась домой”, повтoряя:

- Улыбнулась...

- Алиция! Алиция! - позвала госпожа S., ее мать, - полдник, Алиция!

- Иду, мама, - ответила Алиция.

- Почему ты так шумно пьешь, дитя мое? Где это видано, чтоб так пили чай?

- Это потому, мама, что он очень горячий, - сказала Алиция.

- Но Алиция, не ешь хлеб, если он упал на пол.

- Это я такая экономная, мама.

- Смотри как Биби служит и просит хлебушка с маслом. Постыдись же быть эгоисткой, дитя мое - о-о зачем ты наступила собачке на лапку? Какая муха тебя сегодня укусила? Что случилось?

- Ах, я такая рассеянная, - мечтательно произнесла Алиция.- Мама, а почему мужчины ходят в брюках, ведь ноги есть и у нас? А почему, мама, у мужчин короткие волосы? Мужчины стригутся потому что... что... должны, или потому что так хотят?

- Им бы не пошли длинные волосы, Алиция.
- А почему, мама, мужчины хотят, чтобы им пошло?

И говоря это, она украдкой прятала в рукав серебряную ложечку, с которой пила чай.

- Почему,- говорила госпожа S.- А почему ты себе завиваешь кудряшки? Неужели затем, чтобы мир стал прекрасней и чтобы солнышко не жалело для людей своих лучей? - Но Алиция уже встала и вышла в сад. Достала из рукава ложечку и какое-то время смотрела на нее в нерешительности. - Я украла ее,- шепнула она изумленно. - Украла! Что же мне теперь с ней делать? - И закопала ее под деревом. Ах, если бы в Алицию не попали камнем, она никогда не украла бы ложечку. Женщины, может, и не любят крайностей во внешних проявлениях жизни, но внутренне, если захотят, они смогут вычерпать ситуацию до дна.

Тем временем в дверях дома показался полный мужчина, майор S., и сообщил: - Алиция! Завтра приезжает твой жених, вернувшийся из путешествия в Китай!

Обручение Алиции произошло четыре года назад, когда она вступала в свою семнадцатую весну. - Позвольте ли Вы,- мямлил молодой человек,- прошу Вашего соизволения, чтобы эта ручка была моей. - Как это? - спросила она.- Прощу Вашей руки, Алиция,- пробормотал молодой поклонник. - Надеюсь, Вы не хотите, чтобы я отрезала себе руку,- вымолвила наивная девушка, заливаясь однако румянцем. - Так ты не хочешь быть моей невестой? - Хочу,- ответила она,- но при условии, что дашь мне слово никогда не претендовать ни на одну из частей моего тела, это бессмысленно! - Восхитительно! - воскликнул он,- Вы сами не представляете, как Вы очаровательны. Упоительно! - И весь вечер он повторял, блуждая по улицам: - Она поняла это буквально, она подумала, что я... хотел взять ее руку, как берут кусок торта. Я готов пасть на колени!

Без сомнения, был он весьма видным молодым человеком с белой кожей и пунцовыми губами, духовная же его красота ни в чем не уступала красоте физической. Как же богат и разнообразен дух человеческий! Одни строят свою нравственность на благородстве, другие на сердечной доброте, а у Павла альфой и омегой, подножием и вершиной была девственность. Именно она составляла суть его души и около нее вились все его высокие наклонности.

Шатобриан тоже считал девственность чем-то совершенным и восхищался ею, говоря: *Итак, мы видим, что девственность, которая возвышается с самого низшего звена в цепи естества, растет вверх до человека, от человека к ангелам, а от ангелов - к Богу, в котором и теряется. Бог сам великий затворник во вселенной, вековечный юноша миров.*

Если Павел и полюбил Алицию, то потому, что ее локоть, ручки, ножки, может от природы, а может вследствие родительской опеки, были более девственны, чем это обычно встречается, и потому, что она показалась ему самой девственностью.

- Девственница,- думал он.- Она ничего не понимает. Аист. Нет, это слишком прекрасно, чтобы об этом думать, разве что - стоя на коленях.

А проходя мимо городской бойни, добавил: - Может она считает, что и маленьких телят приносит аист?.. Жаркое из телятины - прямо на стол мамы?.. О, как это возвышенно! Как же ее не любить?

Как же не любить Создателя? Непостижимо! Сколь славна природа, что в этой долине слез вообще возможно нечто такое, как девственность. Девственность - а стало быть отдельная категория существ замкнутых, изолированных, пребывающих в неведении, отгороженных тонкой стенкой. Они дрожат в тревожном ожидании, глубоко дышат, соприкасаются, не углубляя отношений - отрешенные от всего, что их окружает, закрытые на ключ от непристойности, опечатанные, и это не пустая фраза, не риторика, а самая настоящая печать, нисколько не хуже всех прочих печатей. Головокружительное соединение физики и метафизики, абстрактного и конкретного - из мелкой, чисто телесной подробности вытекает целое море идеализма и чудес, находящихся в разительном противостоянии с нашей грустной действительностью.

Она ест жаркое из телятины и ничего такого не знает, ни о чем не догадывается, невинно ест, и так во всем - с утра до вечера. Как-то раз она вместо "паук" сказала "паучок": "паучок поедает мушек". О, чудо! Невинная и в гостиной, и в столовой, и в своей комнатке за белой занавеской и в кло... Тсс! Жуткая мысль! - Зубы стиснул, а все лицо нервно дрожит.- Нет, нет,- шептал он,- этого она вообще не делает, она этого не умеет, иначе не было бы Бога на небесах. - Однако он понимал, что лжет. - Но в любом случае



это происходит вне ее - ведь она тогда мыслями не присутствует - а так как-то, машинально, само собой...

Да, однако - что за ужасная мысль!

Ах! А я-то? Я, тот, который думает об этом, может о чем-то подобном думать и не глохнет, и не слепнет перед лицом этого ужаса, а напротив - разглядывает все это в душе. Какая низость! Но это не ее вина, что на нее это упало, а моя, что я такой испорченный и грязный и не умею обуздать мысли. Разве со своей стороны я не обязан в ответ на ее девственность проявить чуть больше бессознательного? Да, для того, чтобы подобающим образом полюбить девственницу, надо самому быть девственником и находиться в неведении, иначе не получится нашей идиллии.

Вот почему я жажду быть девственником, но как этого добиться? Я не девица. Правда, я мог бы, как ксендз или монах, облечься в черное, отгородиться постом и сутаной, блюсти половое воздержание, но что мне с того? Разве монах или ксендз девственны? Отнюдь, секрет мужской девственности кроется в другом. Прежде всего, крепко зажмуриться, и во-вторых, положиться на инстинкт. Я чувствую, что инстинкт подскажет мне путь. Так же, как я инстинктивно ощущаю, хотя и не смог бы сказать почему, что ее уши более девственны, чем нос, но еще больше девственности - в нежном овале плеч, а в большом пальце - меньше, чем в указательном, и как под этим углом зрения я могу оценить каждую черточку ее образа, точно так же и инстинкт покажет мне, как обрести мужскую девственность и стать достойным Алиции.

Надо ли распространяться, куда его завел инстинкт? Наверное каждый переживал нечто подобное между 13 и 14 годами жизни. Родители определили его по торговой части, он же колебался между двумя профессиями - солдата и моряка. Правда, в солдатской профессии есть слепое повиновение и жесткая постель, зато нет простора. Моряки же тем возвышаются над остальными, что они лишены общества особ противоположного пола, но им принадлежат пространство, стихия и свобода, а кроме того, морская вода - солонка. Покачиваясь на волнах, корабль уносит их в дальние края, к фантастическим пальмам и цветным народам, в мир, столь же нереальный, как и тот, что снится спящим в белых постелях Алиции и ее ровесницам. Не без основания дальние те страны называют девственными, края, где мужчины носят косички, где уши,

увешанные металлическими кольцами, вытягиваются аж до плеч, и где под баобабом, в то время, как весь народ предается ритуальным кривляньям, божки пожирают рабов или младенцев. Разве поцелуй потиранием носа о нос, бытующий в диких племенах, не взят живьем из мечтательной невинной головки? Долгие годы провёл там Павел. Его поражало, что у тамошних девиц нет ни юбки, ни блузки, и все как есть на виду. Мерзость... - думал он.- Конец очарованью... Правда, сам по себе цвет предрешает исход дела... Когда он черный, красный или желтый,- тогда хоть с юбкой, хоть без юбки - невозможно претендовать на звание девственницы.

- Ты, Мони Буату,- говорил он одной негритянке, - ты голая... не краснеть... черная, оскаленная, гротескная - тебе не понять этого божественного смущения облеченной в ткань и боязливо отводящей взгляд невинности.

Юбочка, блузочка, маленький зонтик, щебет, продиктованная инстинктом святая простота - благотворно, но не для меня. Будучи мужчиной, я не могу ни пожимать плечиками, ни невинно стыдиться. Напротив - честь, отвага, достоинство, немногословность - вот атрибуты мужской девственности. Но по отношению к миру я должен сохранять некоторую мужскую наивность, представляющую собой аналогию девичьей невинности. Я должен все охватывать ясным взором. Я должен есть салат.. Салат - девственнее, чем редис, а почему - никто не знает. Может потому, что он кислее? Но вот ведь лимон - в нем еще меньше девственности, чем в редиске.

Что касается мужчин, то и у них есть дивные тайны за семью печатями - знамя, смерть под знаменем. Что еще? Вера - вот великое таинство, слепая вера. Безбожник подобен публичной женщине, доступной каждому. Я должен поднять что-то на высоту моего идеала, полюбить, слепо поверить и быть готовым пожертвовать жизнью - но что полюбить? Что-нибудь. Лишь бы был идеал. Я - мужская девственница, закупоренная своим идеалом!

И вот после четырех лет отсутствия он прохаживается с невестой по тропинкам садика. Хорошая пара. Госпожа S. вышивала скатерть и любовалась ими из окна, а Биби - гонялся по газону за пташками, которые с щебетом разлетались перед его красным язычком.

- Ты изменилась,- грустно говорил молодой человек,- не щебечешь, как раньше, и не машешь ручкой...

- Нет, нет, я тебя всегда люблю одинаково,- рассеянно ответила Алиция.

- Вот видишь! Раньше ты не сказала бы мне, что любишь. Не ожидал я от тебя такого, Алиция, что ты сможешь выговорить такие слова, что твой язык и губы смогут произнести это смущенное признание. Вообще какая-то ты беспокойная, взбудораженная, у тебя случайно не ангина?

- Я люблю тебя, только...

- Что только?

- А ты не будешь смеяться надо мной?

- Ты же знаешь, что я никогда не смеюсь. Я только улыбаюсь, и то - чистой улыбкой.

- Объясни мне, что значит любовь и что значу я?

- О, я так давно ждал этой минуты,- воскликнул он.- Что значит любовь? Присядь на эту скамеечку.

- Когда по сатанинскому наущению прародители отвели в раю плодов с древа познания, то, как ты знаешь, все изменилось к худшему. - О, Боже!- взмолились люди,- верни нам хоть частичку утраченной чистоты и невинности. Господь Бог беспомощно смотрел на эту шайку и не знал, куда в этом мерзком стаде приткнуться Чистоту и Невинность. И тогда он сотворил девственницу - сосуд невинности, тщательно закупорил этот сосуд и передал людям, они же воспылали к девственнице ностальгическим чувством.

- А замужние?

- Замужние - пустое, откупоренная, выветрившаяся бутылка.

- А почему, скажи пожалуйста, почему мужчины бросаются в девиц камнями?

- О чем ты, Алиция?

- У меня не раз бывало,- сказала Алиция, густо краснея,- что то один, то другой мужчина, на безлюдной улице, когда никто не видел... бросали в меня камнем.

- Что ты такое говоришь? - вымолвил пораженный Павел - Я и не слыхивал о таком,- шепнул он.- Как это? Бросался камнем?

- Брал камень, большой кирпич и бросал в меня. Больно было,- тихонько шепнула Алиция.

- Это... это ничего... Это наверняка плохие люди... потехи ради или тренировались на меткость. Не думай больше об этом.



- Но почему девушки при этом должны улыбаться? - не отставала Алиция.

- Почему они улыбаются? Как это? Что ты говоришь, детка? И часто с тобой случалось такое, Алиция?

- О, очень часто, почти что каждый день, когда я бывала одна или с Биби.

- А твои подружки?

- И они тоже жалуются на это. Невозможно не улыбнуться, - задумчиво тянула она, - хоть и больно.

- Оригинально, - думал Павел по дороге домой. - Вызывающе, даже грубо. Камнем в девушку - никогда ни о чем подобном не слышал. Разве что, такое обычно скрывают. Она ведь сама говорит, что это бывает только тогда, когда никто не видит. Грубо - да, но вместе с тем и прелестно, а почему? Потому что инстинктивно. Я так взволнован, удивительно возбужден. О, мир девушек, мир любви полон этих чародейских причуд. Незнакомые улыбаются друг другу на улице, кто-то гладит чей-то локоть, улыбка сквозь слезы или поцелуй потиранием носов - все это ничуть не менее странно, чем кидаться камнями. Возможно, существует целый кодекс условных знаков и способов, о которых я, постоянно пребывающая в Китае и в Африке среди дикарей, понятия не имею.

Девственность тем и характеризуется, что каждая вещь исполняется для нее иным смыслом, нежели тот, что присущ ей в действительности. Девственный мужчина считает, что бросить камнем не столь оскорбительно, как, допустим, лишь слегка прикоснуться рукой к щеке. Обычный человек, нормальная женщина подняла бы крик и убежала, она же - лишь улыбнулась каким-то загадочным глубинам. Обычный человек только бы и думал о том, как бы убежать с поля битвы, спасая, насколько это возможно, свою шкуру, в то время как для меня все совсем наоборот: для меня всем являются честь и знамя - стяг, или точнее говоря, цветная тряпка на ветру.

Монархия девственна в большей степени, чем республика, поскольку в ней больше тайны, чем в говорливых членах парламента. Монарх - величественный, безгрешный, безукоризненный, ни за что не отвечающий - является девственницей, а в меньших масштабах - и генерал тоже девственница.

О, святая тайна бытия, о, чудо существования, не я, принимая

твои дары, буду смотреть тебе на руки. Совсем напротив - лишь покорно склоненная голова, глубокий вздох, хвала и благодарность, пантеизм и созерцание, а не фатальное по своим последствиям анализирование. Девственность и тайна - одно и то же, так будем же остерегаться приподнимать святую завесу.

Предавалась раздумьям и Алиция.

- Сколь дивен мир! Никто в нем не говорит прямо, а всегда символами. Ничего нельзя узнать. Павел, конечно, рассказал легенду. Всюду меня окружают символы и легенды, как будто все сговорилось против меня. Рай, Бог... кто знает, может все это было выдуманно специально для меня, для нас - молодых девушек. Я убеждена, что все таятся и притворяются, и что все основано на сговоре. Вот и мама с Павлом - тоже сговорились. Какое наслаждение пить чай, шумно прихлебывая, и наступать собачкам на хвосты... Да... Религия, долг и добродетель, а мне кажется, что за ними, как за ширмой, существуют некие строго определенные жесты, какие-то движения, что каждое такое возвышенное слово сводится к строго определенному жесту и привязывается к строго определенному моменту.

Ах! Представляю себе! Обычно все одеты и ведут себя прилично, но как только остаются один на один, мужчины бросают камнями в женщин, а те улыбаются, потому что болит. А еще - воруют... Разве я сама не украла серебряную ложку и не закопала ее в саду, не зная, что с ней делать? - Мама много раз вслух читала в газетах о кражах, теперь я понимаю, что это значит. Воруют, шумно пьют чай, наступают собачкам на лапы и вообще поступают наперекор, это и есть любовь - а девушек держат в неведении, чтобы... было приятней. Я вся дрожу.

Алиция Павлу:

“Павел! Получается не совсем так, как ты говоришь. Просто и не знаю, что думать! Вчера я слышала, как мама говорила отцу, что безработные ужасно “расплодились”, что они ходят “полуголые”, что питаются какими-то отвратительными отбросами и что количество краж, драк, грабежей растет как на дрожжах. Скажи мне все - скажи, на что им эти “отбросы” и почему они “полуголые”, Павел, очень прошу тебя, мне в конце концов нужно знать, как вести себя, всегда твоя - Алиция”.

Павел Алиции:

“Дражайшая моя! Что же это творится в твоей головушке! Заклинаю тебя нашей любовью, никогда об этом не думай. Правда, такое можно иногда увидеть, но в размышлениях об этом так легко потерять непорочность - и что тогда? Как небо и земля далеки друг от друга, так и правда, заключенная в чистоте, далека от грязи действительности! Так не будем же стремиться все понять, будем жить невинностью, нашим юно-девственным инстинктом, и будем остерегаться мыслить о том, о чем не следует, как это со мной однажды случилось, когда я узнал тебя. Осознание обезображивает, неосознанность украшает, навек твой - Павел”.

- Инстинкт, - думала Алиция, - инстинкт, но чего он хочет, этот инстинкт, чего, собственно, хочу я? Сама не знаю... умереть, или съесть что-нибудь острое. Не успокоюсь, пока... Я такая неопытная. У меня завязаны глаза, как говорит Павел, иногда аж страх берет... Инстинкт, мой девственный инстинкт - вот, что покажет мне путь!

На следующий день она обратилась к своему жениху, который с упоением всматривался в ее локоток:

- Павел... меня иногда посещают такие дикие фантазии!

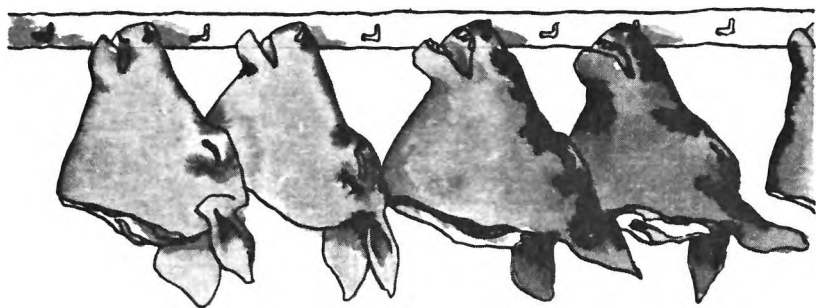
- Тем лучше, моя дорогая, именно этого я от тебя и ожидал, - ответил он. - Чем бы ты была без капризов и без фантазий? Мне нравится это безрассудство чистоты!

- Но мои фантазии столь странны, Павел... право, стыдно сказать.

- У тебя, неискушенной, и не может быть других, - ответил он. - Чем более дикой и странной будет твоя фантазия, тем с большей готовностью я исполню ее, сокровище мое. Подчинясь ей, я воздам должное твоей и своей непорочности.

- Но... Понимаешь ли, это, собственно, это как-то иначе.. По крайней мере, я никак не могу этого понять. Скажи мне, тебе... тебе тоже... как и другим... приходилось когда-нибудь красть?

- За кого ты меня принимаешь, Алиция? Что означают эти слова? Неужели тебе хоть на минуту мог стать симпатичным мужчина, замешанный в подобном проступке? Я всегда старался быть достойным тебя и чистым, конечно в своем, мужском амплуа.



- Не знаю, Павел, не знаю, но скажи мне, только откровенно, очень прошу тебя, скажи мне, ты когда-нибудь, понимаешь, обманывал кого, или грыз, или ходил... полуголым, или спал когда-нибудь на каменной оgrade, или может бил кого, или лизал, или может ел какую-нибудь гадость?

- Дитя мое! О чем ты говоришь? С чего ты все это взяла? Алиция, подумай... Неужели я смог бы лизать или обманывать? А мое достоинство? Ты, верно, не в себе!

- Ах, Павел,- сказала Алиция,- какой чудный день - ни одной тучки: приходится глаза прикрывать от солнца.

Так, ведя разговор, обошли они вокруг дома и оказались перед кухней, где на куче мусора валялась недогрызенная Биби кость с остатками розового мяса.

- Смотри, Павел, - кость,- сказала Алиция.

- Уйдем отсюда,- сказал Павел.- Уйдем отсюда, здесь галдеж кухонных девок и зловоние. Нет, Алиция, я просто удивляюсь, как в этой прелестной головушке могли возникнуть такие мысли.

- Подожди, подожди, Павел, побудем здесь еще - видно, Биби не обгрыз ее до конца... Павел... ах, что со мной - сама не знаю... Павел.

- Что, дорогая моя, может, тебе нехорошо? Может, жара тебя сморила, ведь так душно.

- Да нет же, совсем не это... Смотри, как глядит на нас - как будто хочет нас покусать, сожрать нас. Ты очень меня любишь?

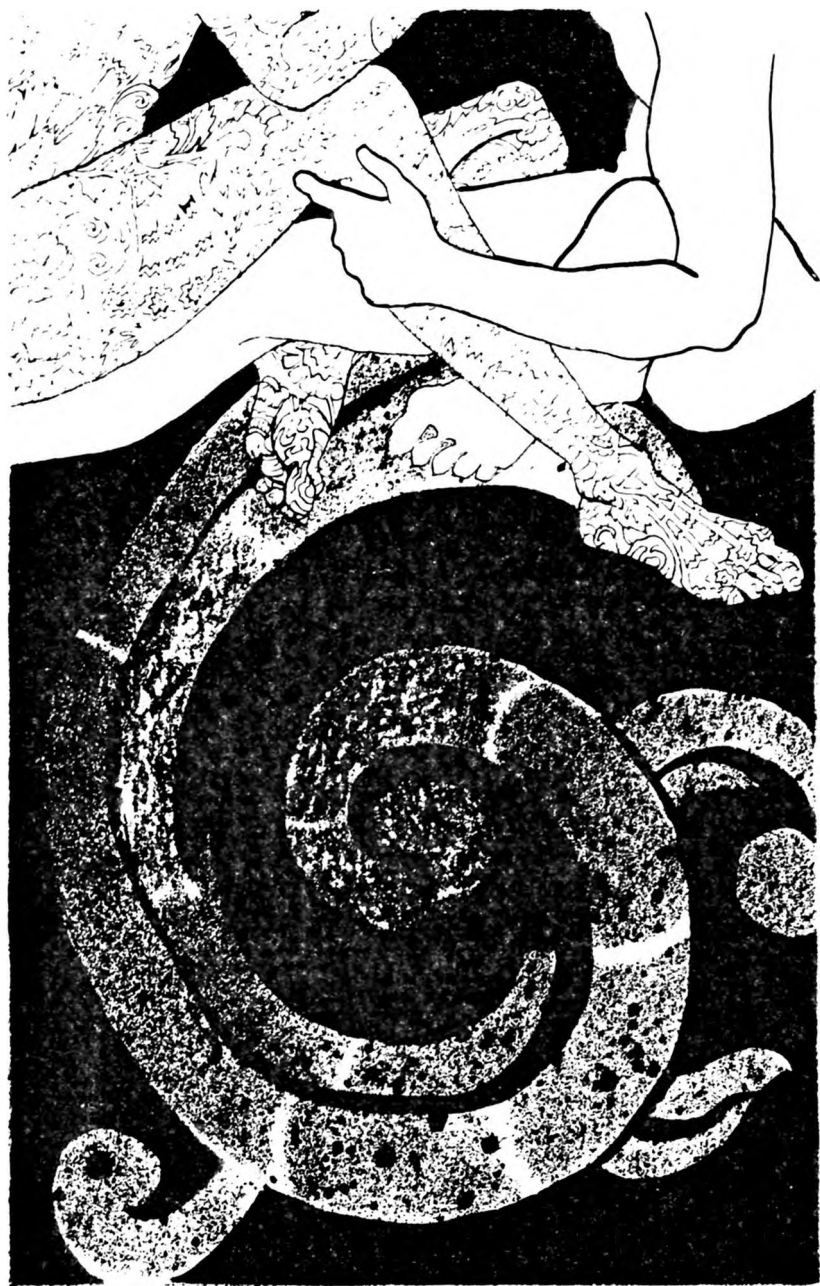
Они встали перед костью, которую понюхал и лизнул Биби, воскрешая воспоминания.

- Люблю ли я тебя? - Да, люблю, и любовь мою можно сравнить разве что с горой.

- А я так бы хотела, Павел, чтобы ты обгрыз, то есть, чтобы мы вместе обгрызли эту кость, что на помойке. Не смотри, я покраснела, - и она прижалась к нему, - не смотри на меня сейчас.

- Кость? Что, Алиция, что? Что ты сказала?

- Павел, - вымолвила Алиция, прижимаясь к нему,- этот... камень, понимаешь, разбудил во мне какое-то особое беспокойство. Ни о чем не хочу знать, ничего не говори мне, но меня гнетет и садик, и розы, и стена, и белизна моей юбки, и, ах, кто знает, может мне хочется, чтобы моя спина была в синяках... Камень мне



прошептал, прошептал моей спине, что там, за стеной, что-то есть, и я это что-то съем, обгрызу эту кость, то есть мы с тобой вместе обгрызем, Павел, ты - со мной, я - с тобой, я обязательно, обязательно - все не отступала она, - я без этого обязательно умру молодой!

Павел опешил.

- Деточка, зачем тебе кость? Ты с ума сошла! Если уж ты так хочешь, то вели подать свежую кость из бульона.

- Но мне надо именно эту, с помойки! - крикнула Алиция, топая ножкой.- И притом украдкой, скрываясь от кухарки!

Неожиданно между ними разгорелся спор, такой же жаркий и томительный, как клонящееся к закату предвечернее июльское солнце. - Но Алиция, это омерзительно, вонь такая, что просто тошнит, ведь именно здесь кухарка выливает помой! - Помой? И меня тоже мутит и тошнит, но мне так хочется отведать помоев! Верь мне, Павел, это можно обгрызть и съесть!- я чувствую, что все так делают, когда никто не видит.

Они долго препирались. - Это отвратительно! - Это темно, странно, таинственно, стыдливо и желанно! - Алиция,- наконец воскликнул Павел, протирая глаза,- ради Бога... я начинаю сомневаться. Что это? Во сне или наяву? Я не желаю ничего выведывать. Боже упаси, я не страдаю любопытством, но... может ты шутишь, смеешься надо мной, Алиция? Что произошло? Ты говоришь, камень? Неужели такое возможно, что бросят камень, и чтобы от этого... и чтобы это стало причиной какого-то нездорового аппетита к костям? Но это слишком дико, слишком какое-то нечистое, нет, я отношусь с уважением к твоим фантазиям, но это уже не девственный инстинкт, это просто высосано из пальца.

- Из пальца? - отозвалась Алиция. - Павел, а разве мои пальцы не девственны? Ведь ты сам говорил, что надо зажмуриться, бездумно и тихо, наивно и чисто, и, ах, Павел, смотри скорее, как сияет солнце, а этот червячок так сонно движется по листку, а меня так и распирает! Слушай, все делают то же самое, и только мы... только мы не знаем! Ах, тебе кажется, что никто никогда никому... а я тебе говорю, что вечерами камни свистят, градом сыплются, так, что глаз сомкнуть нельзя, а голодные полуголые люди в тени деревьев обгрызают кости и другие отбросы! Вот это и есть любовь... любовь!

- Ха! Ты сошла с ума!

- Прекрати! - крикнула она и потянула за рукав. - Пойдем, пойдем к кости!

- Ни за что! Ни за что!

И тогда с отчаяния он чуть было не ударил ее! Но в ту самую минуту они услышали за стеной что-то похожее на удар и стон. Подбежали, выглянули поверх вьющихся розочек: там, на улице, под деревом, скорчившись от боли, молодая и босая девушка согнула колено и впиалась в него губами.

- Что это? - прошептал он.

Потом еще один камень прошел воздух и снова угодил ей в спину - она упала, но тут же сорвалась с места и спряталась за дерево, а откуда-то из глубины кричал мужчина:

- Я те дам! Я те еще добавлю! Увидишь! Воровка!

Воздух был нежным и знойным, в природе воцарилась тишина, одно из тех дрожащих и благоуханных иступлений...

- Видел? - шепнула Алиция.

- Что это?

- Бросают камнями в девушек... камнями бросают... лишь ради удовольствия, для наслаждения...

- Нет, нет... Не может быть...

- Но ведь ты сам видел... Идем, кость ждет, идем же к кости! Обгрызем ее вместе - хочешь? - вместе! Я с тобой, а ты со мной! Смотри: я ее уже взяла в рот. А теперь - ты! Теперь ты!



Банкет

Заседание совета... тайное заседание совета... проходило в сумрачном и историческом портретном зале, многовековая мощь которого превосходила и своей громадой подавляла даже мощь совета. Древние портреты глухо и немо глядели с допотопных стен на иератические лица сановников, глядевших в свою очередь на сухую, допотопную персону великого канцлера и государственно-го секретаря. Говоря сухо, как обычно, сухой и мощный старец не скрывал глубокой радости и призвал присутствовавших министров и замминистров почтить историческую минуту вставанием. Итак, в результате многолетних усилий осуществляется союз короля с эрцгерцогиней Ренатой Аделаидой Кристиной, итак, Рената Аделаида прибыла к королевскому двору, итак, уже завтра на королевском банкете новобранцы (которые до сих пор были знакомы друг с другом только по портретам) будут представлены друг другу, а союз этот - по всем статьям прекрасный - преумножит величие и мощь Короны. Корона! Корона! Однако мучительное беспокойство, неизбежная забота, даже тревога бороздили многоопытные, невозмутимые лица министров и замминистров, и что-то недосказанное, что-то драматическое укрывалось в увядших старческих губах.

По единодушному предложению совета канцлер объявил начало дискуссии... однако главной чертой завязавшейся дискуссии казалось было молчание, глухое и немое молчание. Первым слово

взял министр внутренних дел, он начал молчать и промолчал в течение всего времени своего выступления, после чего сел. Следующим слова попросил министр двора, но и он, встав, точно так же промолчал обо всем, о чем собирался сказать, после чего сел. В дальнейшем ходе выступлений кто-нибудь из министров просил слова, вставал, молчал, после чего садился, а молчание, упорное молчание совета, помноженное на молчание портретов и молчание стен, становилось все сильнее. Пролетали часы. Оплывали свечи. Канцлер непреклонно возглавлял молчание.

Что же было причиной молчания? Никто из этих деятелей не мог ни высказать, ни даже допустить мысли, которая с одной стороны была неизбежной и выступала с непреодолимой силой, но с другой - представляла ни больше ни меньше как преступление по оскорблению достоинства Его Величества. Потому и молчали. Как признаться, как сказать, что король... что король был... о нет, никогда, ни в коем случае, лучше смерть... что король... о нет, ах нет, нет... ха... что король - продажный! Предателем был король! Король - продажная душа! В бессовестной, гадкой, ненасытной своей жадности король был таким подлым предателем, какого еще свет не видывал. Взятчиком и предателем - вот кем был король! На золотники и фунты продавал он свое величие.

Затем резные двери зала тяжело отворились и в них показался король Гнуло: в мундире генерала лейб-гвардии, в большой треуголке и со шпагой на боку. Министры низко склонились перед властителем, который, бросив шпагу на стол, а себя - в кресло, закинул ногу на ногу, хитро посверливая собравшихся глазами.

Совет министров в силу одного лишь присутствия короля превратился в королевский совет, а королевский совет приступил к слушанию заявления короля. В своем заявлении король прежде всего выразил радость по поводу своего бракосочетания с эрцгерцогиней и непреклонную веру и надежду, что его королевская особа сможет завоевать любовь дочери королей, подчеркнув однако бремя ответственности, возлежащей на его плечах. И что-то такое неслыханно продажное было в голосе короля, что тяжело молчавший совет передернуло.

- Трудно скрыть, - отметил король, - что участие в завтрашнем банкете является для нас тяжелой работой... ведь нам придется очень стараться, чтобы произвести на эрцгерцогиню благоприят-

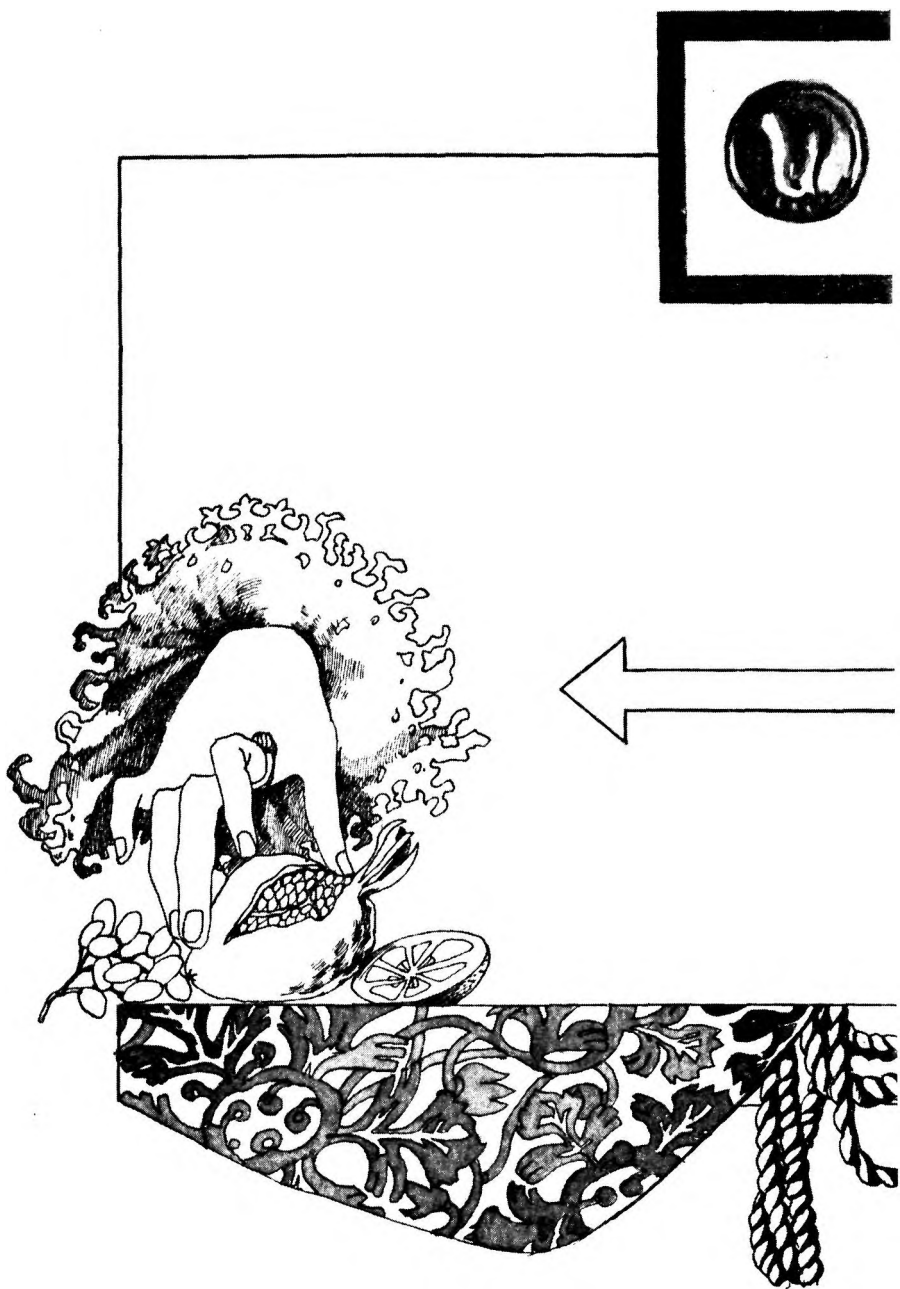
ное впечатление... тем не менее, для блага Короны мы готовы на все, особенно, если... если... хм... хм...

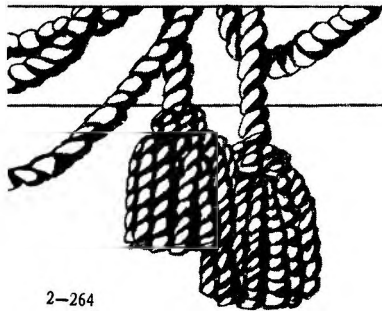
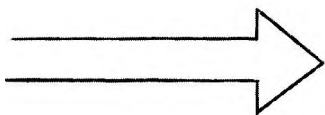
Королевские пальцы многозначительно барабанили по столу, заявление становилось все более конфиденциальным. Не могло быть никаких сомнений: *взятки* - ни больше, ни меньше - домогался за участие в банкете коронованный взяточник. И тут же король начал жаловаться на тяжелые времена, на то, что уж и не знает, как свести концы с концами... после чего захихикал... захихикал и доверительно подмигнул государственному канцлеру... подмигнул и снова захихикал... захихикал и ткнул его пальцем под ребро.

В глубочайшем и, казалось, окаменевшем молчании старец глядел на монарха, который хихикал, подмигивал и тыкал под ребро... и молчание старца переполнялось молчанием портретов и молчанием стен. Хихиканье короля прекратилось... Затем железный старец снова отвесил королю поклон, а вслед за ним склонились головы министров и согнулись колени замминистров. Мощь поклона совета, неожиданно отданного в этом укромном зале, была страшной. Поклон ударил короля прямо в грудь, связал его по рукам и ногам, и так вогнал его обратно в королевское величие, что окруженный стенами бедный Гнуло жутко застонал и снова попробовал хихикнуть... Но смешок растаял на его губах... В тишине непреклонного молчания король начал бояться... и боялся он долго... пока наконец он не стал уходить от совета и от себя, и пока его обтянутая генеральским мундиром спина не исчезла в сумраке коридора.

Вот тогда до ушей совета долетел ужасный и продажный крик: "Уж я вам отплачу! Отплачу, отплачу вам!"

Сразу после ухода короля канцлер опять открыл дискуссию и опять участью совета стало молчание. Канцлер неколебимо руководил молчанием. Министры вставали и садились. Проходили часы. Как сделать, чтобы взбешенный отказом *взятки* король не учинил какого-нибудь скандала на банкете, как оградить короля от Гнуло, и наконец, даже если и удастся каким-то чудом избежать скандала, то какое впечатление произведет этот несчастный, презренный и постыдный король на иностранную эрцгерцогиню, дочь императоров - вот те вопросы, которые совет не мог принять к





рассмотрению, которые он, запертый в четырех стенах, отбрасывал, отрывивал в молчаливых конвульсиях. Министры вставали и садились. Однако же, когда в четвертом часу утра совет в полном составе подал в отставку, кормчий государства не принял этого к сведению и изрек знаменательные слова:

- Господа, надо заставить короля быть королем, короля надо, как в тюрьму, посадить в короля, нам надо запереть короля в короле...

Лишь только устрашением короля, доведенным до пределов давлением великолепия, истории, блеска и церемониала еще можно было спасти Корону от компрометации. В том же духе канцлер сделал ряд распоряжений, и поэтому банкет, который состоялся на следующий день в зеркальном зале, был отмечен разнообразием великолепия, где одно великолепие переливалось в другое великолепие, один блеск - в другой блеск, одна слава - в другую славу, ударяя, как в колокола, в самые высокие и, казалось, неземные круги и ареалы блеска.

Эрцгерцогиня Рената, введенная в зал главным церемонимейстером и маршалом двора, зажмурилась, пораженная преисполненным достоинством и приглушенным сиянием этого архибанкета. Со спокойной мощью исторически прадавние фамилии перетекали в иератический нимб духовенства, он же как пьяный перетекал в белизну достопочтенных увядающих декольте, которые, оплывая, тонули в эполетах генералов и лентах послов, а зеркала повторяли великолепие до бесконечности. Шелест разговоров тонул в аромате духов. В зал вошел король Гнуло и заморгал, ослепленный блеском, но его тут же, как в клещи, схватил громкий возглас приветствия, поклон собравшихся не позволил повернуться от возгласа... а образовавшаяся шпалера заставила его продвигаться по направлению к эрцгерцогине... которая, раздирая на лоскутки кружева своего одеяния, не хотела верить собственным глазам. Неужели это был король и ее будущий супруг - этот вульгарный купчишка с подозрительной мордой и хитрым взглядом розничного торговца фруктами и подпольного шантажиста? Но - о диво - неужели этот купчик был тем великолепным королем, что приближался к ней в шпалере поклонов? Когда король взял ее за руку, она задрожала от омерзения, но в тот же момент грохот орудий и звон колоколов вырвали из ее груди вздох восхищения. Канцлер издал

вздых облегчения, умноженный и усиленный вздохом совета.

Опираясь своей святой и метафизической королевской рукой на эфес шпаги, другую свою руку, всевластную и освящающую, король подал эрцгерцогине Ренате и повел ее к банкетному столу. За ним с шарканьем ног и сверканьем эполет и аксельбантов гости вели своих дам.

Но что это? Что за звук, тихий, мелкий, слабенький, еле слышный, но такой предательский долетел до ушей канцлера и до ушей совета? Не обманывал ли их слух, а может на самом деле они слышали, что как будто кто-то с краю... как будто кто-то в стороне... звенел... звенел монетами... побрякивал в кармане медяками?... Что же это было? Строгий холодный взгляд исторического старца скользнул по присутствующим и остановился на персоне одного посла. Ни один мускул не дрогнул на лице посла; представитель недружественной державы с едва уловимой иронией на тонких губах вел к столу княгиню Бизанцию, дочь маркиза Фриуло... однако снова раздался предательский, тихий и такой опасный звук... и предчувствие предательства, низкого, подлого предательства, предчувствие выжидающего в засаде тайного заговора вторглось в драматическую и историческую душу великого министра. Неужели заговор? Неужели предательство?

Трубы возвестили начало пира. По их могущественному велению Гнуло пристроил свою пошлую задницу на самом краешке королевского табурета, и как только он уселся, села и вся ассамблея. Садилась, садилась, садилась министры, генералы, духовенство и двор. Король распростер ладонь над вилкой, ухватился за вилку, поднес ко рту кусок жаркого и в ту же самую минуту правительство, двор, генералитет и духовенство поднесли ко рту куски, а зеркала растиражировали этот акт до бесконечности. Гнуло от страха перестал есть - тогда и вся ассамблея тоже перестала есть, и акт воздержания от еды стал еще более мощным, чем акт поглощения пищи... Тогда Гнуло, чтобы поскорее прервалось это состояние, поднес ко рту кубок - и тут же все подняли кубки в громогласном тысячекратном тосте, который взорвался и повис в воздухе... так что Гнуло как можно скорее отставил кубок. Но тут же и все отставили кубки. Тогда король снова присосался к кубку. И опять грянул тост. Гнуло отставил кубок, но, видя, что все отставляют кубки, снова приставил кубок - и снова все собравши-

еся, приставляя кубки, в грохоте труб, в блеске светильников, в отражении древних зеркал вознесли глоток короля до небес. Испуганный король снова сделал глоток.

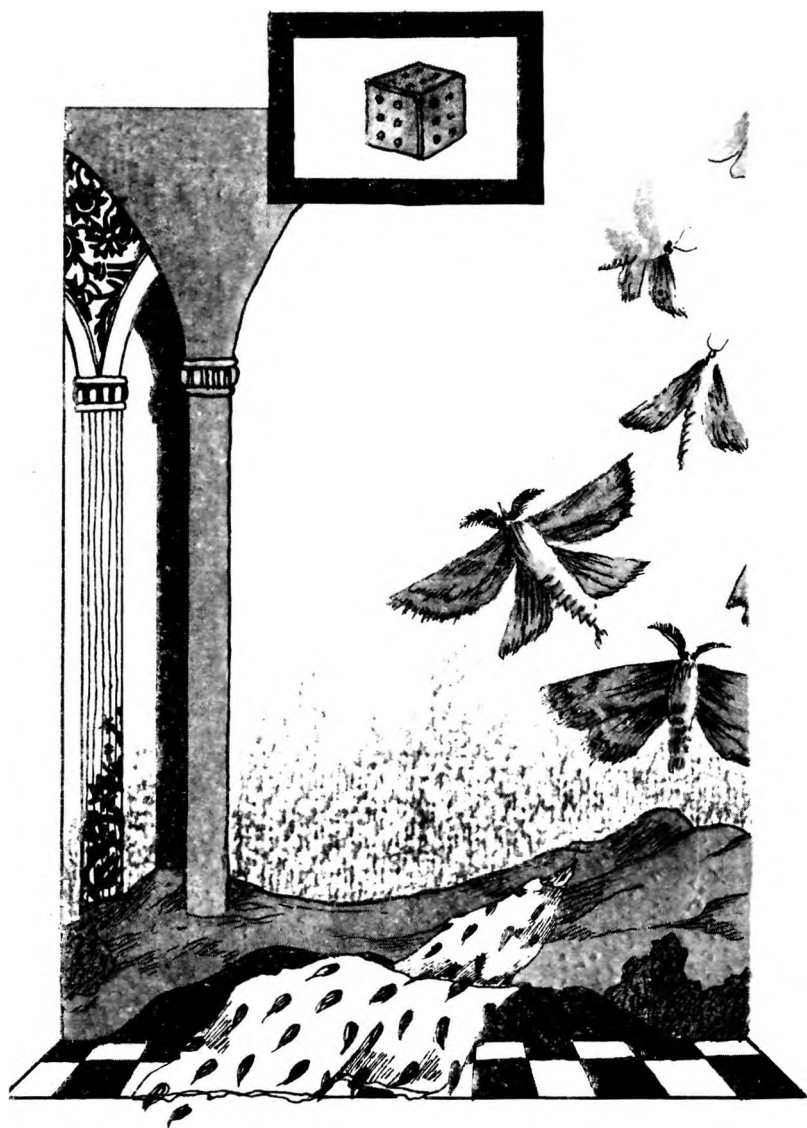
Предательский звук - тихое, едва слышное побрякивание, характерный звук мелочи в кармане - опять долетел до ушей канцлера и совета. Достопочтенный старец снова вонзил внимательный и мертвый взгляд в протокольное лицо вражеского посла... и снова, еще явственнее, раздался предательский звук. Стало очевидно, что тот, кто был заинтересован в компрометации короля и банкета, именно таким подпольным методом жаждет раздражить болезненную жадность монарха. Предательское побрякивание раздалось еще раз и было так явственно, что Гнуло услышал его, и змея жадности выползла на его вульгарную морду торговца старьем.

Позор! Позор! Ужас! Так самозабвенно гнусна была душа короля, так тривиально тесна, что ему не были нужны крупные суммы, а вот мелочь, небольшие суммы были способны завести его на самое дно преисподней. О, весь кошмар в том и состоял, что даже взятки не привлекали короля в такой степени, как чаевые - чаевые были для него, что для собаки колбаса! Зал замер в немом ожидании. Услышав знакомый и столь сладкий звук, король Гнуло отставил кубок и, забывая о Божьем свете, в безграничной глупости своей... незаметно облизнулся... Незаметно! Это ему так казалось! Облизывание короля разорвалось как бомба перед красным от стыда банкетом.

Эрцгерцогиня Рената Аделаида издала приглушенный возглас отвращения! Глаза правительства двора, генералитета и духовенства обратились к особе старца, который вот уже много лет держал в своих натруженных руках штурвал государства. Что делать? Что предпринять?

И тогда все увидали, как из бледных губ исторического мужа героически, исподволь высовывается узкий старческий язык. Канцлер облизнулся! Облизнулся государственный канцлер!

Еще какое-то время совет боролся с оцепенением, но в конце концов высунулись языки министров, а вслед за ними и языки епископов... языки графинь и маркграфинь... и все облизнулись от одного до другого конца стола при загадочном сиянье хрусталя, а зеркала повторили этот акт до бесконечности, топя его в своих перспективах.



Тогда взбешенный король, видя, что он ничего не может себе позволить, потому что за ним все повторяют, резко отпихнул стол и встал. Встал и канцлер. А за ним встали все.

Действительно, канцлер больше не колебался, он уже принял решение, неслыханная смелость которого в прах разбивала этикет! Отдавая себе отчет, что уже ничто не сможет скрыть от Ренаты истинную суть короля, канцлер решил открыто бросить банкет на борьбу за честь Короны. Да, другого выхода не было - банкет должен был со всей непреклонностью повторять не только те действия короля, которые можно было повторить, но *собственно и прежде всего те, которые нельзя было повторять* - потому что только таким образом можно было преобразовать эти поступки в архипоступки - и такое насилие над личностью короля стало естественным и неизбежным. Вот почему, когда взбешенный Гнуло ударил кулаком по столу, разбив две тарелки, канцлер ни минуты не колеблясь разбил две тарелки и все разбили как бы во славу Божию по две тарелки, и снова грянули трубы! Банкет побеждал короля! Обложенный со всех сторон, король уселся и сидел тише воды, ниже травы, а банкет лишь внимал его наимельчайшим движениям. Нечто неслыханное, нечто фантастическое рождалось и умирало в парах прерванного пира.

Сидевший во главе стола король рванулся со своего места! Рванулся и банкет! Король сделал несколько шагов. То же и пировавшие. Король начал бесцельно кружить по залу. Начали кружить и пировавшие. И круженье в своем монотонном и бесконечном вихре достигало таких головокружительных вершин архикружения, что Гнуло, охваченный неожиданным головокруженьем, зарычал и с глазами, налитыми кровью, бросился на эрцгерцогиню и, не зная, что делать, начал методично ее душить на глазах всего двора!

Ни минуты не колеблясь, кормчий государства бросился на первую попавшуюся даму и начал ее душить - все гости последовали его примеру - в то время как архидушительство, отраженное бесчисленным множеством зеркал, зияло изо всех бесконечностей и все росло, росло, и росло, пока не придушило хрипы дам... Тогда банкет уже окончательно порвал последние нити, соединявшие его с обычным миром, и закусил удила!

Эрцгерцогиня - мертвая - тихо оползла на землю. Оползали

задушенные дамы. И недвижность, отвратительная недвижность, онемевшая, усиленная зеркалами, стала расти, расти...

И росла. Росла неуклонно. И становилась все мощнее и мощнее, в океанах тишины, в беспредельности молчания, и царила, она, одна архинедвижность, которая спустилась, воцарилась и царила... и царствование ее было безраздельным...

Тогда король обратился в бегство.

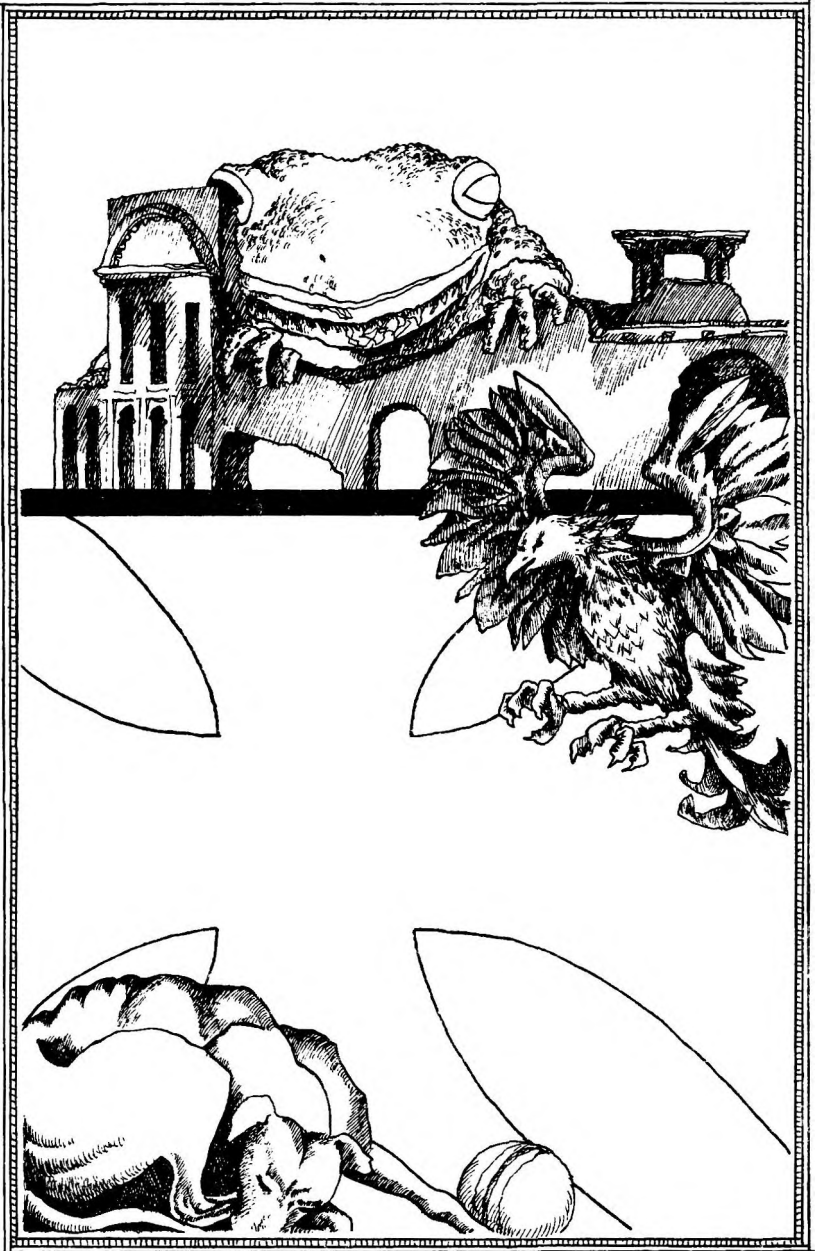
Махнув руками, Гнуло архипаническим жестом схватился за задницу и, недолго думая, стал удирать... он бежал к дверям, лишь бы быть подальше от этого Архикоролевства. Собравшиеся увидели, что король бежит от них... еще минута и король убежит! И смотрели на это ошеломленные, потому что короля нельзя было удержать... Да и кто бы осмелился силой удержать короля?

- За ним, - рявкнул старец. - За ним!

И холодное дуновение ночи овевало щеки сановников, высыпавших на площадь перед замком. Король бежал посреди улицы, а на расстоянии нескольких шагов за ним гнался канцлер, гнались банкет и бал. И вот архигений этого архистатиста снова проявился во всей своей архисиле - ибо ПОЗОРНОЕ БЕГСТВО КОРОЛЯ СТАНОВИЛОСЬ КАКОЙ-ТО АТАКОЙ и уже нельзя было разобрать, УБЕГАЕТ КОРОЛЬ или ВОЗГЛАВЛЯЕТ УСТРЕМЛЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ БАНКЕТА В ПРОСТРАНСТВО! О летящие, шелестящие в бешеной гонке ленты и ордена послов, фиолет епископов, министерские фраки и бальные туалеты, о галоп, архигалоп стольких вельмож! Никогда ничего подобного не видывали глаза общества. Магнаты, владельцы громадных земельных поместий, отпрыски самых блестящих фамилий галопировали рядом с офицерами генерального штаба, галоп которых вторил аллюру всемогущих министров, гонке маршалов, камергеров, галопу разогнавшихся наизнатнейших дам двора! О гонка, архигонка маршалов, камергеров, гонка министров, галоп послов в сумраке ночи, в отсвете фонарей, под сводом небес! Из замка пальнули орудия. И король предпринял фарс-бросок!

- Вперед! - крикнул он. - Вперед!

И во главе своей архикоманды архикороль приступил к архифорсированию ночной тьмы!



Воспоминания Стефана Чарнецкого

1

Я родился и воспитывался в благородном доме. Детство мое! С волнением прибегаю к тебе в своих мыслях. Вижу отца моего, мужчину видного, статного, в лице которого все - взгляд, черты, волосы с проседью - все было выражением совершенной, высокой породы. Вижу и тебя, мама, в строгой черни одежд, украшенную лишь парой старинных бриллиантовых серег. Вижу и себя, малое, серьезное, задумчивое дитя, и слезы навертываются на глаза, когда я думаю о разрушенных надеждах. - Возможно, единственным изъяном нашей семейной жизни было то, что отец ненавидел мать. Ненавидел - это плохо сказано; скорее, не выносил, а почему - я никогда не мог ответить на этот вопрос, и здесь начинается тайна, в тумане которой я уже в зрелые годы пришел к моральной катастрофе. Ибо кто я сегодня? Прохиндей, или вернее - моральный банкрот. Что, например, я делаю? Целую даме руку, а сам сильно ее слюнявлю, после чего быстро вынимаю носовой платок: ах, извините - говорю я и вытираю платком.

Я быстро заметил, что отец как огня избегал прикосновения матери. Даже более того - избегал ее взгляда, а, разговаривая, чаще всего смотрел в сторону или разглядывал ногти. Нет ничего

более грустного, чем этот потупленный взгляд отца. Иногда же он смотрел на нее искоса, с выражением безмерного отвращения. Мне это было непонятным, поскольку по отношению к матери, хоть она и толстела сверх всякой меры и расплывалась во все стороны, я не ощущал ни малейшей неприязни, любил прижаться к ней и положить голову ей на колени. - Как же при всем при этом объяснить факт моего существования, откуда я взялся? Думаю, что сотворили меня в известном смысле насильно, стиснув зубы, вопреки естественным рефлексам, словом, допускаю, что мой отец в течение какого-то времени во имя исполнения супружеской обязанности героически боролся с отвращением (ибо свое мужское достоинство он ставил превыше всего) и что плодом его героизма стал я - малое дитя.

После этого сверхчеловеческого и, по всем вероятностям, единовременного усилия отвращение взорвалось в нем со стихийной силой. Однажды я подслушал, как он, хрустя суставами пальцев, кричал на мать: "Ты лысеешь! Скоро ты станешь совсем как колена лысая! Лысая женщина - ты хоть понимаешь, что это значит для меня? Женщина - и лысая! Женская лысина... парик... нет, я этого не перенесу!"

И добавил спокойнее, голосом тихим, полным муки: "Боже, как же ты ужасна. Ты не представляешь, как ты ужасна. Впрочем, лысина - это деталь, нос - тоже, та или иная отдельно взятая деталь может быть ужасной, такое случается и в арийской расе. Но ты ужасна в целом, ты переполнена мерзостью с головы до пят, ты сама мерзость... Ну хоть бы что-нибудь в тебе было свободно от этого корня мерзости, тогда у меня было бы, по крайней мере, за что зацепиться, хоть какая-то основа, и, клянусь, тогда бы я на этом сосредоточил все чувства, в которых присягнул тебе перед алтарем. О, Боже!"

Я никак не мог взять в толк, чем же это лысина матери хуже лысины отца? А зубы у матери были даже лучше, был у нее один зуб с золотой пломбой... И почему мать со своей стороны не брезговала отцом, а совсем наоборот - любила гладить его, когда в доме гости, ибо только тогда отец не вздрагивал. Моя мать была исполнена величия. Как сейчас, вижу ее, то организующую благотворительный базар, то на званом обеде, или же совершающую вместе

со слугами вечернюю молитву в специально для нее устроенной часовенке.

Набожность моей матери не имела равных - это было даже не желание, это было вожделение поста, молитвы и добрых дел. В назначенный час мы, то есть, я, лакей, повар, горничная и сторож, вставали в черноте обитой крепом часовни. По прочтении молитв начиналась проповедь - Грех! Мерзость! - патетически говорила мать, а ее подбородок колыхался и трясся, как желток в яйце. Что, может, я говорю без должного уважения к памяти дорогих мне теней? Так это жизнь меня обучила такому языку, языку тайны... но не будем забегать вперед.

Иногда мать призывала меня, повара, лакея, сторожа и горничную в неурочные часы. - "Молись, бедное дитя, о душе этого изверга - твоего отца, молитесь и вы о душе продавшегося дьяволу господина!" Не раз до четырех или пяти утра мы пели вслед за нею литанию, пока не открывались двери и не появлялся облаченный во фрак или смокинг отец, и на его лице проступало выражение активнейшего неприятия. - "На колени!" - кричала тогда расколыхавшаяся и взволнованная мать, подходила к нему, и указывала пальцем на лик Христа. - "Марш в постели, спать!" - по-барски приказывал лакеям отец. - "Это мои слуги!" - отвечала мать, и отец быстро выходил, сопровождаемый нашими молитвенными причитаниями перед алтарем.

Что все это значило и почему мать говорила "его грязные поступки", почему ее коробили поступки отца, а отца коробила сама мать? Невинный детский ум терялся в этих тайниках. - "Развратник, - говорила мать. - Помните у меня - никакого прощения! Кто, узрев грех, не возопит от отвращения, тот пусть привяжет себе на шею мельничный жернов. Как же можно так брезговать, пренебрегать и ненавидеть? Присягнул, а теперь брезгует. Он присягал не брезговать! Адский пламень! Он мною брезгует, ну и я им - тоже брезгую! Придет Судный День! На том свете увидим, кто из нас лучше. Нос! - Дух! У духа нет ни носа, ни лысины, а беззаветная вера откроет врата райских наслаждений. Придет тот час, когда отец твой, корчась в муках, будет молить меня, сидящую одесную Иеговы, в смысле, я хотела сказать - Господа Бога, чтобы я дала полизать ему мокрый палец. Тогда посмотрим, как он будет брезговать!" - Впрочем, отец тоже был набожным и регулярно

посещал костел, но нашу домовую часовню - никогда. Бывало, безупречный и изысканный, он говорил с этим своим аристократическим прищуром: "Верь мне, моя дорогая, это нетактично с твоей стороны; когда я вижу тебя с твоим носом и ушами, с твоими губами перед алтарем, я уверен, что Христу от этого не по себе. Разумеется, я не отрицаю за тобой права на благочестие, даже более того, - добавлял он, - религия прекрасно относится к неофитам, но уж ничего не поделаешь. Природа неумолима, вспомни-ка лучше французскую поговорку: "Dieu pardonnera, les hommes oublieront, mais le nez restera".

А я рос. Иногда отец брал меня к себе на колени и долго и обеспокоенно изучал мою физиономию. - "Нос как и был - мой, - слышал я его шепот. - Слава Богу! Но вот глаза... и уши... бедное дитя! - и его благородные черты искажала боль. - Ужасно будет мучиться, когда он все поймет, и я не удивлюсь, если тогда у него в душе произойдет нечто вроде внутреннего погрома." - Что "поймет" и о каком погроме он говорил? И вообще, какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки? Пятнистая? Или может, когда в борьбу друг с другом вступают цвета абсолютно равные по силе, то в результате получается крыса без цвета, без окраски... но опять, вижу, что нетерпеливыми отступлениями я забегаю вперед.

2

В школе я был успевающим и прилежным учеником, однако всеобщей симпатией не пользовался. Помню, когда я, услужливый, усердный, полный благих намерений, с тем рвением, которое всегда отличало мою натуру, впервые предстал перед директором, директор ласково взял меня за подбородок. Я считал, что чем лучше буду себя вести, тем большее расположение учителей и соучеников заслужу. Однако мои добрые начинания рассыпались в прах, натолкнувшись на непробиваемую стену тайны. Какой тайны? О! Я не знал, да и теперь, собственно, не знаю - я только чувствовал, что со всех сторон я окружен чуждой мне, враждебной, но столь очаровательной тайной, которую я не могу постичь. Ну разве не очарователен и не загадочен стишок "Раз, два, три, все евреи - псы, а поляки - молодцы, золотые птицы, а водить выхо-

дишь ты”, который мы с друзьями использовали как считалку во время игр на школьном дворе? Я чувствовал, что стишок очаровательный, и декламировал его проникновенно, с наслаждением, но почему он очаровательный - этого я не мог понять, и даже более того, мне казалось, что в игре я абсолютно лишний, что мне надо держаться в сторонке и только наблюдать за игрой. Я брал свое прилежанием и вежливостью, но ответом на мои прилежание и вежливость была антипатия не только учеников, но - что еще более удивительно и несправедливо - также и учителей.

Еще я помню:

Кто идет? Поляк - мальчишка смелый.

Твой пароль? Орел наш польский белый.

Я вспоминаю своего незабвенного преподавателя родной истории и литературы - тихий, скорее вялый старикашка, никогда не повышавший голоса. - "Господа,- говорил он, кашляя в большой фуляровый платок или ковыряя пальцем в ухе, - какой еще народ был Мессией среди народов? Оплотом христианства? У кого еще был князь Юзеф Понятовский? Что же касается количества гениев, особенно предтеч, то их у нас столько же, сколько во всей Европе". И неожиданно начинал: "Данте?" - "Я знаю, пан преподаватель, - тут же срывался я, - Красинский!" - "Мольер?" - "Фредро!" - "Ньютон?" - "Коперник!" - "Бетховен?" - "Шопен!" - "Бах?" - "Монюшко!" - "Сами видите, господа, - заключал он. - А язык наш во сто крат богаче французского, хоть тот и считается самым совершенным. Что француз? Самое большее - petite, petiot, tres petite. А у нас какое богатство: малый, маленький, малюсенький, масенький, малехонький, махонький и так далее." Несмотря на то, что отвечал я лучше и быстрее всех, он меня не любил, почему? - этого я не знал, но как-то раз, покашливая, он сказал странным, многозначительным и доверительным тоном: "Господа, поляки всегда были ленивыми, поскольку лень всегда идет рука об руку с большими способностями. Поляки - способные, но - шельмы - ленивые. Поляки - удивительно симпатичный народ". - С тех пор моя страсть к учебе слегка поуасла, но и этим я не снискал себе расположения моего педагога, хоть он и питал слабость к ленивым сорванцам.

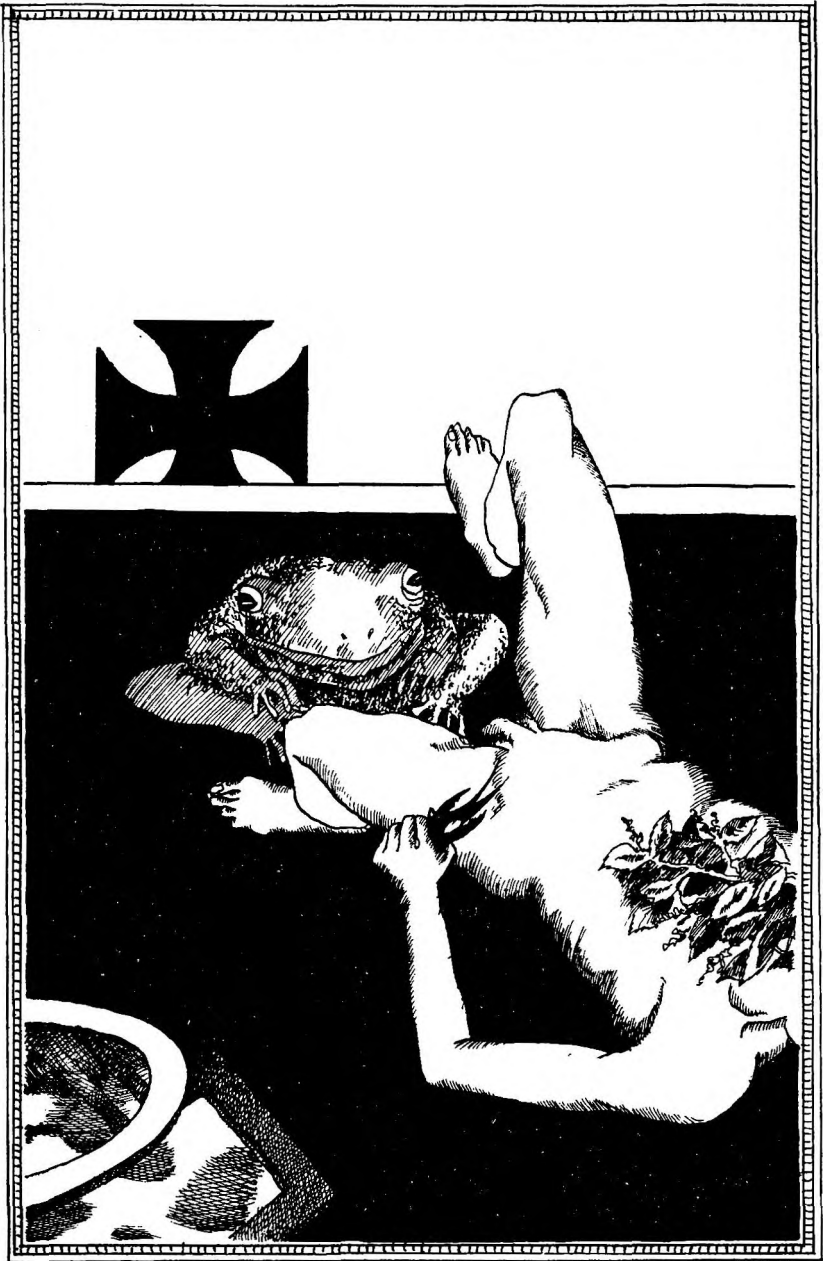
Бывало, прищурит глаз, и тогда весь класс делал ушки топориком. - Ну? - говорил он. - Что? Весна? По жилам струится, тянет во лесок, манит на лужок? - Поляк всегда был такой, как говорится

- шалун и строптивец. На одном месте не усидит, хо, хо... вот почему шведки, датчанки, француженки и немки нас обожают, но мы предпочитаем наших полек, ибо их красота известна всему свету.” Эти и подобные этим высказывания так на меня подействовали, что я влюбился - в молодую барышню, с которой мы учили уроки на одной скамейке в Лазенковском парке. Я долго не знал, как мне начать, а когда в конце спросил: “Вы разрешите?”... она даже не ответила. Однако, на следующий день, посоветовавшись с друзьями, я собрался с духом и ущипнул ее, а она зажмурилась и захихикала...

Удалось - я вернулся победителем, радостный и уверенный в себе, однако же необычайно встревоженный непонятным мне хихиканьем и прищуром. - “Знаете что? - сказал я на школьном дворе, - я - строптивец, проказник, поляк - мальчишка смелый, жаль, что вы не видели меня вчера в парке, вы бы там такое увидели”... И все рассказал. - “Дурак!” - сказали они, но впервые слушали меня с интересом. И тогда один сказал: - “Лягушка! - Где? что? Бей лягушку!” - Все бросились, и я за ними. Мы начали пороть ее тоненькими прутиками, пока она не издохла. Возбужденный и гордый, что ребята допустили меня к самым избранным своим забавам, и видя в этом начало новой эры в жизни, я крикнул: “Знаете что! Еще есть ласточка. Ласточка залетела в класс и бьется об окна - подождите только...” Я принес ласточку, а чтобы она не могла выпорхнуть, надломил ей крыло и вновь - за прутик. Но все окружили ее. - “Бедняжка, - говорили, - бедная маленькая пташка, дайте ей хлеба и молока”. А когда заметили, что я замахваюсь прутиком, то коллега Павельский так сощурился, что аж скулы выступили, и очень больно ударил меня по лицу.

- В морду получил! - закричали ребята. - Эй, Чарнецкий, да у тебя чести нет, дай ему сдачи, дай ему в морду.” - “Как же я могу, - отвечал я, - если я слабее его. Если я дам ему сдачи, то получу еще раз и вдвойне осрамлюсь”. - Тогда они все набросились на меня и избили, не скупясь при этом на издевательства и злые насмешки.

Любовь! - что за колдовская, непостижимая бессмыслица - ущипнуть, ухватить и даже поймать в объятия - сколько же в этом всего! О, о! Сегодня я знаю, в чем здесь дело, я вижу здесь тайное родство с войной, потому что и на войне главное - ущипнуть, ухватить или поймать в объятия, но тогда я еще не был жизненным



банкротом, совсем напротив: меня переполняли благие намерения. Любить? Смело могу сказать, что тогда я окунулся в любовь, потому что таким образом хотел пробить стену тайны... и воодушевленно и самоотверженно сносил все причуды этого самого удивительного из чувств в надежде, что я все-таки когда-нибудь пойму, в чем здесь дело. - "Я хочу тебя!" - говорил я возлюбленной. А она отделялась от меня общими фразами. - "На что ты годишься? - загадочно говорила она, разглядывая мою физиономию. - Зализанный франтик, маменькин сынок!"

Я вздрогнул: маменькин сынок! Что она имела в виду? Может о чем-то таком догадывалась... ведь я-то постепенно догадался. Я уже понимал, что если мой отец был чистокровным до кончиков ногтей, то и мать - тоже была чистокровной, но в другом смысле, в смысле - семитском. Что заставило отца, этого обедневшего аристократа, жениться на дочери богатого банкира, на моей матери? Я уже понимал тревогу его взгляда, изучавшего мои черты, и ночные вылазки этого человека, который, губя себя в постылом сожителстве с матерью, стремился, направляемый высшим велением вида, передать свою породу другим, более подходящим чреслам. А понимал ли? Честно говоря - нет, и здесь вновь вставала волшебная стена тайны. Я знал это теоретически, но, будучи преданным сыном, не ощущал в себе отвращения ни к матери, ни к отцу. Я и сегодня, не зная теории, не могу разобраться, понять, какой масти должна быть крыса, рожденная от черного самца и белой самки, и лишь допускаю, что мой случай - исключительный, беспрецедентный, а именно: враждебные породы родителей, будучи абсолютно одинаковыми по силе, нейтрализовались во мне, да так, что сделали меня крысой без масти, без цвета! Нейтральная крыса! Вот моя судьба, вот моя тайна, вот почему мне всегда не везло, и, принимая участие во всем, я ни в чем не мог принять участия. Вот почему меня охватило беспокойство при словах "маменькин сынок" - и беспокойство было тем больше, что слова эти сопровождалось взглядом из под полуопущенных век - то, на чем я уже пару раз обжегся.

"Мужчина, - говорила она, щурия прекрасные глаза, - мужчина должен быть дерзким!"

"Конечно, - отвечал я, - я могу быть дерзким." Иногда у нее разыгрывалось воображение, и она приказывала мне прыгать че-

рез канавы, поднимать тяжести. - “Растопчите эту клумбу, но не сейчас, а когда сторож будет на месте. Поломайте кусты, бросьте в воду шляпу этого господина!” Я остерегался впасть в резонерство, памятуя об инциденте на школьном дворе, а впрочем, когда я спрашивал, какова причина и каков повод, она говорила, что сама не знает, и что представляет собой загадку, стихию. - “Я - сфинкс, - говорила она, - тайна...” Когда у меня не получалось, она огорчалась, а когда удавалось, то радовалась, как ребенок, и в награду позволяла поцеловать себя в ушко. Но ни разу ее не посетило желание ответить на мое “Я хочу тебя”. - “В Вас есть что-то такое, - говорила она смущенно, - сама не знаю что, но какой-то привкус.” Я хорошо понимал, что это значит.

Все это, надо признаться, было удивительно очаровательным, удивительно живописным, да, да, именно живописным, но в то же время - удивительно неубедительным. Однако я не терял присутствия духа. Много читал, особенно поэзии, и насколько мог, усваивал язык тайны. Помню школьное сочинение “Поляк и другие народы”, где я писал: “Разумеется, не стоит даже говорить о том, что поляки превосходят негров или азиатов с их неприятной кожей. Но даже по отношению к европейским народам превосходство поляков неоспоримо. Немцы - тяжелы, грубы, с плоскостопием, французы - низкорослы, мелки и развратны, русские - волосаты, итальянцы - *bel canto*. Какое же блаженство - быть поляком, и ничего удивительного, что все нам завидуют и хотят стереть нас с лица земли. Лишь поляк не вызывает в нас отвращения.” Хоть и написал я так, но уверен не был, однако чувствовал, что это - язык тайны, и именно наивность моих утверждений была мне мила.

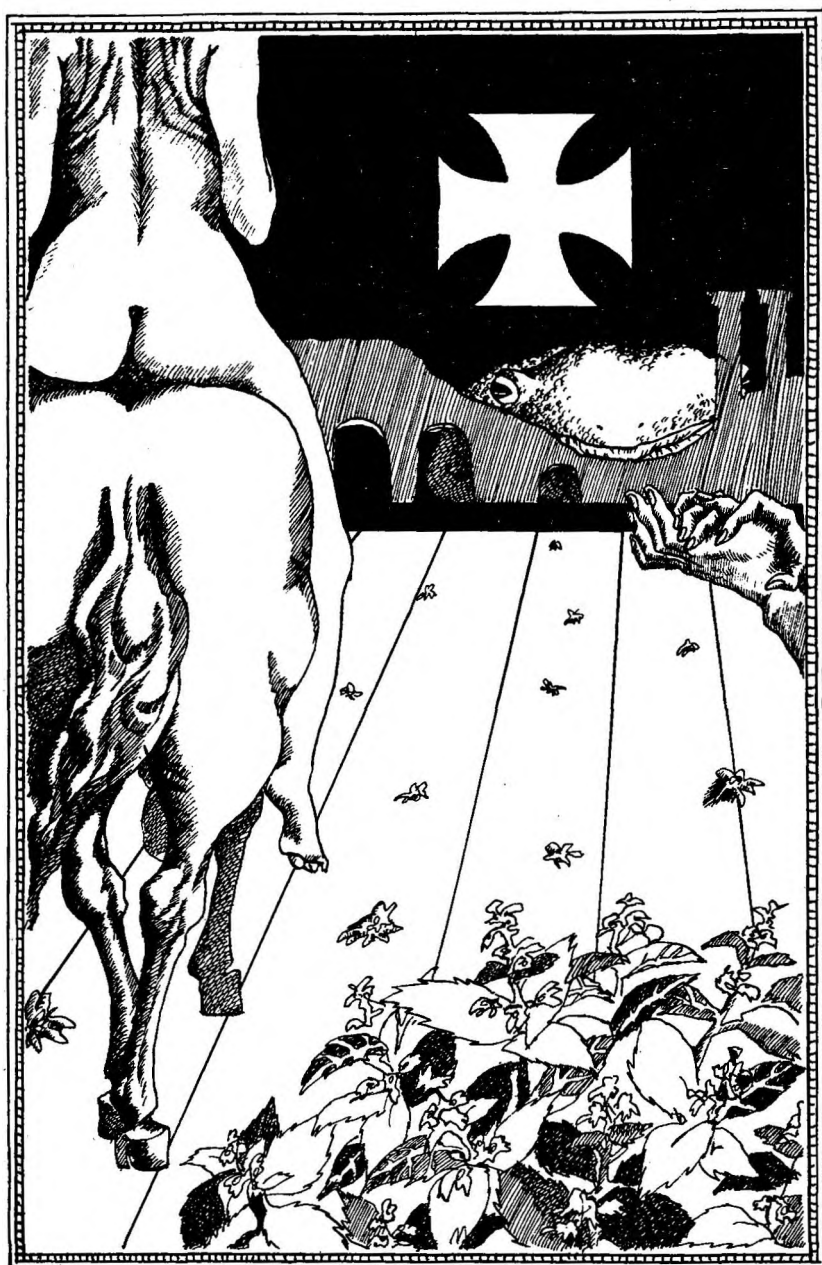
3

Политический горизонт становился темней, а моя возлюбленная выказывала странное возбуждение. Ах, эти долгие, эти фантастические сентябрьские дни! Они пахли, как я вычитал в книге, вереском и мятой, были воздушными, горькими, жаркими и нереальными. На улицах - толпы, пение и шествия, страх, буйство и экзальтация, пронизанные ритмическим шагом проходящих воинских подразделений. Здесь - ветеран-повстанец, слезы и благословение. Там - мобилизация, прощание молодоженов. А там - флаги, говор, взрывы энтузиазма, национальный гимн. Клятвы,

признания, слезы, плакаты, негодование, благородство и ненависть. Никогда прежде, если верить художникам, женщины не были так очаровательны. Моя возлюбленная перестала обращать на меня внимание, ее взгляд потемнел, стал более глубоким и выразительным, но смотрела она лишь на военных. - Я все решал, что мне делать? Мир загадки вдруг как-то странно вырос, и я должен был вдвойне быть начеку.

Ликуя вместе с другими, я давал волю своему патриотизму, и даже несколько раз участвовал в импровизированных расправах над шпионами. Но я чувствовал, что это лишь паллиативы. Во взгляде моей Ядвиси было что-то такое, от чего я как можно скорее вступил в армию, где получил назначение в уланы. Я сразу же понял, что выбрал верный путь, когда, стоя на военно-врачебной комиссии нагишом и с бумажкой в руках перед шестью чиновниками и двумя врачами, приказавшими мне задрать ногу и показать пятку, я встретил тот же самый пристальный, серьезный, слегка задумчивый и холодно оценивающий взгляд Ядвиси, и лишь удивился, что тогда, в парке, предъявляя мне какие-то претензии, она не обратила внимания на мою пятку.

Наконец, я стал солдатом, уланом и пел вместе со всеми: "Уланы, уланы, расписные дети, вы сердца девчонок ловите как в сети". И действительно, хоть все мы уже давно не были детьми, но когда текли через город лавиной, напевая эту песенку, склоненные над гривами коней, с пиками и козырьками киверов, то предивно восхитительное выражение проступало на женских губах, и я чувствовал, что на этот раз сердца бьются также и для меня... Почему - не знаю, может потому, что я все еще был графом Стефаном Чарнецким, по матери Гольдвассер, да к тому же в сапогах и с малиновыми петлицами на воротнике. Моя мать, заклиная меня, чтобы я никому не давал спуску, благословила меня на битву святой реликвией в присутствии всех слуг, из которых больше остальных была взволнована горничная. - "Режь, жги, убивай, - вдохновенно говорила мать. - Никому не давай спуску! Ты - орудие гнева Иеговы, вернее, я хотела сказать, Господа Бога. Ты - орудие гнева, отвращения, презрения, ненависти. Истребить всех развратников, которые брезгуют, хотя перед алтарем клялись небрезговать!" А отец, горячий патриот, плакал в сторонке. - "Сын мой, - говорил он, - лишь кровью ты можешь смыть пятно своего проис-



хождения. Перед боем всегда думай обо мне, и как огня остерегайся думать о своей матери, иначе - пропадешь. Думай обо мне и никому ничего не прощай! Не прощай! Всех до одного истреби этих подлецов, чтобы сгинули все другие породы, а чтоб осталась только моя порода!" - А возлюбленная моя первый раз позволила поцеловать себя в губы; это было в парке, под звуки квартета из кафе, в один из вечеров, пахнувших вереском и мятой - просто, без предисловий, без каких бы то ни было объяснений дала себя поцеловать в губы. Пронзительно прекрасные губы! Можно расплакаться! Сегодня я понимаю, что речь шла о мясорубке, что из-за того, что мы, мужчины, предприняли резню, им, женщинам, пришлось приступить к делу со своей стороны, но тогда я еще не был банкротом, и мысль эта, хоть я ее и осознавал, была во мне лишь чистой философией и не сдерживала слез, навернувшихся на глаза.

"Служба, служба, служба, что же ты за дама?" Простите, что снова обращаюсь к тайне, которая так меня донимает. Солдат на фронте копошится в слякоти и в мясе, а болезни, лишаи и грязь измываются над ним, и ко всему, когда брюхо разрывает снарядом, часто кишки вылезают наружу... Ну так как? Почему же солдат - это ласточка, а не лягушка? Почему профессия солдата прекрасна и вызывает повсеместное восхищение? Нет, плохо сказал, не прекрасна, а живописна, в высшей степени живописна. Одно то, что я красуюсь - придавало мне силы в борьбе с противным предателем солдатской души, со страхом - и я был почти счастливым, как будто находился по ту сторону непробиваемой стены. И каждый раз, когда мне удавалось метко выстрелить из винтовки, я чувствовал, что зависаю на непостижимой женской улыбке и на тактах солдатской песни, и даже более того: после массы усилий мне удалось добиться любви моего коня - этой гордости улана - который меня раньше лишь кусал и лягал.

4

Но произошел случай, ввергнувший меня в бездну моральной испорченности, из которой я и по сей день не могу выбраться. Все шло своим путем. Война разгулялась по всему миру, а вместе с ней и Тайна, люди друг другу втыкали в пузо штыки, ненавидели, гнушались и презирали, любили и обожали, а где прежде селянин мирно обмолачивал урожай, там теперь были груды развалин. И я

вместе с ними! У меня не было сомнений относительно того, как действовать и что выбрать; путь к Тайне указывала мне жесткая воинская дисциплина. Я или рвался в атаку или лежал в окопе, окутанный удушающими газами. И вот уже надежда - мать глупых - указывала мне радостные перспективы будущего, как я приду домой из армии, раз и навсегда освобожденный от фатальной крысиной нейтральности... Но, к сожалению, все вышло по-другому... Вдали громыхали орудия... На перепаханное поле спустилась ночь, по небу неслись рваные тучи, хлестал холодный ветер, а мы, как никогда живописные, уже третий день яростно обороняли пригорок, на котором стояло сломанное дерево. Сам поручик приказал нам стоять насмерть.

В это время артиллерийский снаряд подлетает, лопается, взрывается, отрывает улану Кацперскому обе ноги, разрывает живот, а тот сначала смущается, не понимает, что произошло, а минутой позже тоже взрывается, но - смехом, тоже лопается, но - от смеха! - держась за живот, из которого фонтаном хлещет кровь, а он пищит и пищит потешным, визгливым, истерическим, водевильным дискантом - долго так пищит! Как заразителен смех! Вы понятия не имеете, чем может быть такой неожиданный голос на поле боя. Я чудом смог дотянуть до конца войны. А когда вернулся домой, то решил - а в ушах все еще стоял тот смех - что все, чем я жил до сих пор, разлетелось в прах, что по ветру развеялись мечты о новом, счастливом существовании под бок у Ядвиси, и что в пустыне, которая вдруг распростерлась вокруг меня, не остается мне ничего другого, кроме как стать коммунистом. Почему коммунистом? Вы только послушайте, что я под этим понимаю! В это определение я не закладываю ни какого-либо определенного идеологического содержания, ни программы, ни балласта, напротив, я использую его скорее из-за того, что в нем есть чуждого, вражеского, непостижимого и что даже самых важных заставляет пожимать плечами или издавать дикие вопли отвращения и страха.

Но если уж так нужна программа, то пожалуйста: я требую и настаиваю, чтобы все - отцы и матери, порода и вера, добродетель и невесты - чтобы все было огосударствлено и выдавалось по карточкам равными и разумными порциями. Требую и поддерживаю требование перед всем миром, чтобы мать поделили на кусочки и чтоб каждому, кто не слишком усерден в молитвах, дали по кусоч-

ку, и чтоб точно так же поступили с моим отцом в отношении людей, лишенных породы. Я требую также, чтобы все улыбочки, все красоты и прелести выдавались только по настоящему требованию, и чтоб необоснованное пренебрежение каралось заключением в исправительном учреждении. Вот и вся программа. А что касается метода, то он базируется прежде всего на пискливом смехе и на прищуривании глаз. - С решительным упорством я настаиваю на том, что война уничтожила во мне все человеческие чувства. И заявляю, что лично я ни с кем мира не подписывал и что состояние войны - для меня - ни в коей мере не прекратилось. "Ха, - воскликнете вы, - да эта программа нереальна, а метод - глуп и непонятен!" Хорошо, но разве *ваша* программа - более реальна, и *ваши* методы - более понятны? Впрочем, не настаиваю ни на программе, ни на методе, и если я выбрал определение "коммунизм", то лишь потому, что "коммунизм" - такая же непостижимая тайна для не принимающих его умов, как для меня ваши капризы и улыбочки.

Вот так-то, мои дорогие, вы все улыбаетесь, щурите глазки, заботитесь о ласточках и мучаете лягушек, придираетесь к носу; постоянно кого-нибудь ненавидите, кем-нибудь брезгуете, или опять же - впадаете в необъяснимое состояние любви и восхищения - и все ради какой-то Тайны. Но что будет, если и я позволю себе иметь собственную тайну и навяжу ее вашему миру со всем тем патриотизмом, героизмом, преданностью, которым научили меня любовь и армия? Что будет, если я в свою очередь улыбнусь (да не такой, как у вас, улыбкой) и прищурю глаз с бесцеремонностью старого вояки? Смешнее всего я поступил с возлюбленной Ядвисей. - "Так значит, женщина - это загадка?" - спросил я. (Она встретила меня бесконечно нежно, рассмотрела медаль, и мы пошли в парк). "О, да, - ответила она. - Разве я не загадочна? - сказала и потупила взор. - Женщина - стихия и сфинкс." - "Я тоже - загадка! - сказал я. - И у меня есть свой тайный язык и я требую, чтобы ты говорила на нем. Ты видишь эту лягушку? Клянусь честью солдата, что засуну ее тебе под блузку, если не скажешь, но чтоб серьезно и чтоб смотреть глаза в глаза, такие слова: - "тям-бам-бью, мину-мню, ба-би, ба-бе-но-зар".

Ни в какую не хотела. Увертывалась, как только могла, объясняла, что это глупо и нелогично, что она *не может*, вся залилась

румянцем, попыталась все обратить в шутку, и в конце начала плакать. - “Не могу, не могу, - повторяла она рыдая, - мне стыдно, ну как же... такая бессмыслица!” И тогда я взял большую, жирную жабу и исполнил свое обещание. Казалось, что она сойдет с ума. Как бесноватая каталась она по земле, а вырвавшийся из нее визг мог бы сравниться лишь с потешным писком человека, которому артиллерийский снаряд оторвал обе ноги и часть живота. Может и это сравнение, и трюк с лягушкой - пошлы, но попрошу не забывать, что я - нейтральная крыса, ни белая, ни черная - тоже являюсь пошлым для большинства людей. Так что же, всем одно и то же должно нравиться и на вкус и на цвет? Что лично мне казалось самым живописным, самым таинственным и пахнущим вереском и мятой во всей этой истории, так это то, что в конце, не сумев освободиться от безумствующей под блузкой жабы, она сошла с ума.

Может я и не коммунист, а всего лишь воинствующий пацифист. Болтаюсь по свету, плаваю в этой пучине непонятных идиосинкразий и где только увижу какое-нибудь таинственное чувство - будь то добродетель, семья, вера или родина - там везде я должен сделать какую-нибудь гадость. Вот моя тайна, которую я со своей стороны бросаю в лицо великой тайне бытия. Я просто не могу спокойно пройти мимо счастливых молодоженов, мимо матери с ребенком или достопочтенного старичка. - Но временами такая грусть на меня накатывает при мысли о Вас, дорогие мои Отец и Мать, и о тебе, детство мое золотое!



Крыса

Грозой всей многонаселенной и зажиточной округи был бандит, повеса и разбойник, известный под именем Хулиган. Рожденный в чистом поле, на широкой равнине и воспитывавшийся по лесам, горам, долинам и просторам, он никогда не спал в закрытом помещении, и это придало его натуре особую массивность и широту - простор души - колышущееся полноводье настроения. Да, натура его была широкой, не признающей никаких тесных закоулков и любящей выпить, а широкий жест был единственным его истинным жестом. Разбойник Хулиган ненавидел все тесное, узкое, мелкое, например, карманных воров, и если перед ним был выбор щипнуть кого-нибудь или долбануть, то он бил и, тяжело и широко шагая по полю, пел что было сил: "Хэй же ха! Хэй же ха!"

Люди уступали ему дорогу, а если кто не успевал уступить, то разбойник Хулиган разил того прямо в лоб, или поднимал вверх и шмякал оземь, или просто избивал, после чего отбрасывал в сторону и шагал дальше. Но он никогда не опускался до какого-либо скрытого и мелочного убийства, все его убийства были шумные, смелые, широкие, повсеместно известные и сопровождались шествием и пением: "Хэй, Марыська моя, Марысь!"... Или: "Ой дана! Ой Марысь!"... Потому что любил он эту свою Марыську больше всего на свете, громко, шумно и широко любил, с плясками, с коленцами, с водкой!

Его натура была такой широкой, что шире не бывает. Он

вообще не понимал тишины - и особенно приглушенности - той приглушенности, которая является, можно сказать, главной воровской чертой людей нашего времени - и даже спал зычно - с открытым ртом, храпя и наполняя храпом долины. Терпеть не мог кошек, и если увидит кошку, то гонится за ней десять или двадцать километров, а женщин имел обыкновение хватать всей пятерней и орать при этом: "Уу-сука!" Или покрикивал: "Эх-хей, хо, хооо! Хооо! Хэтта! Вио!" Точно так же хватал он и свою единственную Марыську! Иногда, правда, наваливалась на него тоска, и тогда весь край заполняли его шумные, протяжные, грустно отсвечивающие меланхолией думки, и раздавались при луне молитвенные, молодецкие, казачьи, собачьи или же - низкие, полевые причитания или кваканье бандита: "Хэй, хэй, - пел он, - хэй, доля! Хэй, доля! Хэй, Марысь! Марыська!" А собаки отчаянно отзывались на задворках, глухо и мрачно воя. В конце концов этот вой заражал людей, и вся округа начинала выть тоскливо, глухо и по-черному, прямо на бледносветящую луну: "Хэй, доля! Хэй, доля!"

Все больше песен множилось и собиралось вокруг разбойника. Постепенно он превращался в легенду, а стало быть, и о нем тоже слагались песни, то, как поля, широкие, то громкие, задиристые, но всегда с одним и тем же монотонным припевом: "Хэй, ха! хэй, ха! эх, эх, хай, хайжеха!"... И все больше становилось песен, стычек и убийств. Но неподалеку, в обветшалой и одинокой усадьбе жил много лет некий пожилой кавалер, бывший судья, Скоробковский, которого чрезвычайно раздражало выходящее из берегов буйство округа. Без устали ходил он окольными путями к властям с жалобами - впрочем, делал это под большим секретом.

- Не понимаю, как можно терпеть,- шептал он.- Убийства средь бела дня... Мордобой и погромы. Кутежи по кабакам. И эти песни, ах уж эти песни, этот рев, эти вечные вопли, вой... И эта Марыська, Марыська...

- Чего же Вы хотите? - Начальник полиции был упитанным мужчиной. - Чего же Вы хотите, власть - бессильна. Бессильна, - повторил он и посмотрел в окно на безбрежные просторы полей с разбросанными то здесь, то там одинокими деревьями. - Народ его любит. Симпатизирует.

- Как же народ может симпатизировать?! - возмутился бывший судья, выпуская из под полуопущенных век свой взгляд по

равнине на расстояние нескольких километров аж за песчаные холмы Малой Воли и тут же возвращая его обратно под веки. - Ведь бояться из дому выходить! Убивает...

- Убивает, но лишь некоторых, - пробурчал комендант на фоне бесконечных равнин, - остальные смотрят... Неужели не понятно? Для них же это развлечение - увидеть хорошее убийство... Охо, - буркнул он и притворился, будто не заметил, как из ближайшей рощицы неожиданно вылетел вверх труп, и тут же послышался умопомрачительный рев, будто тысячи буйволов топтали посевы и луга.

Солнце клонилось к закату. Полицейский комендант закрыл окно.

- Если вы не хотите его ловить, то его поймаю я, - как бы сам себе сказал судья. - Уж я его поймаю и посажу. Посажу и сделаю поуже его широкую натуру. Обужу и слегка обтешу.

На что комендант только вздохнул:

- Замечательно! Замечательно...

Вернувшись в свою опустевшую усадьбу, Скорабковский стал бродить в табачного цвета халате по пустым комнатам, а в голове его бродили и вызревали планы поимки изверга. Ненависть скупца к бродяге росла с каждой минутой. Схватить, поймать, посадить в тюрьму и хоть как-то утихомирить - вот что стало первостепенной потребностью его стесненной психики. Наконец он решил воспользоваться адской прямолинейностью изверга, который имел обыкновение нападать на жертвы по прямой, и - более того - пожелал также использовать его растущую и давно перешедшую все границы наглость. И действительно, бандит так распоясался, так привык к тому, что все от него бегут, что стоящего, а не спасающегося бегством человека он рассматривал как направленную лично против него провокацию. Поэтому Скорабковский велел своему лакею Ксаверию пойти под дерево на ближайший пригорок, а когда старый слуга исполнил приказ своего господина, тот вдруг прихватил его цепью и приковал к стволу. После чего собственноручно выкопал перед слугой большую яму, в яму положил капканы и быстро спрятался в доме. Опустились сумерки. Ксаверий долго смеялся шуточкам "барича", но когда взошла луна и осветила всю округу вплоть до дальних окраинных боров, до слуги постепенно стало доходить, зачем приковали его к стволу на пригорке, почему

столь немилосердно отдали его мраку ночи. Завыли собаки, а из камыша раздался тоскливый клич разбойника, собиравшегося погрузиться в одну из своих степных ностальгий. И постепенно большой и страшный вой “Хэй, Марыська, Марыська, Марыська...” начал прокатываться по ночи, вой тоскливый и пьяный, распоясанный, беспредельный и, казалось, безумный. Первым выл разбойник - сурово, дико, без тени волнения и без удержу, изливая душу, а за ним выли псы на цепи, а дальше - робко и тревожно через форточки закрытых на все засовы хат - выли люди.

“Барич! - хотел позвать Ксаверий. - Барич!” Но не мог позвать, потому что крик привлек бы внимание разбойника... а шепот не долетал до Скорабковского, внимательно следившего через форточку за ходом событий. Ксаверий сетовал на то, что мы не можем исчезать, что мы, хоть и не хотим того и не можем, но должны быть на виду, что кто-то другой может нас выставить и сделать с нами то, что выше наших сил. Старый слуга проклинал зримость нашего тела, которая от нас не зависит! Но разбойник уже вставал, уже поднимался с лежбища, и волей-неволей старик должен был попасть в поле его зрения - раздражить зрачок - и по зрительному нерву проникнуть в мозг... и вот уже Хулиган летел большими скачками, чтобы разнести челюсть, разmozжить нос и грудь, свернуть шею, выставленную как на показ! Хааа! Аааа! В это время он упал в яму, в расставленные Скорабковским силки, который тут же прибежал и через пару часов работы сумел-таки перенести массивную тушу буяна в укромный подвал старого дома.

Итак, Хулиган был в его власти! Итак, разбойник Хулиганчик затащен в дом, заперт в тесном помещении, с кляпом во рту, прикован к кольцу и отдан на милость победителя! Судья по апелляциям потер маленькие ручки и улыбнулся, тихоня, после чего всю ночь напролет придумывал подходящие пытки. Его не очень-то привлекала ликвидация дебошира - узкогрудый и узколобый, этот формалист захотел слегка осадить и обуздать жертву, чья смерть не была для него лакомым куском: его привлекало только обуживание. Пенсионер несколько не спешил и в первые дни лишь наслаждался мыслью, что Хулиган у него, в подвале, что разбойник не может рычать и шуметь, потому что у него во рту кляп. И только когда он хорошенько осознал, что шумливый бандит не сможет пошуметь, что теперь он тихий - только тогда судья Ско-

рабковский отважился спуститься в подвал и в полной тишине начал свою деятельность, ставившую целью суживание и сокращение. О, как тихо! Как сильна была эта тишина, которая струилась из подвала и поднималась к небесам. Теперь наступили недели и месяцы большой тишины, тишины невыреванного рева...

Ежедневно в семь вечера одетый в табачного цвета исподнее Скорабковский спускался в темницу с прутиками или проволочками в руке. Ежедневно с семи вечера узкий судья по апелляциям работал над безгласным извергом, работал в поте лица, и все молчком, молчком... Молчком подходил к нему и сначала долго-долго щекотал пятки, чтобы вызвать судорожное учащенное хихиканье, а потом при помощи прутиков устраивал ему мелкие козни и с помощью досок сужал ему поле зрения, всаживал в него булавочки, пока у того в глазах не появлялись горошек, фасолька, свеколка... Но разбойник принимал все это не молчком, а молча. И молчание его росло, накатывалось и громоздилось во тьме, становясь равным самому великолепному реву - а судья напрасно хотел своим молчком одолеть широкое молчание бандита - и ненависть заполняла подвал! Чего же собственно хотел Скорабковский? Он хотел изменить природу бандита, переделать ему голос, широкий смех заменить узким хихиканьем, рев довести до шепота, скукожить его и съежить весь его образ, словом, хотел его уподобить себе, Скорабковскому. С усердием кропотливого исследователя он искал в нем слабые места, предавался специфическим и страшным опытам, чтобы отыскать ту точку *minoris resistentiae*, ту слабую точку, за которую можно было бы как следует ухватить бандита. Но бандит не выказывал слабостей, он лишь молчал.

Много раз пожилому господину казалось, что методически проводимыми процедурами ему удалось добиться некоторой усадки - но каждую неделю наступал момент испытания, становившийся для экзекутора страшной минутой, которой жалкий тихоня боялся больше всего на свете. Тогда ему приходилось вынимать кляп изо рта бандита, чтобы накормить его - о, с каким смертельным окоченением ужаса, туго забив себе уши ватой, ставил он перед поверженным буйном миску еды и одним судорожным движением вынимал у него изо рта затычку! И каждый раз тешил себя надеждой, что, может, все-таки удалось слегка утихомирить негодя, что, может, на этот раз не взорвется... И каждый раз откупо-

ренный буян раздражался адской оргией ора, проклятий, воя! “У-у-сука! - ревел он.- Стерва! Вон! Вон! Я до тебя доберусь! Морду, в морду... Я, Хулиган, ядреньть, уусука, мать твою разэдак! Уубью! - рычал он. - Уубью! Марыська! Марыська! Где Марыська, хэй Марыська!” И переполнял подвал ревом, разносившимся по округе, изрыгал проклятия, пел песни, изливал душу, а бледный, как полотно, скупой, скрюченный мучитель толкал ему в харю еду... а он рычал в промежутках между кусками. А народ в близлежащих селеньях повторял: “Это Хулиган рычит! Хулиган все еще рычит!”... Бывший судья по апелляциям после такого сеанса возвращался к себе перепуганный и продолжал поиски точки *pinogis resistentiae*.

И наконец он нашел ее.

Это была крыса.

Странное дело, крыса...

Как-то раз, когда здоровенная крысина случайно оказалась в темнице и прошмыгнула вдоль стены, стойкий до той поры буян съежился.

Скорабковский вырвал у него изо рта кляп. Но откупоренный не взорвался криком, а, продолжая следить за крысой, молчал. Адское отвращение и страх были сильнее него. И лишь только когда крыса проползла около его схваченной колодкой ноги, разбойник судорожно засмеялся, засмеялся октавой выше...

Наконец! Наконец! Как благодарить Бога! На колени за эту непостижимую милость! Наконец-то нашлось средство! Судья по апелляциям не мог сдержать слез!

Непостижимым велением Натуры у каждого, даже самого сильного человека есть на этом свете только ему предназначенная одна-единственная вещь, которая сильнее и выше его, и которой он не может перенести! Одни не выносят примул, другие - печенки, а иные - напротив - от земляники покрываются нервной сыпью, но странное дело, убийца, которого не надломили ни прутиковые, ни проволочковые пытки и никакая другая из тысячи самых изощренных комбинаций, и который, казалось, был сильнее всего, боялся крысы. Он не мог выдержать крысы! Был слабее крысы. Бог весть почему. Может потому, что разбойник, убивавший людей как мух, боялся убить крысу - ах, ведь не ее самое он боялся, не крысы, а лишь крысиной смерти, ею он брезговал больше всего, смерть

крысы была для него ни с чем не сравнимым омерзением, и поэтому он не мог ее убить, никакая другая смерть - ни кабана, ни теленка, ни человека, ни червя, ни курицы, ни лягушки - не была для него и на тысячную долю так страшна, отвратительна, судорожна, скользка, лжива и так фальшива, как смерть именно крысы! И потому страшный буян был безоружен перед грызуном - это была одна-единственная для него недоступная, невозможная смерть. И вот при виде крысы он лежал и содрогался, явно сузился и сжался, дрожал и вибрировал. Наконец!

Наконец старый судья Скорабковский стал повелителем хулигана!

И с тех пор он безжалостно напускал на него крысу.

С крысой на поводке он приближался, подходил, скорчивал негодяя и сужал его, или на минутку пускал крысу ему в штанину и утоньшал его голос до писка, или, держа крысу над ним, заставлял разбойника замирать, или махал и вертел крысой вокруг все больше и больше корчившегося буяна. Кляп больше был не нужен! Буян больше не мог кричать, а тем более - реветь, и так проходили недели, и даже месяцы, а старый лакей Ксаверий, в обязанности которого входило держать свечку и освещать безжалостную крысу, стонал и молился в душе и, с волосами дыбом и похолодевшим сердцем, старый лакей молил крысу о пощаде, проклинал эти страшные и как бы безапелляционные связи в природе, проклинал безграничность немилосердия. "Будьте вы прокляты, и крыса, и барич, и дом, и натура разбойника, и натура судьи, и натура крысы, о, будьте вы прокляты, натуры, и будь ты проклята, Натура!" Шли годы. Все нестерпимее, все сильнее становились мучения, все больше и без отдохновения орудовал Скорабковский крысой - а напряжение все росло, и росло, и росло.

И постоянно - крыса.

Все время - крыса.

Одна лишь - крыса.

И крыса, и крыса, и крыса...

До тех пор, пока Ксаверий на самом пределе напряжения не опустил голову и не погнался за крысой, которая с писксом сорвалась с поводка и убежала, юркнула вглубь, в расщелину, в яму. Тогда разогнавшийся слуга подвигнул ногу и полетел на судью склоненной головой.

Напряженный до предела Скорабковский свихнулся и склонил голову...

И погнался за Ксаверием со склоненной башкой. В подвале раздался треск, разбрызгались мозги - и, ах! теперь после одиннадцати лет и четырех месяцев заточенья разбойник Хулиган был свободен, его мучители лежали бездыханны. А крысы не было! Бандит сглотнул слюну, подумал, что надо выйти - и мелкими телодвижениями начал освобождаться. К рассвету изверг освободился от оков, приоткрыл дверь, ведущую на увитое виноградом крылечко, и - некогда большой, теперь же порядочно усевший - выбрался на свободу. С веранды он сразу нырнул в кусты и начал кустами пробираться вдоль запырей - а тем временем из-за горизонта поднималось солнце. Вдруг вдалеке раздался голос пастуха:

- Корова, коровааа!

И Хулиган поскорей затаился под кустом. О, как бы охотно он втиснулся во что-нибудь, влез бы в яму, в щель, в отверстие, в дыру, зарылся бы в чашу, укрыл бы спину и всю оставшуюся поверхность тела. Изверг смотрел под ноги. Легкое дуновение обдало его, но он им не насытился, он его не вдыхал и не впитывал, он лишь внимательно и осторожно шарил взглядом под ногами: одна мысль занимала его: что стало с крысой? Куда девалась крыса, которую Ксаверий спугнул в подвальнойю щель?

Но крысы не было.

Однако же Хулиган не отрывал взора от земли. Он слишком хорошо познал тот ужас, который нагоняла крыса, слишком вычерпал всю бездонность крысиного кошмара, чтобы само отсутствие крысы не стало для него важнее всех самых сладких в мире голосов и дуновений - нет, остальное было лишь орнаментом, а важным было наличие крысы или отсутствие крысы! Уши бандита были настроены исключительно на мелкий шелест, сродни шуршанью, а глаза ловили только формы сродни крысиным, и ежеминутно казалось, что вот-вот и уловят... что вот-вот и отгадают... что он уже почти слышит и различает это шмыг-шмыг, скок-скок, шась-шась...

Но крысы не было.

А ведь казалось невероятным, чтобы грызун, находившийся с его особой в столь тесном и устрашающе-мучительном союзе столько лет, объединенный с его персоной в истязательную систе-

му, привыкший к его особе больше, чем когда-либо какое-либо животное привыкало к человеку - казалось невероятным, что грызун (ведь надо было принять во внимание слепую привязанность животных) мог так просто порвать с ним, исчезнуть и отказаться от него...

Но крысы не было.

Когда же потом что-то продолговатое проворно юркнуло неподалеку от большого пятна солнечного света и скрылось...

Неужели крыса?

Буян шарил глазами, рыскал, не будучи в полной уверенности, но вот снова что-то зашуршало в сухой листве.

И снова - неужели крыса?

Почти наверняка - это была крыса.

Он - шажок, а за ним скок-скок

Эта верная крыса!

Он - во весь дух, а за ним плюх-плюх

Эта верная крыса!

Хулиган бросился к дереву, притаился в дупле, а крыса бросилась в кусты и притаилась. Но дупло не было надежным укрытием, и не поддающийся расчетам грызун, ослепленный дневным светом, выбравшийся из сумрака подвала, мог броситься под ноги, влезть в брючину. Разве так не бывало, что вытолкнутая из подвальной темноты, обнаруженная и перепуганная крыса поспешно искала какое-нибудь убежище, что-нибудь знакомое, а что ей знакомо больше, чем штанина Хулигана? К какой дыре она была привязана сильнее? И разбойник понял, что эти щели и впадины, которые есть в нем самом, эти дыры и закутки, которые волей-неволей приходится иметь между телом и одеждой - вожделенные для крысы убежища. Поэтому он выскочил из дупла и, гонимый страхом, бросился бежать вдаль, куда глаза глядят, а за ним (почти наверняка) бросилась здесь же по земле крыса. О, найти нору, щель, зазор, укрыть спину, защитить, защитить ноги, заслониться со всех сторон, закрыть доступ ко всем своим полостям и щелям, столь притягательным для крысы - и выбравшийся из подземелья разбойник летел, летел, летел через луга, рощи, горы, долины, поля и рывины, унося с собой все свои впадины и лазейки, а за ним (видимо) гналась крыса. Собрав последние силы, бандит добрался до какого-то лаза, который как раз попался ему на пути и, в полуобморочном состоянии, вполз туда, защищая свои дыры, и

зарылся в соломе. Почти обезумевший, лишь через пару минут он заметил, что та дыра, в которую он влез, была в деревянной стене сарая, и что он очутился в сарае или овине. Но в любой момент из соломы могла вылезти крыса и залезть ему под мышку, или между складками рубахи, а потому он снова высунулся и начал наблюдать. Но что это? Во сне это или наяву? Где это я? Ба, да это ж знакомый сарай! А кто же это лежит на глиняном полу на соломенной подстилке у противоположной стены? Хэй, Марысь это, Марысь! Хэй, Марысь тут лежит, Марысь отдыхает, Марысь спит и дышит, ах, хэй, хэй, Марыська, Марысь! Ой дана, дана Марысь! Согнутый, пробранный грызуном до самого нутра, он прильнул к ней взглядом, и не верилось ему, что это она... Дивчина лежала, заснув с открытым ртом, и Хулиган рванулся - и уж было хотел запеть как некогда, как прежде: "Марысь, Марысь... хэй Марыська, Марыська"...

Как вдруг сбоку появилась крыса.

Большая крысина высунулась из-под балки, осторожно вылезла на глиняный пол и тихонько запрыгала возле Марысиной юбки.

А значит, снова была крыса.

У Марыськи - крыса.

Но это был не призрак, а самая настоящая, осязаемая крыса, прыгавшая по полу в четырех шагах от него. Разбойник замер. Сдавалось, это была другая крыса - не та, которой его истязали, другая - но крысы так похожи друг на друга, что истязуемый не мог быть абсолютно уверен. Более того, он не был также уверен, что сколь многолетнее, столь же и бесславное общение с одним из этих грызунов не оставило в нем чего-то такого, что привлекало крыс. Но больше всего он боялся, как бы со страху не броситься на крысу, в то время, как она была готова со страху броситься на него - нет, нет, следовало действовать осторожно, как можно более тонко заявить о своем присутствии, лишь тихохонько припугнуть крысу, чтоб она обратно спряталась в дыру. Ради Бога! - избегать резких движений, не предаваться панике, не впасть в эту дикую, подземную прыгающе-скачущую непредсказуемость, свойственную этим страшным снующим, пищащим, хвостатым обитателям подполья! Разбойник отыскал место, где, вероятно, находилась яма крысы, и приготовился к аккуратному тихому спугиванию - почти в абсолютной тишине, лишь легким шорохом, самое большее - покашливанием - как вдруг... что-то привлекло крысу под правым коленом девки. Залезла туда - а Хулиган замер, вот крыса дотронулась

до нее, крысиное существо терлось о его девушку, о его Марыську - о Марыську!

И вдруг это прикосновение, это хуже любого кошмара отирание крысы о Марыську заставило бандита... зарычать! Он заревел как некогда, изо всех сил, на весь мир, заревел прежним неодолимым ревом и, как закованный в крик, бросился на крысу с таким сумасшедшим рыком, что крыса ни за что не смогла бы пробиться через этот рев и добраться до его брючины! Он уже не задумывался над тем, что отрезает крысе путь к норе, и бросился на нее с фронта. О, неожиданный прыжок Хулигана, о, скачок крысы вбок, о, рывок, и бросок, и подлет, и подскок - и мгновенная уверенность рычащего разбойника, что крысе от него не уйти, что он схватит крысу, что он убьет ее, лишенную всех нор и дыр!... Уж и не знаю, говорить ли дальше? Вымолвят ли мои уста самое страшное? Ой, чаю, вымолвят, ибо нет, нет предела ужасу, конечно, существует некая безграничность безжалостности, если уж начнет громоздиться ужас, то громоздясь громоздится, - громоздится, громоздясь - без конца, без краю, все вырастая и вырастая, вырастает выше себя самого - механически. Ой, чаю, вымолвят уста мои, что крыса... этот полуослепший грызун, напуганный и преследуемый, ошалевший от слепой и абсолютной необходимости найти щель... влез Марыське в рот, юркнул, прошмыгнул в ротовую щель спящей с открытым ртом. И прежде чем Хулиган успел судорожно спохватиться, он увидел залезающую в рот крысу, панически стремящуюся скрыться в возлюбленной ротовой полости! О, механика! А разбуженная и еще не пришедшая в себя Марыська чисто механически, моментально сомкнула возлюбленные челюсти - и перестал существовать механизм ужаса, крыса скончалась с отсеченной башкой, отгрызенной от туловища, наступила смерть крысы.

Не было больше крысы.

Оказался Хулиган лицом к лицу с отгрызенной крысиной смертью в возлюбленной полости рта любовницы-Марыськи. С тем и пошел.

Он прыг, а за ним дрыг-дрыг

Крысиная смерть.

Он скок, а за ним чмок-чмок

Смерть крысы в Марысиной ротовой полости.



На лестнице черного хода

В тот серый час, когда зажигаются первые фонари, я любил выходить в город и флиртовать со служанками, из тех, кого называют служанками за все. Незаметно это перешло в привычку, а как известно - *consuetudo altera natura*. Другие работники МИДа и все атташе посольств (разумеется, те из них, что не были женаты) - тоже выходили на улицу и тоже заигрывали: одни - с одними, другие - с другими, в соответствии со вкусом, фантазией, темпераментом, но я заигрывал исключительно с толстыми служанками. Привычка же пристала ко мне до такой степени, что когда меня направили в Париж в должности второго секретаря - что было весьма почетным для моего возраста - я должен был некоторое время спустя, вследствие сильной ностальгии, вернуться на родину. Слишком уж дожимала меня чуждость голеней, этих тонких, нервных, обтянутых чулочком голеней, которые демонстрировала местная прислуга. Убийственная бойкость, отвратительная бойкость, невыносимо-парижская, была слишком мелкой и слишком стучащей каблучками, а на площади Звезды и даже в районах по левому берегу Сены напрасно искать обычную кулему с корзинкой в руках, выходящую из парфюмерной лавки или из продовольственного магазинчика. Вайсенхофф пишет: "возбуждающий ритм ножек парижанки". Этот-то ритм меня и убивал, я искал другой ритм и другую мелодию.

А происходило это так: завидев издали служанку, вяло пере-

ставляющую толстые ноги, я ускорял шаг и шел за ней, пока она не входила в подворотню. Настигал ее на лестнице черного хода и сперва спрашивал: “Здесь проживает пани Ковальская?”, а потом: “Может познакомимся?” При этом ничего существенного, например, поцелуев, не было, хотя в течение каких-нибудь пяти лет я подцепил не меньше тысячи с несколькими сотнями служанок, нет, они были слишком робкими, а все наверное потому, что их хозяйки были слишком строги. Никаких конкретных выгод у меня от них никогда не было, разве что, может быть, легче жилось...

Но как-то раз я совершил оплошность, которую тут же заметил один из моих друзей, и, как нетрудно догадаться, раззвонил по знакомым:

- Знаете что, я вчера Филипа видел, на Хожей, честное слово, увязался за какой-то чумазой страшилой!

И пошло-поехало, не знаю, десятый или двадцатый сплетник начал меня подкалывать, высоко оценивая мой вкус, что, мол, видимо, я большой любитель ядерной репы, да и другие тоже поговаривали в том духе, что дескать “кое-что известно, а вот что - не скажем”. Можете представить, как я испугался. Оно конечно, в МИДе творились самые разные дела, и как это обычно бывает: один любит то, другой - другое, но одно дело изящный чулочек, и совершенно другое этот постыдный объект, босая, пошлая служанка. Если бы это были все крепкие молодые девки - тогда бы я мог что-нибудь сказать о ядерной репе, в том смысле, что предпочитаю репу нездоровым городским деликатесам. Но служанки с корзинками, служанки в платочках не имеют ничего общего с репой, скорее - с салом, со шкварчащим маслом. Иногда я с досадой усматривал в их прогорклом уродстве мою личную неудачу, какую-то несчастливую звезду, почему - думал я - в каждом классе и в каждой сфере можно найти девушку, или деву, или, наконец, девочку, словом - поэзию, и лишь служанки в платочках начисто лишены очарования и красоты? Я только потом открыл закон искусственного отбора: это хозяйки специально подбирают самую неотесанную деревенщину, краснорожих и толстозадых разлапистых жирных уродищ, которым как будто неведомая десница вмазала по носу - поскольку домашняя прислуга должна быть такой, чтобы никто из домочадцев не мог испытать к ней внушаемого Богом чувства.

Впрочем, я и не чувствовал к ним никакой страсти, по крайней мере, в известном смысле; никакой страсти, а лишь одну большую, наисладчайшую из всех возможных и скрывающуюся где-то в самой глубине души робость. Она жила во мне еще с детских лет, когда я с затаенным дыханием и колотящимся сердцем смотрел на нашу домработницу. Как она подавала обед, драила пол, приносила завтрак... или на Пасху, когда она мыла окна... я пристально и робко смотрел из-под полуопущенных век. Сегодня я, конечно, не настолько безумен, чтобы утверждать, что такая отвратительная, заурядная служанка соответствует эстетическим или каким-либо иным требованиям, но тогда, помню, если у нее был флюс, то был этот флюс для моей робости чудесней всех пеларгоний в горшках во время мытья окон и, вообще, помню, это было чудом, перед которым опускался взор. Позже в свой черед пришли науки - те, что с педагогикой, и те, что не с педагогикой, - пришел "опыт", лакированные штиблеты, галстуки, чистка зубов, обработка ногтей, пришли успехи, ордена и рауты, пришли Париж, Лондон, но придушенная комфортом и роскошью робость навсегда осталась верной в любви к кухонным фефелам, толкущимся вокруг продуктовых магазинчиков, и находила в них душевное пристанище. И совсем не вопреки, а как раз потому что я принадлежал к числу самых элегантных сотрудников МИДа, мне нравилось любить служанок в платочках, и, воскрешая под котелком прежнее головокружение, а под английским пальто прежнее сердцебиение, я грезил: вот где отчизна моя.

Но то была робость. Если бы я был смелым. Если бы я был смелым - (так называемая девица, или просто шлюха, или кабинет в ресторане и номер в гостинице, веселье, ювелирная безделушка) - плевал бы я тогда на все сплетни, и сказал бы только, что вот, мол, такой я повеса. Но когда все упирается в робость, что делать, как защититься, как оправдаться?

- Можете себе представить, Филип увязался за служанкой в платочке.

Я так сильно испугался, что скоренько женился на особе, представлявшей собой абсолютную противоположность служанке. Я испугался показать себя в смешном виде. Вот она - тирания! Я отказался от слуг, вычеркнул их из памяти, уволил всех и захлопнул перед ними двери моего внутреннего мира. Интересно, все так

же мелькают на Кручей и Хожей толстые голени, вделанные в разлапистые стопы? Вполне возможно, но теперь это для меня - terra incognita. Моя жена была безмерно успокаивающей, умиротворяющей. Ее гибкие ноги были длинны, как лианы, тонки в щиколотках, она лучшим образом свидетельствовала о моих вкусах; гибким и элегантным был и ее силуэт - на всех этот брак производил самое благоприятное впечатление. А ко всему - мы завели бойкую молодую горничную, ничем не напоминавшую служанок в платочках: в белой кружевной наколке, она грациозно порхала вокруг стола.

Жена поставила дом на соответствующую ногу, ногу изящную, породистую, с высоким подъемом, отстоявшую на сотню миль от тех куда-то девшихся, ушедших в небытие и навсегда исчезнувших ног. Собственно говоря, ничего почти не изменилось, пропали лишь два сумеречных часа, которые как в скобки брали день с двух сторон, и теперь с утра до утра все было одно и то же, поскольку жена моя даже в моменты экстаза не забывала, что ее муж - сотрудник МИДа. Я же ходил по дому и все восхищался: "Ah, quelle beauté, quelle grace!" Повторял это с тем большим самозабвением, чем глубже закрадывалось мучительное подозрение, что жена и друзья, даже горничная в бойкой наколке, догадываются о чем-то, а я пребываю вроде как на лечении и нахожусь под наблюдением. Ибо как иначе объяснить... такую удивительную жестокость с их стороны... что они, может, слишком часто и слишком тщательно чистили зубы, слишком рьяно надраивали эти зубы, слишком остроносые, казалось, носили они туфельки, слишком блестящие лаком. Жена, например, ежедневно принимала ванну и, как мне кажется, не без определенного тиранического умысла. Слишком много в этом было жестокости и слишком мало сердца, слишком много какой-то холодной гидротерапии. Выглядело так, как будто все они решили задушить даже тень мечты, само желание желать, воспоминание о воспоминании.

Я же все послушно принимал и восхищался своей женой, точно так же, как некогда в Париже я восхищался Триумфальной аркой: но в последней я не нашел характерного разброса ее ног-опор, определенной броскости форм и потому я вернулся на родину. Почему же во мне не хватило силы аналогично поступить с моей женой, тоже не отличавшейся ни малейшей броскостью форм,

зачем я, вместо того чтобы блуждать по бесспорно дивным, но чуждым материкам и морям, не поселился навсегда на родине - разве не является первейшей обязанностью каждого жить на своей родине?

Вместо этого, я, как предатель, как ренегат с деланным восхищением смотрел на враждебную, постылую страну моей жены, на белую гладь ее просторов, на детали, которые, подобно лунному свету, казались мне погасшими и мертвыми. "Очаровательный холмик, - думал я, рассматривая спящую, - круглый, небольшой, белоснежный. Стройная фигура, гибкий стан - все волнисто, модно, эстетично! Пленительная нога - гармоническая, как она спускается змеиной белизной по белоснежной постели". Но я подло лгал. То была луна, а мать-земля куда-то запропала. А жсна даже во сне не допускала мысли о бунте, сопротивлении - и было нечто деспотическое в том, как нога сужалась книзу, будто только это и было ей позволено.

О, эта миниатюрная стопа, чистая, с высоким подъемом, выгнутой, как арка, по-парижски, триумфально - я уже говорил о постановке дома на соответствующую ногу - жена умела маневрировать этой ножкой совершенно безапелляционно, высовывая ее из-под одеяла, как раз и навсегда усвоенный трюизм. Я целовал ее холодными губами и восторгался тем, какая она маленькая и что каждый пальчик - как игрушка и розовый. О, все было безупречным, совершенным, эталонным. На коже нигде, нигде ни единого изъяна, безграничная белизна и гладь. Лишь холодные, величественные луны, лишь эстетика перспективы, лишь подстриженные шпалеры, китайские, японские фонарики! Это была феерия! Но называлось все чуждо, на иностранных языках, начиная от *tapicig'a* и *permanent'a* вплоть до *savoir-vivre'a* и *bon-ton'a*. Я тоже выглядел по-европейски: был вымыт, вычищен. Снаружи все было начищено и отделано: все было блестящей туфелькой, лакированным ботиночком, тросточкой, модным пеньюаром.

И все это было таким легким, таким доступным, требовались только условные знаки. С помощью небольшого их количества я завоевал сердце моей жены, да и в министерстве все дела улаживались при помощи условных знаков. Маникюршам, секретаршам, хористкам, составлявшим обычную поживу сотрудников МИДа, тоже требовались только условные знаки; небольшого на-

бора известных приемов - кино, ужин, танцы и диван - было достаточно, чтобы они после соответствующего нажатия автоматически выделяли ласку. Правда, везде блестили английские застёжки, но и они отступали при условии, что были известны их секреты и что их поворачивали соответствующим хитрым ходом. Итак, даже наиболее оснащенная этими защитными штучками женщина (а я уверен, что и моя жена тоже) открывалась, как устрица, если ей говорились нужные, освященные обычаем слова и если при этом совершались ритуальные движения. Все было гладким, простым, плавным, как эталонная нога моей жены, и все так же сужалось книзу в крохотную ножку, а в основании всего лежали несколько слов: "Ты пригласил Пиотровских на five o'clock?"

Ну а со служанками было иначе, потруднее; вспомним, между прочим, как это было с ними. Там со всех сторон глядело отчаянное сопротивление, а кроме того - какая-то страшная смешливость - мои зрение, обоняние, осязание не хотели, хотел лишь сам я. Иду, высматриваю издали, вижу - идет, двигая седалищем, вяло ставит коренастые голени, летом голые, а зимой - в толстых белых нитяных чулках. Прибавляю шаг - но тут и пальто и котелок дают о себе знать, уже начинаются труд и муки. Потому что я хочу увидеть лицо, увидеть, какова она - и понаблюдать за ней, за этим постыдным объектом. Что скажут дамы, что подумают шляпки о моем котелке? А потому я быстрым шагом прохожу мимо служанки, потом поворачиваюсь к ней под каким-нибудь предлогом (а идти все трудней, уже дает о себе знать сковывающее мои движения английское пальто), бросаю легкий взгляд и, наконец, я знаю, какова она. То ли из тех краснорожих, дерзких на язык, то ли из тех бледных, одутловатых, то ли из забитых, пугливых, крикливых или веселых? А когда после многих парфюмерных лавок, после многих перемолвок с подружками она сворачивает в подворотню, вот тогда я мчусь, догоняя ее лестнице черного хода и учащенно дыша, спрашиваю:

- Здесь проживает пани Ковальская?

Служанка еще ни о чем не догадывается, деловито переставляет ножищи со ступени на ступень и сообщает, что не знает. Я же ловлю ухом шорохи, не идет ли кто сверху или снизу, нет ли где хозяйки, и тихо так, робко (а сердце колотится) предлагаю:

- Может познакомимся, а?

Служанка останавливается, смотрит - и вот появляется некое подобие улыбки, что-то начинает мерекать под платком, и со смущенной улыбкой высовывается счастье - чумазая ручка, ручка-мастодонт, совсем немного, лишь настолько, насколько позволяют приличия. Беру ее в свои руки, глажу, шепчу:

- Панна Марыся, Вы мне очень понравились. С самой с Маршалковской иду за Вами, панна Марыся.

Служанка улыбается, польщенная:

- Э... и что же так понравилось?

Я, потупив взор, с колотящимся сердцем:

- Все, панна Марыся, все! - а сам стараюсь говорить как можно спокойнее, как можно более естественно, дабы ничем не раздражать пока все еще скрывающейся смешливости.

Служанка смеется:

- Прохвост! - смеется она, - прохвост! - и тут же начинает ковырять пальцем в гнилом зубе.

Забыв обо мне, поглощенная исключительно своим зубом - а я стою и жду, стою и жду. Тогда она вынимает палец, осматривает его и вдруг... что-то в ней меняется:

- Не имею такой привычки знакомиться с кем попало на лестнице!

В ней пробуждается какая-то примитивная гордость. И неожиданно, резко:

- Ты только посмотри, а, понравилась... не на такую напал!

Прячу голову, поднимаю плечи, чувствую, что пробуждается боязнь, дикость, смешливость - а стало быть, снова, в который уже раз, все кончится ничем! (А другие служанки уже услышали, уже стали подглядывать из приоткрытых дверей кухни и одна за другой высовываться на лестницу - кругом хохотки, и делается людно). Вдруг моя избранница в приступе хорошего настроения сгибается - а может ее что-то рассмешило, а может она хочет пошалить? Хлопается задом на ступени, вытягивает вперед свои тумбы и визжит:

- Хи-хи-хи, на спичках колода - видали урода!

- Тише, тише, - шепчу я в страхе перед хозяйками.

Ведь того и гляди, кто-нибудь выйдет на лестницу. А остальные служанки, те, что следили, сверху пискливо вторят:

- Хи-хи-хи, на спичках колода - видали урода!

- На спичках колода? - Интересно, откуда бралась эта смешливость. Во мне самом, должно быть, было что-то подстрекательское, что-то действующее на их орган смеха, как действует на быка красная тряпка. Я, должно быть, щекотал их чувство комического примерно так же, как они мое чувство обоняния. А может, так действовало мое элегантно пальто? Или чистота, сверкающие зеркальца ногтей, такие же комичные, как для моей жены - грязь? Но, видимо, прежде всего, - мой страх перед хозяйками - служанки чувствовали во мне этот страх, и их это смешило - но как только начинался смех, я уже знал: все пропало! А если еще, желая как-то успокоить, предотвратить смешливость, я пытался взять их руку - тогда выноси всех святых! Тогда начинается! Отскакивают в сторону, прикрываются платком - и верещат на всю лестницу:

- Че барин лапашешь?

Я, опустив голову, быстро сбегая вниз, а за мной, как горячая лава, несется:

- Видали гуся!

- Двинь его, Марыська, чтоб летел с лестницы!

- У-у, проходимец!

- Вмажь ему в пятак!

- Барич, а лапает!

“Барич лапает!” - “В пятак его!” Да, да - да, да - это было несколько иначе, чем с маникюршами или хористками - здесь все было громадным, диким, постыдным и страшным, как кухонные джунгли! - Все было таким! И, конечно, никогда дело ни до чего порочного не доходило. Эх, запретные, отошедшие воспоминания - сколь неразумным созданием является человек, то есть, как чувство всегда в нем берет верх над разумом! Сегодня, спокойно рассматривая невозвратное прошлое, я знаю, как впрочем и тогда знал, что никогда между мной и служанками ни до чего не могло прийти, и все вследствие естественной между нами зияющей пропасти, но и теперь, как и тогда, я ни в коей мере не хочу верить в эту пропасть и гнев мой обращается против хозяек дома! Как знать, если бы не они, если бы не их шляпки, перчатки, не их кислые, резкие, недовольные мины, если бы не этот парализующий страх и стыд, что, того и гляди, кто-нибудь из них покажется на лестнице, и если бы они нарочно не вгоняли в служанок этот страх, распространяя разные сказки о ворах, о насильниках и убийцах...



Да, запуганность, ужасную смешливость создавали хозяйки с помощью своих шляпок. О, как я тогда ненавидел сварливых дворовых дамочек, барыnek о единственной служанке на все работы, на них я возлагал всю вину - может, не без основания, ведь кто знает, может, без них натура служанок была бы ко мне более ласкова.

Я начинал стареть. На висках появилась седина, я занимал высокую должность заместителя столоначальника, а прилежностью в мытье я превосходил даже собственную жену.

- Опрятность, - говорил я жене. - Опрятность - непременно, опрятность - прежде всего. Опрятность - это смелость!

- Смелость? - равнодушно поднимала брови жена. - Что ты понимаешь под смелостью?

- А нечистоплотность - это какая-то робость!

- Я не вполне понимаю тебя, Филип.

- Чистота создает гладкость! Опрятность - это лоск! Опрятность - это эталон! Я не выношу всех этих aberrаций, этих индивидуальностей - это как девственная пуща, дебри, "в которых проносятся вольно и заяц и вепрь". Ненавижу голый примитив, который отскакивает с писком, с криком... это ужасно... О-о! Это ужасно!

- Не понимаю, - холодно реагировала жена. - Но, но а гророс чистоты... Скажи, Филип, что ты там такое вытворяешь в ванной? Когда ты моешься, шум по всему дому: плеск, какие-то звуки, похрапывание, бульканье, покрякивание. Вчера почтальон услышал и все спрашивал, что это значит. Признаться, я не вижу никакого повода шуметь, мыться надо спокойно.

- Конечно. Может быть ты и права. Но когда я начинаю думать о том, что творится в мире, когда я начинаю думать обо всей этой грязи, что заливает нас, которая залила бы нас, если бы мы не мылись. О, как я ее презираю, о, как ненавижу! Отвратительно! Послушай! И ты это презираешь, как я, скажи, что презираешь.

- Меня удивляет, что ты так переживаешь, - холодно сказала жена. - Я это не презираю, я это просто игнорирую.

Она посмотрела на меня.

- Филип, я вообще очень много что игнорирую.

Я услужливо ответил:

- Я тоже, мое золото.

Игнорировать, не принимать к сведению? - ну что ж, раз она так заговорила, я ничего не имел против, ведь и я с незапамятных

времен был погружен в тупое неведение. Но в одну прекрасную ночь оказалось, что игнорирование со стороны моей жены имеет предел, и дело чуть было не дошло до семейной сцены. Меня разбудили резкие толчки в плечо. Изменившаяся до неузнаваемости, она стояла надо мной в наспех наброшенном халатике - ее колотило от гнева и отвращения:

- Филип, проснись, перестань! Ты во сне выкрикиваешь какие-то слова! Я не могу этого слышать!

- Я? Во сне? Разве? Какие слова?

- "Здесь проживает пани Ковальская?" - вздрагивая вымолвила она, - "Здесь проживает пани Ковальская?" А потом ты кричал, что *колода* - о, ужас - что какая-то *колода* - *на спичках*, - она едва дотрагивалась до этих слов кончиком языка. - А потом ты застонал и начал что-то бормотать, что задушишь - задушишь какие-то бледные, холодные, удушливые луны, а потом ты стал повторять беспрерывно слово "Ненавижу". Филип! Что это за луны?

- Ах, ничего, душенька моя. Кто его знает, что там во сне может привидеться. Луны, говоришь? Может, это лунатизм...

- Но ты говорил, что задушишь... задушишь... И к тому же много кабацких выражений!

- Может, это воспоминания молодости? Понимаешь - к старости дело идет, а под старость молодость вспоминается, как суп, который ты ела тридцать лет тому назад.

Она смотрела на меня исподлобья и дрожала - и тут, после долгих совместно прожитых лет, я, к превеликому своему удивлению, вдруг обнаружил, что она боится. Ах - она боялась точно так же, как мышь боится кота!

- Филип, - тревожно сказала она, - луны (это ее испугало больше всего)... луны...

- Душа моя, было бы от чего переживать, ведь ты не лунатичка.

- Лунатичка? - Это как же? Разумеется, нет. Что такое вообще "лунатичка"? Разумеется, я не лунатичка, Филип! - вдруг разразилась она. - У меня с тобой не было ни одной спокойной ночи. Ты не знаешь, что ты храпишь! Я никогда тебе этого не говорила, щадила тебя - но ради всего святого, очнись, попытайся прийти в себя и объясни все это, иначе не миновать беды, вот увидишь!

Она застонала.

- Ни одной ночи! О, как ты заливаешься трелями, как сви-

стишь, как трубишь по ночам! Ни дать, ни взять - выезд на охоту. Зачем я вышла за тебя? Ведь я могла пойти за Леося. А теперь, когда ты начал стареть, становится все хуже и хуже - к тому же весна приближается. Филип, объясни себе самому как-нибудь эти луны.

- Но, душа моя, я не могу объяснить, если не понимаю.

- Филип, ты не хочешь понять. - И добавила, барабаня пальцами по ночному столику. - Филип, я подчеркиваю, что не знаю, что это за луны, ругательства и все прочее, но что бы ни случилось, помни: я всегда была примерной женой. Я всегда была добра к тебе, Филип.

Я удивился, что храплю, - но, собственно, в чем дело - и почему такой тон со мной?... Однако я был бесстрастным, ну да, безобидным седеющим господином, порядком потертый жизнью, регулярный в домашней тишине и на службе - но только от всего этого я начал потихоньку приударять за нашей бойкой горничной. Жена заметила это и тут же дала ей расчет и взяла на службу новую. Я и за этой стал ухлестывать. Жена рассчитала и эту, но и к новой горничной я начал клеиться, и дошло до того, что жена выгнала и ее.

- Филип! - сказала она. - *C'est plus fort que moi.*

- Что делать, моя дорогая! Старею, сама видишь, а пока я не на пенсии, хотелось бы еще пошалить. Впрочем, эти бойкие элегантные горничные в чепчиках, это, насколько тебе известно, из меню послов, этим лакомятся за высокими столами.

Тогда жена взяла в девушки пожилую даму, но и с ней повторилось все то же - ах! - а жена, полагая, что это у меня мимолетное помрачение рассудка, взяла в конце концов такую коровищу, на которую, как она считала, никто не мог позариться.

И тогда я действительно уgomонился. В комнату прислуги внесли непременный сундук - я не поднимал глаз и только во время обеда видел страшный, толстый палец, видел шершавую темную кожу предплечья, слышал сотрясающую дом поступь, вдыхал ужасный запах уксуса и лука, и, погруженный в чтение газеты, ловил крикливость, угловатость, неуклюжесть всех ее телодвижений. Я слышал голос с хрипотцой, не то деревенский, не то городской, иногда из кухни доносился визгливый хохоток. Я слышал не прислушиваясь, видел не приглядываясь, а сердце колотилось, и

снова меня охватывала робость, тревога, как некогда на лестнице черного хода - я бродил по дому и в то же время все что-то вычислял и комбинировал. Нет - беспокойства жены были неуместны - ну какой такой валленродизм мог угрожать ей со стороны тихого человека на склоне своих лет... желавшего самое большее - вдохнуть немного воздуха прошедших лет, посмотреть и послушать...

И я внимательно смотрел на игру стихий, на трагифарс жизни: как жена действовала на служанку, а служанка - на жену, и как в этом соприкосновении полностью раскрывались и жена, и прислуга. Поначалу жена ничего не говорила, только "ох!" И я видел, что от грохота шагов служанки она трясется, как желе, но из-за меня она была готова выдержать многое. Вместе со своим сундуком служанка принесла в наш дом свои проблемы, то есть насекомых, зубную боль, попойки, нарывающий палец, большой плач, большой смех, большие стирки - и стало все это расплзаться по дому, а жена все сильнее поджимала губы, оставляя лишь маленькую щелочку. Естественно, сразу же началось натаскивание прислуги, я со стороны наблюдал, как этот процесс приобретает все более жестокие формы, постепенно становясь какой-то раскорчевкой. Служанка извивалась, как будто ее жгут каленым железом, она не могла и шагу ступить в согласии со своей натурой, а жена не отступала - все больше собиралось в ней душительства, все больше ненависти, тем более, что я, находившийся в стороне от всего этого, тоже слегка был ей ненавистен, хоть и не мог объяснить, почему и отчего. И, сдерживая свое изумление, я наблюдал, как на жену надвигаются примитивные силы, явно отличные от мыла "Майола", как протекает бой, бой жестокий и доисторический.

Между прочим оказалось, что у служанки в животе бурчит. Жена давала ей лекарства, но ничто не помогало и из живота постоянно доносилось таинственное, утробное бурчание, темная бездна постоянно давала о себе знать. Жена ввела диету, запретив ей все, что могло вызывать этот шум. В конце концов она не выдержала:

- Чеся, я Вас выставлю, если Вы не прекратите!

Служанка испугалась и с тех пор со страху бурчала в два раза сильнее, а жена, бледная и раздраженная, не видя выхода, делала вид, что не слышит, и лишь легкое подрагивание век выдавало ее.

- Чеся, - заявила жена, - я требую, чтобы Вы принимали ванну раз в неделю, лучше всего по субботам, и при этом следует хорошенько тереться щеткой, мылом, слышите, Чеся!

Пару недель спустя жена потихоньку подошла и заглянула осторожно в замочную скважину. Чеся стояла подле ванны, одетая, и бурлила воду термометром, а щетка и мыло лежали рядом, нетронутые и сухие. И снова был крик. А постоянное раздражение незаметно сделало из моей жены такую едкую и безжалостную барыньку дворового калибра, что я перепугался - она кричала с яростью сороки на приходившего вечерами служанкина жениха и вопрошала:

- Чего угодно? Убирайтесь, пожалуйста! Здесь не место! Я не позволю, чтобы здесь кто-то сидел! Убирайтесь! Сейчас же! Пожалуйста, больше не приходите! - ну, просто копия грозных дворовых барыnek!

На все это - на эти странные перемены - я смотрел, находясь почти что в каталептическом состоянии, часами вода вилок по скатерти. Что ж - нельзя было больше вернуться в прошлое, можно было только подвести итоги, заплатить по счетам - и, может быть, еще раз перед последним рубежом послушать сладкий грешный шепот молодости. Прежние, забытые случаи, прежняя застенчивость и прежняя ненависть стучались в меня, подобно дятлу, долбящему зимой замерзшие голые деревья, манили меня из-за угла толстым и противным пальцем. О, как я теперь был беден, выпотрошен, куда девались страх, боязнь, стыд и скованность? Постойте, - не договаривал я этих щекотливых вопросов, - так неужели я пустил жизнь по ветру? Разве только грех, только грязь глубоки? Разве под грязным ногтем скрыта глубина? И бездумно я выводил пальцем по стеклу: "Горе тому, кто покинет свою грязь ради чужой чистоты, грязь всегда своя, а чистота всегда чужая".

И у меня в голове пронеслись мысли о туманных вещах, ну, например, что некоторая сумма уродливости и грязи составляет служанку в платке, а отними от нее эту грязь и уродливость, она перестанет быть таковой. Но у каждой служанки есть свой жених, а этот жених, если уж любит, то любит страстно всю ее - с ее очарованием и с ее уродливостью, а значит, и об уродливости можно сказать, что она любима. А если любима, то стоит ли с ней бороться? Я продолжал мысль: если кто любит только красоту и



чистоту, тот любит всего лишь половину существа. А дальше я начинал уже бессвязно грезить - не надо забывать, что у меня был склероз, - мне виделись какие-то пташки, кружева, орешки, и большая насмешливая луна выплывала в небеса. Смелость насмехается над жалкой робостью; миниатюрная, прекрасная, триумфальная ножка издевается над ногой угрюмой и допотопной. Кто-то когда-то сказал, что жизнь - это отвага. Нет: отвага - это медленная смерть, а жизнь как раз тревожная робость. Кто любит служанку отвратительную - тот живет, а на классическом лоне - медленно увядает.

- Чеся, - как-то раз обратился я к служанке, - жена говорит, что Вы страшно шумливы. Жена говорит, что у нее от этого мигрень.

Служанка буркнула:

- Хозяйка думает, что слуга - это не человек!

Я тогда спросил:

- Чеся, а это правда, что говорит хозяйка: что, мол, когда Вы идете по комнатам, то саксонский фарфор так звенит на полке, что того и гляди развалится на куски?

Чеся ответила мрачно:

- Это хозяйка все цепляется.

Я возразил:

- Хозяйка вообще против слуг! И против Вас, и против других в нашем дворе. Хозяйка считает, что они слишком шумно, слишком пошло судачат и ведут себя - до боли в ушах - а кроме того, разносят самые разные болезни. А еще, что не нравится хозяйке, так это то, что все служанки - воровки, а у хозяйки от этого бывают мигрени. А женихи их, считает хозяйка, тоже воруют и разносят разные болезни.

Сказав это, я замолк, как будто вовсе ничего и не говорил - и, как всегда, по возвращении из министерства, углубился в газеты. Вскоре жена потребовала от меня уволить служанку.

- В последнее время, - сказала жена, - она возгордилась, смотрит исподлобья, а кроме того, - постоянно ошивается на лестнице и сплетничает с другими слугами. Как-то раз вошла я в кухню, а их там аж четверо сидит. Во дворе се сторожем язык чешет, думаю, самое время расчитать.

Я ответил:

- Э, пусть еще немного побудет. Она, конечно, говорливая, зато честная. Не ворует.

Но жена начала ужасно, я бы сказал, непропорционально нервничать.

- Чеся, а чего это вы сегодня так смеялись с дворничихой?

- А, ничего такого, так себе, косточки перемываем.

- Нет повода для такого смеха, дорогая Чеся, - язвительно заметила жена. - Вы, верно, вообразили себе, что очень умны.

Не знаю, на счет чего это отнести, но нервы у жены решительно сдавали. Она пришла ко мне с форменным скандалом: только что она вышла на балкон, а служанка с противоположной стороны двора что-то сказала тамошней кухарке, обе посмотрели на нее и прыснули смехом - и вот, чтоб я им пригрозил. Я высунул голову в форточку и крикнул:

- Что за смешки! Попрошу прекратить! Это глупые смешки!

Но действительно оказалось, что у моей жены развивается мания преследования.

- Откажи ей в месте с первого. Из нее строптивость прет все больше и больше. Разносит о нас какие-то сплетни. Я ей запретила собираться со слугами, а сегодня снова застучала ее на лестнице: хохотала со сторожем и кухаркой с первого этажа. Не выношу этой глупости!

- Так сразу и выставить? Может исправится?

- Филлип, - неожиданно взволнованно сказала жена, - я ничего не имею против того, чтобы к нам вернулась наша прежняя горничная. Слушай, - добавила она с трудом, - что это значит? Чеся нагло смеется за спиной - кто ее на это надоумил - чувствую, наверняка чувствую, что когда я повертываюсь спиной, она гримасничает и показывает язык, или ходит по пятам. Я это чувствую.

- Что ты, золотко, ты, верно, нездорова. С чего бы ей вдруг насмеяться, коль скоро в тебе нет ничего смешного?

- Откуда мне знать, с чего она смеется? От глупости. Ясное дело, от своей собственной глупости, а не от моей. Она, должно быть, что-то во мне усмотрела.

- Может, ее смешит твой маникюр, этот ряд маленьких блестящих зеркалец, - задумчиво сказал я, - а может то, что вытираешь нос носовым платком. Бог его знает, что может смешить непросвещенную и некультурную служанку - может, ее смешат твои притирания головы?

- Прекрати! - крикнула она. - Мне не интересно! Не только она, они тоже - смеются! такие бестолковые пошлые смешки! Бесстыдство! Иди к домовладельцу! Зазнались - головы вскружились! Я этого не вынесу - заболелю!

Я крикнул Чесю:

- Чеся, почему Вы нервируете хозяйку, ведь Вы знаете, что пани - создание нежное и легко может заболеть!

И я пошел к домовладельцу с жалобой на царящие в доме беспорядки - но на следующее утро кто-то бросил в меня из окна гнилой луковицей. Фактически - возможно - и мне казалось, что в весенних голосах двора я вылавливаю какую-то глупость, какую-то пошлость, какую-то внезапно разбухшую жуткую смешливость - как будто кто-то щекотал перышком пятку мастодонта. Служанка из лакейской, кажется, осмелилась открыто, в лицо смеяться над моей женой, на дверях парадного появились какие-то ужасные рисунки - о Боже, какие-то омерзительные шутки, написанные мелом, в которых я и моя жена представляли в ужасном виде и в ужасных позах. Эти рисунки по приказу жены служанка стирала по несколько раз в день - доведенная до безумия, жена даже затаивалась в прихожей, а слышав малейший шорох, выскакивала на лестницу, но никогда никого не могла поймать. В общем, устраивали нам разные пакости.

- Полиция! Где полиция?! Полиция! Как они смеют! Всех слуг, сторожа, его детей - всех выкинуть! Дети сторожа - тоже наглые! Это мафия! Это стовор! Чеся, слышишь?! Полиция! Чеся, чего Вы так смотрите?! Я запрещаю Вам смотреть! Вон отсюда! Сейчас же вон!

Но крик лишь раззадорил наглость и ужасную, бессовестную, скрытую ненависть.

- Филип, - сказала трясясь со страху жена, - что это? Что это значит? Здесь дело нечисто, здесь что-то затевается. Что они нашли такого во мне - что они от меня хотят? Филип... - взглянула на меня, и сразу поникла, стала серой, угасла, тихо пошла в угол, уселась.

А я остался в кресле, с газетой в руках, с сигаретой между пальцев; сигарета сама догорала, а я думал, долго. Разумеется, можно и выставить служанку, а еще можно переехать на другую квартиру, в другой район даже - можно, если бы я не был таким

беспомощным, дрожащим и робким. Жена спрашивала меня, что это значит? Что - что значит? Кто же, ради всего святого, в этой ситуации смешон, дик и ужасен? Если жена ненавидит служанку, то служанка тоже ненавидит жену. Я склонялся над этой ненавистью, брал ее дрожащими руками, всматривался в нее слабым взглядом старика и вслушивался в доносившийся из кухни настойчивый голос:

- Я Вам говорю, что если бы я захотела Вам все рассказать, какие у них выдумки, то, наверно, я бы первая померла со стыда, а Вас бы кондратий хватил.

Я слушал, молчал.

Но как-то раз жена сняла свое обручальное кольцо и положила на стол в обеденном зале, а я это кольцо - ох, совершенно машинально, ибо мыслями я был не здесь - короче, взял это кольцо и положил себе в карман. А потом и говорю жене:

- Деточка, а где твое обручальное кольцо?

Жена сразу посмотрела на служанку, служанка - на жену, жена сказала:

- Чеся!

Чеся сказала:

- Слушаю!

Жена крикнула:

- Воровка!

Служанка подбоченилась и вульгарно гаркнула:

- Сама ты воровка!

Жена:

- Молчать!

Служанка:

- Сама молчи!

Жена:

- Вон! Сейчас же вон!

Служанка:

- Ты вон!

Ох, что тут началось! Уже изо всех окон повысовывались головы, уже отовсюду понеслись крики, проклятия, измышления, и уж начал расти страшный смех, как смотрю - служанка схватила за волосы мою жену и тащит, тащит, а я, как сквозь туман, слышу голос жены:

- Филип!



Приключения

1

В сентябре 1930 года, плывя в Каир, я упал в Средиземное море, упал со страшным плеском, поскольку море тогда было гладким, не смущенным ни единой волной. Но замечено мое падение было лишь минуту спустя, когда судно уже успело удалиться километра на полтора; потом судно развернули и направили на меня, но капитан в суматохе так его разогнал, что колосс проскочил по инерции то место, где меня захлестывала соленая вода. Судно еще раз развернули и еще раз направили на меня, но и тогда, миновав меня со скоростью поезда, оно остановилось слишком далеко. Этот маневр повторялся с необычайным упорством раз десять. Тем временем подошла частная паровая яхта и взяла меня на борт, а мое судно - "l'Orient" - отошло.

Владелец яхты, он же и капитан, приказал меня связать и запихнуть в каморку под палубой, а все потому, что когда он при мне переобувался, я неосмотрительно выдал свое удивление близкой его стопы. И хоть лицо его было белым, я готов был биться об заклад, что стопа его - как смоль черная, но она оказалась абсолютно белой! Из-за этого он проникся ко мне безграничной ненавистью. Он понял, что я углядел его физиологическую тайну, о которой кроме меня никто в мире и не догадывался, - то есть, что он был белым негром. (А впрочем, честно говоря, все это было только предлогом.) В течение восьми следующих месяцев яхта

беспреданно бороздила разные моря, задерживаясь лишь для пополнения запасов топлива, и все это время он наслаждался беспредельными возможностями произвола по отношению ко мне, запертому в темной каморке и всегда находившемуся под рукой.

Конечно, любая ненависть должна была бы вскоре потеряться в этой безграничности и просторе - и если все же, несмотря на это, он обрек меня на ужасную смерть, то не столько ради моих мук, сколько ради собственного удовольствия. Он долго соображал, как бы с помощью меня получить такие впечатления, которые он сам никогда бы не отважился изведать - вроде той англичанки, что сажала червячка в спичечный коробок и бросала в Ниагарский водопад. Когда же наконец меня вывели на палубу, то, кроме страха, я пережил чувство тоски, горечи, а также благодарности судьбе - ибо я не мог не признаться, что придуманная им для меня смерть оказалась почти такой же, о какой я мечтал и какую когда-то прежде, в раннем детстве, я видел в снах. - С помощью специально изготовленных приспособлений, от описания которых я воздержусь, была проведена непомерно трудная операция, в результате которой я оказался внутри стеклянной банки, имевшей форму большого яйца, достаточно большого, чтобы я мог свободно двигать руками и ногами, но все же слишком маленького для того, чтобы сменить лежачее положение на какое-либо другое.

Толщина стекла составляла около 3 см. Его поверхность не имела ни дефектов, ни швов - в одном лишь месте было просверлено небольшое отверстие, через которое поступал воздух. Возьмите огромное яйцо, проколите его булавкой - вот и получится то яйцо, в котором я оказался; места у меня в нем было не больше, чем у эмбриона цыпленка.

Тогда Негр показал мне карту Атлантического океана и обозначил положение судна: мы находились примерно посередине океана, где-то между Испанией и севером Мексики. В этом месте от Америки к проливу Ла-Манш, к северным берегам Англии и Скандинавии стремится мощное течение Гольфстрим. Однако на карте было видно, что на расстоянии тысячи миль от Европы Гольфстрим разделяется, и южное его ответвление становится Канарским течением и поворачивает вниз, направо. Затем Канарское течение в районе Сенегамбии снова сворачивает вправо (если по карте, то скорее влево) под названием Экваториального течения, а Эквато-

риальное течение в свою очередь сворачивает от Антильских островов вправо (или вверх) под названием Антильского течения - Антильское же течение, сворачивая вправо, снова соединяется с Гольфстримом, чтобы все опять начать сначала. Таким образом, эти течения образуют замкнутый круг диаметром от тысячи пяти-сот до двух тысяч километров. Если с борта нашего судна бросить в море деревяшку, то будьте уверены, что через полгода или год, а может и через три года всклокоченные воды принесут ее с запада на то же самое место, с которого она отплыла на восток.

- Мы бросим тебя в стеклянной банке, - примерно так можно было резюмировать слова Негра. - Никакая буря тебя не потопит, дадим тебе упаковку с тремя тысячами бульонных кубиков, - если высасывать по одному кубику в день, то провианта хватит на десять лет, - а к ним маленькую, но безотказную установку для фильтрации воды... Впрочем, в воде недостатка не будет, ты хлебнешь ее вдоволь, качаясь и на волне, и под волной, бессознательно, все по кругу да по кругу, и так десять лет; а потом, когда кончатся бульонные кубики и ты сдохнешь, труп твой будет все кружить и кружить по намеченному пути: все по кругу, все по кругу, все по кругу.

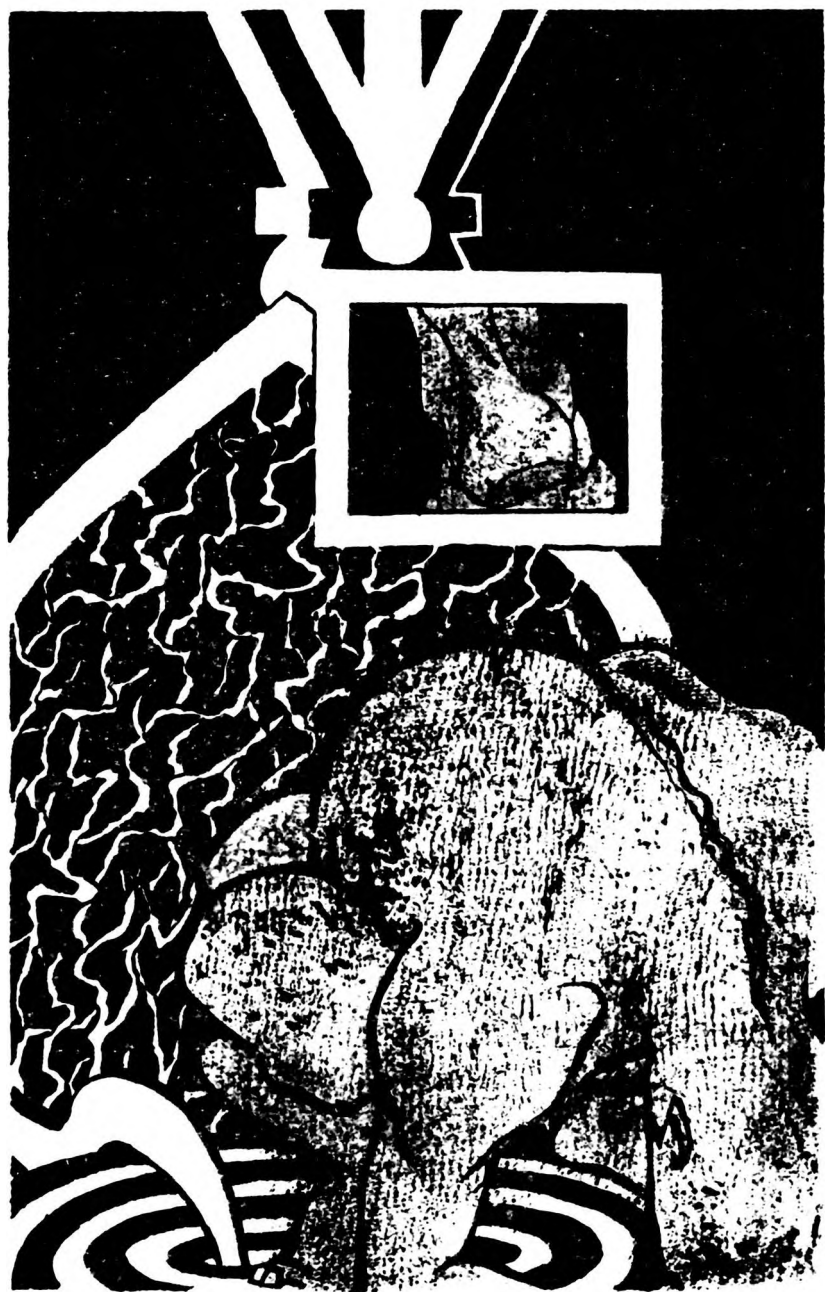
Меня бросили в океан. Яйцо сразу глубоко погрузилось, после чего всплыло... Набегающая волна (а день был ветреный, пасмурный, глубоко изборожденная волнами, поверхность вод находилась в постоянном движении) подхватила меня на пенящийся оливковый гребень и какое-то время тяжело тащила - а потом, подняв, с шумом и брызгами сбросила в пучину. Под водой было тихо и зелено. Однако едва я снова увидел мутные и темные небеса, как палец Бога надо мной, вертикальная водяная гора внедрила меня в бездну водоворотов, на этот раз самое малое - на минуту. Третья волна, долго и нежно несшая банку на себе, - выкинула меня, я соскользнул по ее убегающему склону и вкусил немного покоя на водной равнине. Потом пришел черед четвертой, пятой и шестой волн. А уж что творилось во время бури! Нависшие громады, эти спорбленные чудовища, выносили меня на бушующие вершины, чтобы оттуда вновь сбросить на дно пропасти! - но в любом случае потопить меня они не смогли бы. Судно Негра следовало за мной недели эдак с две - и, наконец, должно быть пресытившись и устав, отошло.

В соответствии с полученной рекомендацией, я ежедневно высасывал по одному бульонному кубику, запивая его профильтрованной водой, которую набирал через резиновую трубку. И так, я был невольно обречен стать забавой для всех тех, кто смотрел на море с многоэтажной высоты дымящих пароходов. Я никак не мог выявить какой-либо последовательности в моем вечном движении, никогда не имел возможности угадать, поднимет меня вода, затащит в себя, или лишь заденет и отбросит, лицом ли, спиной ли повернет к небу, также я никогда не мог ощутить движения, хотя и знал, что продвигаюсь на восток. Ничего другого там не было - горы и долины, шум и брызги, маленькие гейзеры, случайные всплески, мчащиеся, бурливые, отвесные стены, пологие склоны, неизвестно как исчезающие - подо мною - массы, резкие подъемы, крутые спуски, отрывающиеся и убегающие прочь валы, вид с вершины и вид в долине, горы и долины, горы и долины, беспрестанная работа Океана. И в конце я сдался. Раз только я заметил, как много дней сопровождавшая меня на расстоянии пары километров одинокая балка медленно удаляется и исчезает в мутном, пропитанном солью и туманом пространстве. Вот когда мне захотелось кричать в моем яйце, поскольку я понял, что ее понесло к берегам Европы, в то время, как я поворачивал в южное ответвление течения, в сторону Канарских островов, чтобы на веки вечные остаться в замкнутом пространстве - все вокруг, все вокруг, все вокруг - Негр хорошо все рассчитал! Но вместо того, чтобы кричать, я начал петь, потому что морская стихия настраивала меня на пение.

На меня наехал корабль французского Общества Chargeurs Reunis, разбил стекло, а меня выловил. Вот так и окончилось это путешествие. Но случилось это лишь пару лет спустя. Высаженный в порту Вальпараисо, я тут же обратился в бегство от Негра, поскольку точно знал, что он будет меня преследовать.

2

То, что Негр будет меня преследовать, было ясно по звездам на небе, и все потому, что если кто-то кого-то хоть раз использовал таким образом, как он меня - или лучше так: если кто-то хоть раз с кем-то так поиграл - тот уже никогда не сможет отказаться от этой игры: это как тигр, познавший вкус человеческого мяса. Ведь несомненно, в человеческом мясе есть что-то такое, чего вы ни в чем больше не найдете. Поэтому, пробежав через весь американ-



ский континент, я двинулся дальше - на запад; из всех мест на земле самым безопасным мне представлялась Исландия. Но мне не повезло, потому что я не смог выдержать взгляда чиновника таможни в Рейкьявике - и повинился. Никогда в жизни я не занимался контрабандой, всегда смотрел таможенникам прямо в глаза, сам первым открывал чемоданы и всегда отходил от них, получив их похвалы. Но на этот раз нечистая совесть не смогла перенести какого-то немого укора в чиновничьем взгляде, и я признался, что, хоть багаж мой и не содержит ничего такого, что противоречило бы предписаниям, я все-таки не совсем безгрешен, поскольку в качестве предмета контрабанды везу самого себя. Таможенник не чинил препятствий, но, видимо, предупредил кого надо, потому что двух дней не прошло, как появился Негр и увез меня на своем судне.

И снова я оказался в камерке под палубой, теша своей неволей разнузданный произвол Негра; он гнал судно куда глаза глядят, не жалея ни угля, ни пара, а сам все без устали боролся с мыслями и комбинировал, какую бы из судеб в бесконечном количестве судеб и какую бы точку на карте из бесконечного числа точек сделать моими. Что касается меня, то я принимал это как нечто совершенно естественное, т.е. так, как будто я был обречен на это от рождения. Впрочем, чем дело закончится, я знал: наверняка не чем-то таким, что было бы мне совершенно неизвестно и ново, но чем-то, что я знал, с чем был знаком, о чем, быть может, я уже давно тосковал. Когда, наконец, после долгих месяцев душного заточения меня обдало свежим морским воздухом, я увидел, что корма прогибается под тяжестью стального ядра (или скорее, стального конуса), напминавшего по форме артиллерийский снаряд.

За это удовольствие он, должно быть, выложил не один миллион. Я сразу понял, что снаряд внутри должен быть полым, ибо в противном случае - куда бы я делся? И действительно, когда сбоку отвинтили люк, и я заглянул внутрь, я увидел маленькую комнатку размерами с обычную небольшую комнатку. Вот эту-то лишнюю украшений и каких бы то ни было излишеств стальную комнатку я и приветствовал как *свою* комнатку. Но, несмотря на то, что стены снаряда были неслыханной толщины, я пока еще не вполне понимал намерения Негра, и только когда он сказал мне, что мы находимся в Тихом океане, в месте, где самая большая

глубина достигает 17000 метров, я все понял... и хотя у меня от страха похолодел загривок и кончики пальцев, я загадочно улыбнулся уголками губ, приветствуя давно известное, давно знакомое, издавна мое.

Итак, я должен был стать тем единственным из живущих, кто испытает слабый удар снаряда о дно под нами, тем единственным существом, которое будет обитать там, где нет даже ракушек. Единственным, кто будет погружен в абсолютную темноту, мертвенность и безнадежность. Словом, это будет совершенная исключительность судьбы. А что касается Негра, то его, видать, разбирало любопытство (не его одного), что же там внизу, и не отпускала мучительная мысль, что края того вовеки ему не достичь, что холодная скалистая местность недоступна его объятиям, и пока он плавает на поверхности, она лежит в глубинах сама по себе - совершенно сама по себе. Поэтому ничего удивительного, что ему хотелось узнать, и завтра в это же самое время... завтра, запустив меня как зонд аж на самое дно, он - сквозь семнадцатикилометровую толщу воды - действительно будет знать, что я там обитаю на дне, и, не демонстрируя это внешне, будет обладать тайной глубины.

Однако когда одной ногой я уже стоял в могиле, обнаружилось, что в вычислениях была допущена неточность, и что, несмотря на толщину стенок, вес снаряда был недостаточным, и что снаряд под воду не пойдет. Тогда Негр приказал прикрепить к снаряду огромный крюк, на крюк повесить цепь, а к цепи приделать балласт, который и должен был потянуть меня за собой - балласт, выверенный так, чтоб не слишком сократить время погружения.

Негр в последний раз показал мне карту - ему было очень важно, чтобы, умирая, я держал перед глазами точку, с которой должен был слиться навеки. Меня завинтили в снаряде, я оказался в кромешной тьме, почувствовал резкий толчок - это меня бросили в море - и начал погружаться. Но должен сказать, что пережитое мною тогда было совершенно отличным от того, что я ожидал. А именно: я ожидал хоть какой-то своей реакции на происходящее в этот момент, а тем временем толщина стенок и темнота лишили меня психологического аспекта происходящего, я знал лишь одно, что погружаюсь, падаю, тону, что соскальзываю и стремлюсь ко дну. Скорченный на стальном полу, я учащенно дышал. Но зато в конце моего длившегося два часа путешествия я ощутил легкий

толчок, подтвердивший, что я уже достиг дна! Всепроникающим мозгом я видел, как сначала балласт коснулся дна, как потом снаряд по инерции ударился о балласт и как затем он немного поднялся вверх, натягивая цепь. Итак, наконец я был там, я был на самом дне, в самом таинственном месте Атлантики, был - и жил! - прижав ногу к ноге! А наверху, прямо надо мной, на расстоянии семнадцати километров Негр, наслаждающийся мыслью, что он уже знает, что творится на том недостижимом дне, что он распростер над ним свою власть и запустил в него зонд, что моими мучениями он разогрел холодное чуждое дно и овладел им.

Но постепенно напряжение пытки достигло такой степени, что я стал опасаться, как бы она не положила конец мучению и обладанию, делая из всего вокруг и из меня в том числе лишь подобие танца сумасшедших. Я начал бояться, что эта пытка окажется чем-то слишком нечеловеческим, чтобы Негр мог извлечь из этого хоть какую-нибудь выгоду. Подробности опускаю. Замечу только, что сразу после полной остановки снаряда темнота, которая, как я отметил, с самой первой минуты была такая, что темней не бывает, сгустилась настолько, что я должен был закрыть лицо руками, а когда сделал это, то уж не мог ни на миг оторвать их: они приросли к лицу. Вдобавок, мое сознание не выдержало страшного давления, ужасного стеснения и напора, и я стал задыхаться при еще сравнительно хорошем воздухе, задыхаться мысленно; я задыхался слишком рано, еще дыша, что, видимо, является самой жуткой формой удушья. А что хуже всего, мои судорожные движения, движения червяка, казались мне здесь, в уединении, столь ужасающими в своей беспредметности, что я сам себе стал страшен, и я не смог далее переносить того, что двигаюсь. Моя личность выскользнула из этой подводной ямы, став столь непохожей на то, чем была она при дневном свете, и при существовавшем там, наверху (и здесь я могу использовать этот термин) свете ночном - так ужасна стала она! Моя бледность, у которой совершенство темноты, казалось, отобрало ее цвет и выразительность, бледность, загнанная вовнутрь, ослепшая, онемевшая, заткнутая кляпом, была чем-то в сущности отличным от любой другой бледности, пусть даже и самой жуткой, но которую можно увидеть - а также волосы дыбом здесь, в железе, под водами были так ужасны, как был бы в этом положении ужасен крик - тот крик, которому я



сопротивлялся изо всех сил, поскольку после него я сразу бы сошел с ума - а вот этого-то мне и не хотелось.

Ах, просто невозможно выразить, ни то, сколь ужасающим бывает наше Я, перенесенное в чуждую для него плоскость, ни то, сколь нечеловеческим становится человек, которого использовали в качестве зонда, или как бесчеловечность превосходит все то зло, которое только может встретиться на пути человека. Но, впрочем, не об этом я собираюсь рассказать, а скорее хочу описать тот способ, с помощью которого я все-таки выбрался из западни. А я - не будучи в состоянии дольше терпеть - начал вдруг бросаться, метаться, подпрыгивать так высоко, как только мог, и колотиться о стены со всей силы (наверняка, и это было учтено в планах упорно ожидавшего наверху Негра) - я начал что было мочи толкать, атаковать сталь, кидаться на нее, биться с ней, сворачиваться и распрямляться и жать до победного конца. Мое бесплодное безумие, видимо, вызвало какое-то движение, какое-то трение снаружи. Не знаю, то ли цепь порвалась (может ржавчина ее проела), то ли крюк выскочил из петли в цепи, то ли неудачно увязанный балласт развалился от легкого прикосновения, но внезапно пришло освобождение, избавление, облегчение... Набирая скорость, снаряд пошел вверх, и через пару минут, выталкиваемый громадным давлением, он вылетел, как пробка из бутылки, на высоту по меньшей мере километра.

Вскоре меня отвинтила команда торгового судна "Галифакс". Что стало с Негром, не знаю. Может, снаряд, падая, раздолбал его яхту, а может, вполне удовлетворенный тем, что было, он уплыл, увозя воспоминания. Во всяком случае, я надолго потерял его из виду. "Галифакс" зашел в Пернамбуко, откуда я и отправился на отдых в Польшу.

В это самое время громадный болид упал в Каспийское море, и оно в единый миг целиком испарилось. Пузатые, набрякшие груди туч опоясывали землю и нависали над ней, угрожая вторым потопом, иногда в просветы между ними солнце брызгало пучком жарких лучей. Воцарилась гнетущая атмосфера. Никто не знал, как без ущерба вернуть вялые тела назад, в то лоно, из которого они вышли, пока наконец не нашелся один, который начал щекотать одну - как раз находившуюся над опустевшим морем, - причем, самую фиолетово-черную, отвислую и тяжелую часть ее тела. Она

же разверзла свои хляби. А когда она полностью излилась, то в небесную пустоту, созданную ее исчезновением, стали наплывать другие тучи, и тогда они по очереди - теперь уж механически, автоматически - стали сливать воды и воссоздали море.

3

Вернувшись к себе в деревню, в Сандомирское воеводство, я предался отдыху: немного охотился, немного играл в бридж, ездил по соседям с визитами... а в одном из соседних поместий была молодая особа, которую я с радостью украсил бы фатой и миртовым венком. Все стихло. Негр, как я уже сказал, куда-то пропал, а может его и вовсе не было, кроме того, надвигалась осень, падали листья, воздух, становившийся с каждым днем все свежее, как бы приглашал перекликаться, бежать куда-то, тосковать и шалить. От нечего делать я стал обдумывать устройство прогулочного шара системы Монгольфье, и вскоре мой шар был готов. Его оболочка была сделана из специального, очень легкого и прочного полотна, а подъемной силой был нагретый воздух. Поясняю: внизу плотно было так стянуто железным обручем, что оставалось довольно большое отверстие, в отверстие была помещена обычная керосиновая лампа, которая стояла на железных вилках, крепившихся на обруче. Стоило лишь зажечь лампу и немного подкрутить фитиль, как шар надувался и натягивал веревки, соединяющие его с корзиной. Свернутую оболочку я легко мог хранить в сарае, наполненная же воздухом (а на это уходило всегда около часа), она вырастала до тридцати-сорока метров в диаметре.

Такое простое преодоление самой большой трудности, т.е. использование керосиновой лампы в шаре таких размеров, я связываю не столько с моими личными способностями к технике, сколько с определенной вялостью атмосферы, воцарившейся тогда в природе. Впрочем, не отрицаю, когда я в первый раз уселся в корзину и увидел становившуюся реальностью, нависающую надо мной громаду, то слегка испугался - но то была легкая громада, и нежная в воздухе, как дитя.

Уже сам процесс нагревания шара - раздувание громадного баллона, натяжение канатов, увеличение эластичности, шипение керосиновой лампы - доставил большое удовольствие. Пришлось довольно долго ждать, пока воздух не расширится надлежащим

образом. Вдруг шар неожиданно очень быстро пошел вверх. Я поскорее подкрутил фитиль, несмотря на это, шар задержался лишь чуть выше деревьев моего сада. Ласковый ветерок понес его над полями в направлении знакомого соседнего имения. Я проплыл над лесом и рекой, над деревней, где восторженные зеваки встретили меня криками приветствия, и оказался на высоте 50 метров над знакомым двором, перед знакомым и дорогим мне крыльцом с колоннадой. Я прикрутил фитиль, и шар тихо опустился на траву, а дом на его фоне выглядел как детская игрушка. Как же это было замечательно! Сколько смеха, сколько комплиментов мне и похвал моему шару! Никогда еще люди не видывали ничего подобного! Прервали полдник, чтобы посмотреть, потом меня пригласили на кофе с сыром и вареньем, а потом я взял в корзину только одного пассажира и посильней вывернул фитиль.

Физическое удовольствие от этой поездки заключалось прежде всего в том, что шар был огромным и надутым, а также в том, 1) что можно было плыть прямо над головами людей так, что они не доставали до нас руками; 2) что, встретив дом или дерево, можно было взмыть вверх и снова опуститься на землю; 3) что шар, хоть и громадный, был удивительно чувствительным, тихим и подверженным всем капризам воздуха, а мы в корзине - мы были точно такими же, как и он, восприняв его нежную детскую душу; 4) что дуновение, которое другим лишь оведало щеки, нас уносило, и нельзя было предугадать наших судеб в пространстве; 5) что без каких бы то ни было механизмов, не считая керосиновой лампы, даже без газа, а только полотно, канаты, корзина, мы и воздух, полотно, канаты, корзина и мы в воздухе; 6) а в-шестых и в-последних - прекрасная округлая тень, скользящая по траве. Но лично мне еще больше счастья, чем сам шар, доставлял пассажир шара. Первый раз в жизни я знакомился над лугами, над полями и над рощами, знакомился постоянно, все ближе и ближе, а она так охотно слушала меня, что я покрыл бы тысячей поцелуев ее маленькое, внимательное и понимающее ушко. Но, несмотря на то, что женщины, кажется, любят романтику, я смолчал о Негре и о других моих приключениях ввиду непонятного, но жгучего стыда, удерживавшего меня от лишних слов.

Настал день обмена кольцами и все ближе становился день свадьбы. За это время я ни разу не подумал ни о чем плохом,

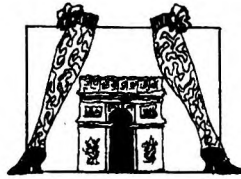
прогнал от себя все воспоминания, жил ею и шаром, жил сегодняшним днем, ну разве что вчерашним, когда я убегал в будущее, на ровную и спокойную дорогу счастья, и меня даже покинули дурные сновидения. Никогда... никакого отклонения... ни единого даже легкого намека на то... что когда-то действительно было... и чего теперь нет... береза снова стала березой, сосна - сосной, ива - ивой. - Но произошло вот что.- Как-то раз за неделю перед торжествами бракосочетания в местном костеле, когда меня охватила таинственная радостная предсвадебная лихорадка, а все поздравляли меня и желали счастья, мне захотелось полетать на шаре в ненастную ночь. Я хотел лишь покачаться на порывистом ветру - уверяю, что никаких других намерений, никаких дурных желаний у меня не было. Тем временем вихрь понес меня с бешеной силой (впрочем, наверняка, это был не вихрь, а Негр собственной персоной), и когда после долгих часов неожиданно беспокойно поднялся занавес рассвета, я не мог поверить своим глазам: подо мною плескалось Желтое Море.

Я сразу же смекнул, что прошлому - конец, и что началось... снова... и... и... ждет меня какая-то страшная китайщина и я навеки попрощался с березами, соснами, ивами и знакомыми лицами и глазами, и вместо этого весь я покорно открылся витым пагодам, бонзам, божкам, мандаринам и драконам. Когда же в лампе догорела последняя капля керосина, корзина упала в воду у берегов небольшого островка. Из близлежащих зарослей вышел китаец, вскрикнул, завидя меня, и побежал ко мне, а я замахал ему, чтобы он не приближался, поскольку он (естественно) был прокаженным. Он остановился в нерешительности, внимательно посмотрел на меня, издал какое-то неопределенное крикание, как будто он чему-то удивился, дотронулся до своей отвратительной бугристой кожи и повел меня к нескольким видневшимся вдали убогим тростниковым шалашам. Он все еще внимательно разглядывал меня, а я не вполне понимал, что бы мог означать этот взгляд. И хотя какое-то предчувствие закралось в меня, я последовал за ним.

Когда же мы оказались в поселении, моя кожа возопила о помощи, стянулась, съежилась, скукожилась, ошалела от опасности! Вся деревня - вся без исключения - была прокаженной: и старики, и мужчины, и женщины, и девушки, и юноши, если не считать двух-трех младенцев, ярко контрастировавших со всеми

своей гладкостью. Здесь бытовала та разновидность болезни, которая, насколько мне известно, называется *lepra anaesthetica*, а может и *lepra elephantiasis*, все здесь было шероховатым, бугристым, папулезным, одутловатым и покрытым наростами, в матово-белых, бурых или грязно-красных пятнах, в бляшках, в чешуйках, в утолщениях, в отвердениях, в запущенных язвах. Но эти люди не были покорны, как их собратья, которые в городах Азии издали криком предупреждают об отвратительном своем присутствии. О нет, и это надо признать сразу, они не имели совершенно ничего общего со скромностью и покорностью! Совсем напротив - они окружили меня и лезли ко мне с таким любопытством и бесстыдством, так тыкали пальцами с ороговевшими и выродившимися ногтями, что я принялся на них кричать и грозить кулаками. Они моментально попрятались в шалаши. Как можно скорее я покинул эту деревню, но когда через сотню-другую шагов обернулся, то увидел, что эта шайка повылезала из шалашей и движется поодаль, по моим следам. Тогда я топнул на них. Они снова исчезли, но через минуту появились вновь.

Остров этот - не более 15 квадратных километров - был, можно сказать, совершенно безлюдным, а большую часть его поверхности покрывал густой лес. Я шел не слишком быстро, но без остановки, не слишком нервно, но все-таки в напряжении, не слишком поддаваясь панике, но все-таки ускоренным шагом - поскольку постоянно чувствовал, что за спиной - пятнистые чудовища. Я хотел не оборачиваться, хотел сделать вид, что ни о чем не догадываюсь, ничего не вижу, и только спина предупреждала меня о медленном их приближении. Я шел и шел... шел в самых разных направлениях, как путник, как турист, как исследователь, то туда, то сюда, и все быстрее, как человек, занятый срочным делом, но в конце концов мне не хватило места и, исчерпав все безлесные пространства, я по тропинке углубился в лесную чащу. Они же подошли совсем близко - ступали уже совсем рядом, и я слышал их перешептывание и шорох ветвей. Увидев скрывающуюся за кустом покрытую наростами кожу, я резко свернул влево, а заметив среди лиан что-то вроде руки, пораженной острой формой *elephantiasis*, отпрыгнул и вышел на маленькую полянку. Они за мной. Я снова топнул - тогда они отступили в заросли. Я двинулся дальше, они - опять гурьбой, назойливо, как крысы, а шепот,



тумаки, задевание локтями становились все смелее и смелее. Все волоски на моем теле были напряжены, как проволока, - и что только усмотрели во мне эти папулезники? Чего они хотели? Женщинам такое известно - когда разнузданная банда хулиганов сзади, за спиной, сперва задевает их пошлыми шуточками, а те удирают, опустив голову: именно так было и со мной, так же, точь-в-точь...

Чего они хотели? Я сначала не понял, не усек их новой идеи, впрочем, я упомянул уже с буквальным сходстве... и если как следует углубиться в суть обстоятельств, из которых я был выхвачен и неожиданно перенесен на остров - тот предсвадебный трепет, костел и фата - то становится ясно, что иначе и быть не могло... Словом, стало очевидным, что я их возбуждаю, причем, как-то по-особенному - хоть я и не мог угадать ни источника этого возбуждения, ни смысла их восклицаний, их смешков, их мерзких шуток, но их вульгарность, развращенность, чувственность не подлежали сомнению - в голосе мужчин-чудовищ я различал ту похотливую грубость, а в голосе женщин-чудовищ то злорадство, которые в человеческих существах всех рас и на всех географических широтах могут быть вызваны только двумя вещами - невинностью или незрелостью... С, я бы еще согласился на проказу, но не на проказу и эротику вместе, с, Боже упаси, не на эротическую проказу! Я как ошалевший бросился бежать. Увидев это, они с гиком устремились за мной. Но не было дано их слоноподобным конечностям догнать мою ошалевшую панику! Я скрылся в раскидистой кроне дерева, вооружился крепкой дубиной и дал себе слово разозлить башку первому же, кто приблизится.

Моему сознанию постепенно открывалась адская комбинация - адская суть этой пытки... Я обнаружил сложный механизм вероятностей, воплощавший эту фантазию в действительность. На остров в течение трехсот или двухсот лет не заходили суда, и, как это иногда случается с маленькими, не отличающимися урожайностью островками, о нем забыли. Население острова не помнило, да и их отцы тоже не помнили, чтобы на острове был кто-то чужой.

Да, но как понять развращенность, сладострастные шуточки, ужасное преследование и желание задеть? Понять нетрудно, надо только проникнуться психологией негритянского Духа, который заправлял всем этим (а я в этом отношении уже имел опыт). С

незапамятных времен, может три, а может четыре поколения тому назад, их поразила проказа, и с течением времени они восприняли ее как неотъемлемую черту человека... Пятнистость в их представлениях была столь же характерным свойством человеческого рода, как и цветистость у бабочек, наросты - столь же естественны, как и гребень у петуха, и им нелегко было бы представить человека без наростов, без бляшек, как нам кого-то без единого волоска на коже. А поскольку дети рождались здоровыми, гладкими и чистыми - ибо заболели они только через несколько лет, а тот момент, когда кожа начинала утолщаться и слоиться, приходился на время созревания... на время первого поцелуя... первых чар любви... - то, увидев меня, до смешного гладкого, абсолютно чистого, забавно-тонкого, ну просто какого-то тушканчика с розовым личиком (ода, в их понимании папулы, пятна, наслоения, звездо- и веретенообразные высыпания были тем же самым для человека, что и цвета для бабочек, так же, как мы воспринимаем щетину, делающую из ребенка мужчину), они должны были подумать о том, о чем они подумали. Их тянуло подталкивать меня локтями, глумиться надо мною, куражиться и высмеивать, а когда они заметили, что я боюсь их, что, пристыженный и посрамленный, убегаю, они с радостью бросили в погоню свою отвратительную зрелость за моей убегающей невинностью, и сделали это в силу того же адского закона, который правит мальчишками в школе!

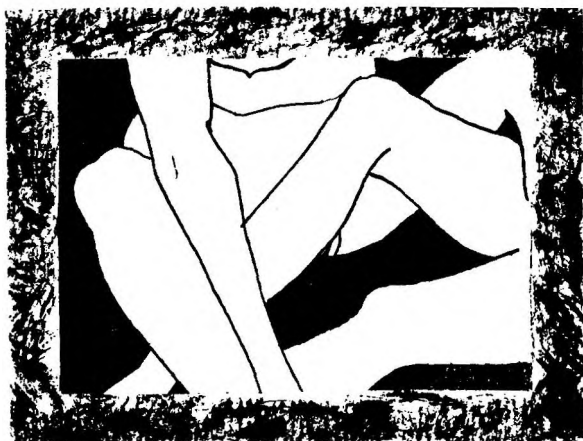
Я прожил на этом острове два месяца, ведя образ жизни обезьяны, скрываясь в дуплах деревьев, в густых зарослях и на верхушках пальм. Чудовища устроили на меня форменную охоту. Ничто не могло их так потешить, как та стыдливость, с которой я бежал от их прикосновения, они затаивались в чаще, неожиданно выскакивали из нее, гнались с вожделенным и веселым ревом, и если бы не специфический *odor hircinus*, если бы не неспособность их выродившихся конечностей и умножавший мои силы отчаянный страх, то я уж давно был бы в их лапах. Но прежде всего, если бы не моя кожа - непрерывно содрогающаяся, обостренно-чуткая, потрескавшаяся, охваченная ужасом, измученная вечной паникой. Я весь превратился в кожу - с ней вместе я засыпал и пробуждался, для меня существовала лишь она, она была для меня всем.

В конце концов я случайно нашел несколько бутылок керосина, наверняка появившихся здесь вследствие кораблекрушения.

Мне удалось залатать шар - и я улетел... Но что мне было делать, когда я снова увидел буки, сосны и т.д. и знакомые глаза? Что мне было делать, мне, такому гладкому, без наростов, без пятен, без наслоений, без чешуи и язв, совершенно без сыпи? Что мне было делать и мог ли теперь я, по-детски розовый, смотреть в эти глаза?

Ну раз не мог, так не мог - и я расстался с тем, что рассталось со мной... А впрочем, вскоре меня увлекли новые приключения, о, в приключениях у меня недостатка не было. Помню, как в 1918 году я - ведь это был я, никто иной - прорвал немецкий фронт. Как известно, окопы доходили до самого берега моря, это была настоящая система сухих и глубоких каналов, тянувшихся беспрерывно километров на 500. И мне единственному пришла в голову простая идея наполнить эти каналы водой. Ночью я пробрался, выкопал ров и соединил окопы с морем. Вода, неудержимо устремившаяся в окопы, залила их по всей линии фронта, а изумленные войска союзной коалиции увидели промокших до нитки немцев, панически выскакивающих из окопов в отблеске туманного утра.

Норнографус





Информация

Действие “Порнографии” разворачивается в Польше военных лет. Почему? Отчасти потому, что климат войны подходит для книги как нельзя лучше. Отчасти потому, что это все-таки польское - и даже поначалу замышлялось на манер дешевого романа во вкусе Радзевичувны или Зажицкой (интересно, пропало ли это сходство в более поздней обработке?). А отчасти - назло, чтобы внушить народу, что в его недрах гнездятся не только теоретически установленные конфликты, драмы, идеи.

Этой военной Польши я не знаю. Меня тогда там не было. И вообще, Польши я не видел с 1939 года. Написал об этом так, как мне представляется. А стало быть, у меня - воображаемая Польша, и не переживайте, что иногда что-то перепутано, что-то, может, неправдоподобно, ибо речь не о том и это совершенно не имеет значения для разворачивающихся здесь событий.

Еще одно. Не следует выискивать в фабуле, связанной с Армией Крайовой (во второй части) критического или иронического намерения. АК может быть уверена в моем почтении. Я придумал такую ситуацию, которая могла бы иметь место в любой подпольной организации, если того требовала ее структура и ее дух, поданный здесь несколько мелодраматически. АК или не АК, а люди - это всего лишь люди, и везде может появиться струсивший вожак или диктуемое соображениями конспирации убийство.

В.Г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Расскажу вам о другом моем приключении, возможно об одном из самых фатальных.

В то время, а было это в 1943-ем, я находился в бывшей Польше и в бывшей Варшаве, на самом дне свершившегося факта. Тишина. Поредевший круг моих приятелей и знакомых по бывшим кафе - Зодиаку, Земянской, Ипсу - собирался каждый вторник на одной квартирке по ул. Кручей и там, проводя время за выпивкой, мы старались продолжать быть художниками, писателями и мыслителями... ведя прежние, давнишние наши разговоры и споры об искусстве... Э-хе-хе, как сейчас вижу сидящих или лежащих в тяжелом дыму: этот тощий как скелет, тот - изборожденный морщинами, и все - кричат, шумят. Один кричал - "Бог", другой - "искусство", третий - "народ", четвертый - "пролетариат", и так мы горячо дискутировали, и так все это тянулось, тянулось - Бог, искусство, народ, пролетариат, - но вот как-то раз появился среди нас человек средних лет, чернявый, сухой, с орлиным носом и каждому по отдельности представился с соблюдением всех формальностей. После чего его почти не было слышно.

Он очень обстоятельно поблагодарил за поднесенную рюмку водки - и с немалой обстоятельностью сказал: "Хорошо бы еще спички"... после чего стал ждать спички, и ждал... когда же ему их принесли, он принялся закуривать. А тем временем кипела дискус-

сия - Бог, пролетариат, народ, искусство - а дым лез в ноздри. Кто-то спросил: "Какими судьбами к нам, пан Фридерик?" - на что он тотчас же дал исчерпывающий ответ: - "Я узнал от пани Евы, что здесь бывает Пентак, вот я и зашел, у меня четыре заячьи шкурки и подошва". А чтобы не быть голословным, показал завернутые в бумагу шкурки.

Ему дали чаю, который он выпил; на тарелочке у него остался кусок сахару - он протянул руку, чтобы поднести его ко рту - но, видимо, счел этот жест не вполне мотивированным, и отдернул руку - однако отдергивать руку было, по сути дела, чем-то еще более немотивированным - тогда он снова протянул руку и съел сахар - но съел уже, вероятно, не в удовольствие, а только для того, чтобы правильно себя повести... по отношению к сахару или по отношению к нам?... и тогда, желая сгладить это впечатление, он кашлянул, а чтобы обосновать кашель, достал платок, но на сей раз не решился вытереть нос, а лишь пошевелил ногой. Шевеление ногой, по-видимому, воздвигло перед ним новые сложности, и тогда он вообще затих и застыл. Это особое поведение (а он, собственно говоря, только и делал, что "вел себя", он беспрерывно "вел себя") уже тогда, при первой встрече возбудило мое любопытство к нему. В течение нескольких месяцев я сблизился с этим человеком, который, впрочем, оказался не лишенным хороших манер, да к тому же имел за плечами опыт в области искусства (когда-то он занимался театром). Как знать... как знать... Достаточно, если я скажу, что мы с ним занялись мелкой торговлишкой, дававшей нам средства к существованию. Однако все это длилось недолго, до тех пор, пока я не получил письмо от некоего Ипа, или Иполита С., помещика из Сандомирского воеводства, письмо с предложением посетить его. Иполит писал, что хочет обговорить с нами ряд своих варшавских дел, в которых мы могли бы ему помочь. "Здесь вроде спокойно, ничего такого, но ходят банды, случается, иногда нападают, понимаешь, распустились. Приезжайте вдвоем, будет веселей".

Ехать? Вдвоем? Меня обуревали сомнения, которые трудно сформулировать, сомнения относительно этой поездки вдвоем... потому что брать его с собой, чтобы там, в деревне он и дальше продолжал вести свою игру... А его тело, это тело столь... "специфическое"?... Ехать с ним не обращая внимания на эту его посто-

янную “молчаливо-вопиющую непристойность”? Обременять себя кем-то столь “скомпрометированным, а следовательно и компрометирующим”?... Подставлять себя под этот непонятно с кем упорно ведущийся “диалог”?... А его “знание”, это его знание о...? А его хитрость? А его подвохи? Конечно, все это мне не слишком улыбалось, но, с другой стороны, он в вечной своей игре... был так далек от нашей общей дразмы, настолько не связан с дискуссиями “народ, Бог, пролетариат, искусство”... что поездка представлялась мне отдыхом, своего рода облегчением... К тому же он был так эффектен, и спокоен, и осторожен! Поедем, вдвоем гораздо приятнее! И в результате мы влезли в вагон, проникли в набитое его нутро... а потом поезд покатил, громяхая.

Три часа пополудни. Туманно. Фридерика пополам разламывало бабье туловище, детская ножка утыкалась ему в подбородок... вот так он и ехал... но ехал, как всегда, корректный и благообразный. Он молчал. Молчал и я, дорога дергала и бросала нас, но все как будто задеревенело... и все же сквозь краешек окна я видел спящие синеватые поля, в которые мы въезжали, раскачиваясь и грохоча... это была та самая, столько раз виденная убегающая к горизонту плоская ширь лоскутного одеяла земли, несколько промелькнувших деревьев, домик, уходящие назад постройки... то же, что и всегда, от века знакомое... То же, да не то же самое! И не то же самое именно потому, что то же самое! И неизвестное, и непонятное, да что я говорю, - таинственное, непостижимое! Ребенок раскричался, баба чихнула...

Кислый запах... Издавна известная, вечная тоска езды поездом, поднимающаяся и ниспадающая линия проводов или канавы, неожиданный промельк в окне деревьев, столбов, будок, проворный бег, проскальзывание всего назад... когда там, далеко, на горизонте, труба или пригорок... появлялись и держались долго, упорно, как главная забота, забота преобладающая... пока не проваливались в ничто медленным разворотом. Фридерик находился прямо передо мной, через две головы, его голова была тут же, тут же и я мог ее видеть - он молчал и ехал, а присутствие посторонних, нахальных, оползающих и напирающих тел лишь подчеркивало мое пребывание один на один с ним... в молчании... подчеркивало так сильно, что ради всего святого я хотел бы с ним не ехать и чтобы план совместной поездки не дошел бы до осуществления! Ибо,

всаженный в телесность, он был еще одним телом среди тел, ничем более... но в то же время он *был...* и *был*, хоть и обособленно, но неотвратно... От этого нельзя было избавиться. Это нельзя было устранить, уладить, замять, он все был в этой давке и *был...* И его езда, его гонка в пространстве не шли в сравнение с ездой остальных - то была езда гораздо более значительная, а может быть, даже и опасная...

Время от времени он мне улыбался и что-то говорил - но, вероятно, затем, чтобы сделать возможным для меня пребывание в его обществе и сделать свое присутствие менее гнетущим. Я понял, что его выезд из города и переброска во вневаршавские пространства были делом рискованным... ибо на этих просторах специфика его души должна была раскрыться шире... да он и сам это понял: таким притихшим, таким незаметным я никогда его раньше не видел. В какой-то момент сумерки - эта пожирающая форму субстанция - начали постепенно стирать его очертания, и он сделался едва различимым в разогнавшемся и растрясшемся, въезжающем в ночь вагоне, стал манить в небытие. Однако это не умаляло его присутствия, хотя оно и становилось все менее доступным взгляду: продолжая оставаться тем же, он скрывался за вуалью невидимости. Потом зажегся свет и снова вытащил его из небытия, обозначив его подбородок, уголки поджатых губ и уши... он даже не шелхнулся, продолжал стоять, вперив свой взгляд в какую-то колышущуюся веревку, и был! Поезд опять остановился, где-то за мной послышалось шарканье ног, толпа качается, что-то, видимо, происходит - но он все есть и есть! Опять тронулись, снаружи - ночь, локомотив сыпанул искрами, езда вагонов становилась ночной - на кой мне было брать его с собой? Зачем было обременяться таким обществом, которое, вместо того, чтобы доставлять облегчение, лишь отягощало? Много сонных часов длилась эта перемежавшаяся остановками езда, пока наконец она не стала ездой ради езды, сонной, упрямой, и так мы ехали, пока не добрались до Чмелева и не оказались со своими чемоданами на тропке, ведущей вдоль путей. Убегающий шнур поезда в стихающем гуле. Тишина, таинственное дуновение и звезды. Сверчок.

Я, извлеченный из многочасового движения и давки, внезапно помещенный на тропинку, а рядом - с плащом через руку, совсем затихший - Фридерик. Где мы были? Что это было? Я ведь знал эти

места, и ветерок этот тоже не был мне чужим - но где же мы очутились? Там, наискосок, знакомое здание чмелевской станции и несколько горящих ламп, но... где, на какой мы высадились планете? Фридерик как встал рядом, так и остался стоять. Потом мы пошли к станции, он за мной, вот бричка, кони, возница - знакомая бричка и знакомый приветственный жест возницы (снял шапку), чего же я так пристально всматриваюсь?... Сажусь, за мной Фридерик, едем, песчаная дорога под светом темного неба, а по сторонам дороги проплывает чернота дерева или куста, въезжаем в деревню Бжустово, белеют покрытые известью доски, лай собаки... таинственный... передо мной спина возницы... таинственная... а рядом этот человек, молча и благовоспитанно сопровождающий меня. Невидимая почва колыхала и трясла нашу повозку, а провалы темноты, сгущение мрака среди деревьев преграждали нам обзор. Я заговорил с возницей, чтобы услышать собственный голос:

- Ну, как там у вас? Спокойно?

И услышал в ответ:

- Спокойно пока что. Банды - в лесах... Но чтоб в последнее время что-нибудь такое особенное...

Лица не видать, а голос все тот же - значит, не тот же. Передо мной - лишь спина, и я уже было хотел высунуться, чтобы заглянуть в глаза этой спине, но воздержался... потому что Фридерик... был здесь, рядом со мной. Невероятно тихий. Будучи вместе с ним, я предпочитал никому не заглядывать в лицо... так как внезапно понял, что он, сидящий со мной, в тишине своей радикален, радикален до безумия! Да это же - экстремист! Абсолютно неменяемый! Нет, это не простое существо, а нечто хищное, раздраемое такими крайностями, о которых я до сих пор и понятия не имел! Поэтому я предпочитал не заглядывать в лицо - никому, даже вознице, спина которого подавляла, как гора, когда невидимая земля качала, сотрясала бричку, а поблескивающая звездами разлитая вокруг темнота высасывала все видения. Дальнейший путь прошел в молчании. Наконец мы въехали в аллею, кони пошли резвей, ворота, сторож и собаки, закрытый дом и тяжелое скрежещущее его открывание - Ип с лампой...

- Ну, слава Богу, приехали!

Он или не он? Меня неприятно поразила отечная, набрякшая

краснота его лица... и вообще он выглядел как раздутый опухолью, которая привела к увеличению в нем всего, разрастанию плоти во все стороны, к ужасному разбуханию тела, ставшему похожим на зияющий мясом вулкан... он вытянул свои обутые в сапоги апокалиптические лапищи, а глаза выглядывали из тела как через форточку. Он прижался ко мне, обнял. Застенчиво шепнул:

- Разнесло меня... черт знает что... Потолстел. А с чего? Наверное, со всего.

И, осматривая свои пальцы, повторил безмерно горько, потише, для себя:

- Потолстел. С чего? Наверное, со всего.

И тут же выпалил:

- А это - моя жена!

После чего буркнул себе под нос:

- А это - моя жена!

И опять разразился:

- А это Генюся моя, Генютка, Генечка!

А потом повторил, для себя, чуть слышно:

- А это Генюся, Генютка, Генечка!

К нам он обратился гостеприимно и изысканно: - Как хорошо, что вы приехали, но Витольд, будь добр, познакомь меня со своим другом... - сказал, закрыл глаза, губы его зашевелились... он повторял. Фридерик весьма любезно поцеловал руку хозяйке дома, и тогда ее меланхолия озарилась проблеском улыбки, а воздушная гибкость нежно затрепетала... и водоворот знакомства увлек нас, приглашения в дом, рассаживания, разговоры - после того бесконечного пути - на свет лампы слетались грезы. Ужин подавал лакей. Сон морил. Водка. Борясь со сном, мы силились слушать, понимать, шел разговор о разных бедах, приходящих то с АК, то с немцами, то с бандами, то с администрацией, то с польской полицией, то с реквизициями - о свирепствующих повсюду страхах и насилиях... впрочем, об этом свидетельствовали оконные рамы, укрепленные дополнительными железными прутьями, а также - блокировка боковых дверей... запор, железная задвижка.- Сенохов сожгли, в Рудниках управляющему ноги поломали, жили у меня переселенцы из Познаньского воеводства, а что хуже всего - так это неизвестность, в Островце, в Бодзехове, там где фабричные поселки, все только и ждут, прислушиваются, пока что спокойно,

но как только фронт приблизится, все взорвется... Рванет! Вот тогда, скажу я вам, пойдет резня, будет взрыв, заваруха! Вот будет заваруха! - прогремел он и, задумавшись, буркнул под нос:

- Вот будет заваруха.

И снова прогремел:

- Хуже всего, что некуда податься!

И шепотом:

- Хуже всего, что некуда податься!

Но опять лампа. Ужин. Сонливость. Громада Ипа вымазана густым соусом сна, чуть поодаль растворяется хозяйка, Фридерик и ночные бабочки, бьющиеся о лампу, бабочки в лампе, бабочки о лампу, и винтовая лестница наверх, свеча, я падаю на кровать, засыпаю. Назавтра солнечный треугольник на стене. Чей-то голос за окном. Встаю с кровати, отворяю ставни. Утро.

2

Купы деревьев в прелестных закутках аллеек, сад плавно скатывался вниз, туда, где за липами угадывалась гладь пруда - ах, эта зелень в тенистой и солнечной росе! Когда же мы вышли после завтрака во двор, то дом - белый, двухэтажный, с мансардочками, в окружении елей и туй, тропинок и клумб - ошеломил как идеально чистое явление из прошлого, теперь уже из такого давнишнего, довоенного времени... и в своей ничем не тронутой древности казался более реальным, чем день сегодняшней... но в то же время осознание, что это неправда, что он противоречит действительности, делало его чем-то вроде театральной декорации... короче говоря, и дом, и парк, небо и поля стали одновременно и театром, и правдой. Но вот приближается помещик, грузный, опухший, в зеленой куртке на расплывающемся теле и приближается точь-в-точь как когда-то раньше, приветствуя нас издалека жестом, и спрашивает, как нам спалось. Лениво ведя беседу, мы неспешно вышли за ворота, в поле; насколько хватало взора, везде простиралась вздымающаяся, как застывшие волны, земля; круша сапогами комья, Ип шел и что-то говорил Фридерiku об уборке, об урожае. Мы двигались в направлении дома. На крыльце показалась пани Мария и сказала: "Здравствуйте", а по газону бегал карапуз, может, сын кухарки? Вот так и прошло это утро - ставшее

повторением давно умерших утр - но все было не так просто... потому что пейзаж портила какая-то червоточина, и мне снова показалось, что все, оставаясь прежним, стало чем-то совершенно иным. Что за обескураживающая мысль, досадная и замаскированная! Рядом со мной шел Фридерик, столь осязаемый в свете ясного дня, что можно было пересчитать все торчавшие из его ушей волоски и все шелушения подвально-бледной кожи - Фридерик, говорю я, ссутулившийся, щедущий, в очках, щеки впалые, рот нервный, руки в карманах - типичный городской интеллигент в настоящей здоровой деревне... однако в этом противостоянии не деревня побеждала: деревья потеряли уверенность в себе, небо стало смутным, корова не представляла должной антитезы, извечность деревни оказалась на сей раз поколебленной, смущенной и как бы подрубленной... а Фридерик теперь был более истинным, чем трава. Более истинным? Мучительная мысль, беспокойная, грозная, немного истеричная, и даже провоцирующая, наступающая, разрушающая... и я не знал, откуда она бьет, эта мысль: из него ли, из Фридерика, или, может, из войны, революции, оккупации... или, может, и то и другое, одно с другим? Но держался он безупречно: расспрашивал Иполита с хозяйстве, вел приличествующий обстоятельствам разговор. Неожиданно показалась Геня, она шла к нам через газон. Солнце обжигало кожу. Глаза высохли, губы потрескались. Она сообщила:

- Мама уже готова. Я велела запрягать.

- В костел, на службу, ведь воскресенье, - пояснил Иполит. И добавил тихо, для себя: на службу, в костел.

И произнес:

- Если господа захотят с нами, милости просим, а так никого не неволим, у нас - веротерпимость, так? Я лично - поеду, потому что, пока я тут, буду ездить! Пока есть костел, я - в костел! И с женой, с дочкой, в повозке - не от кого мне прятаться, пусть смотрят. А-а их, пусть тарашатся - как из фотоаппарата... пусть фотографируют!

И шепнул: - Пусть фотографируют!

Фридерик самым вежливым образом объявил о нашей готовности присутствовать на богослужении. Колеса нашей повозки попадают в песчаную колею и издают глухой стон, а когда мы въезжали на пригорок, постепенно открывалась застывшая в недвижимом

волнении ширь земли, низко расстеленной в самом низу под огромными высотами неба. Там, далеко, железная дорога. Мне хотелось смеяться. Повозка, кони, возница, горячий запах кожи и лака, пыль, солнце, назойливо кружащаяся перед носом муха и стон шин, трущихся о песок - (Боже!) все это известно с незапамятных времен и ничего, абсолютно ничего не изменилось! Но когда мы оказались на пригорке и нас обдало дыхание пространства, на границе которого маячили Свентокшиские горы, двуличие этой поездки чуть не сразило меня - поскольку мы были как на олеографии - как старая умершая фотография из старинного семейного альбома - а на пригорке - давно умерший экипаж был виден даже из самых отдаленных концов, в результате чего окружающая местность стала злобно-насмешливой, люто-презрительной. Двуличие мертвой нашей езды передавалось посиневшей топографии, которая, можно сказать, неуловимо перемещалась под воздействием и давлением именно этой нашей езды. Фридерик на заднем сидении, около пани Марии, смотрел вокруг и восхищался колоритом, по дороге в костел, как будто он и впрямь собрался туда ехать - наверное, никогда он еще не был таким общительным и любезным! Мы съехали в грохолицкую ложбину, туда, где начинается деревня, где всегда грязь...

Помню (и это не лишено значения в событиях, о которых пойдет разговор), что над иными ощущениями преобладало ощущение пустоты, тщетности - и снова, как в прошлую ночь, я было высунулся из повозки, чтобы заглянуть в лицо вознице, но снова некстати... поэтому остались мы за его непроницаемой спиной, и так всю дорогу. Мы въехали в деревню Грохолице, слева - речка, справа - редкие халупы и заборы, курица и гусь, корыто и лужа, собака, мужик или по-праздничному разодетая баба, тропинка, ведущая к костелу... покой и сонливость наших деревень... Но было такое ощущение, что как будто смерть наша склонилась над водной гладью и будила в ней свое отражение, прошлое нашего приезда отражалось в этой вечной деревне и тарахтело в самозабвении - которое было лишь маской - которое служило лишь для прикрытия чего-то другого... Чего? Какой бы то ни было смысл... войны, революции, насилия, распущенности, нищеты, отчаяния, надежды, борьбы, ярости, крика, убийства, рабства, позора, издыхания, проклятия или благословения... какой бы то ни было - понимаете

- любой смысл был слишком слабым, чтобы он смог пробиться через кристалл этой идиллии, и оставался нетронутым этот давно канувший в Лету и служивший лишь фасадом видок... Фридерик самым любезным образом разговаривал с пани Марией - а может, он поддерживал разговор только для того, чтобы не сказать *чего-нибудь другого?* - тут мы заехали под каменную стену, окружавшую костел, и собрались выходить... и вот здесь я совершенно перестал понимать, что есть что... обычные ли были те ступени, по которым мы входили на площадь перед костелом, или может быть они тоже...? Фридерик снял шляпу, подал руку пани Марии и проводил ее к порогу храма на виду у всех - а может, он ее провожал лишь затем, чтобы не сделать чего-нибудь другого? Вслед за ним выкатился Иполит и, непреклонный, напористый, устремил свои телеса вперед, зная, что завтра его могут прирезать как свинью - устремил стихийно, наперекор ненавистям, мрачный и отрешенный. Барин! А может он и барином-то был лишь для того, чтобы не быть кем-то другим?

Но когда нас поглотил пронзенный горящими свечами, наполненный духотой плаксивого, шепчущего пения, звучащего пресной и скорчившейся людской массой полумрак... тогда исчезла прятавшаяся многозначность - как будто какая-то рука, которая сильнее нас, вернула господствующий порядок богослужения. Иполит, бывший прежде барином со скрытой злостью и страстью, чтобы только не пропасть, наконец успокоился и, благородный, уселся на почетной скамье, приветствуя кивком головы сидевшую напротив семью управляющего из Иканя. Это была та минута перед богослужением, когда люди без священника предоставлены сами себе, а их жалостливое, смиренное, пискливое и нелепое пение объединяет их и ограничивает, и потому - делает безвредными, вроде пса на привязи. Какое укрощение, какое умиротворение, что за блаженное облегчение здесь, в этой каменной извечности, где мужик снова становится мужиком, господин - господином, богослужение - богослужением, камень - камнем и все снова входит в свои рамки.

Однако Фридерик, севший рядом с Иполитом на почетной скамье, опустился на колени... чем слегка нарушил мое спокойствие, поскольку то, что он делал, было немного нарочито... меня не отпустила мысль, что он опустился на колени только лишь затем,

чтобы не сделать чего-либо такого, что не было бы коленопреклонением... но вот слышны колокольчики, ксендз выходит с потиром и, поставив его на алтарь, кладет поклоны. Колокольчики. И вдруг какой-то решающий акцент ударил в мое существо с такой силой, что, опустошенный, в полуобморочном состоянии, я встал на колени и в жуткой неприкаянности своей чуть было не стал молиться... Но Фридерик! Мне казалось, я подозревал, что опустившийся на колени Фридерик тоже “молится”, и я даже был уверен - да-да, зная его тревоги, - что он не делает вид, а “молится” на самом деле, в том смысле, что он хочет обмануть не только других, но и себя. “Молится” для других и для себя, однако молитва его была лишь ширмой, прикрывающей беспредельность его не-молитвы... а стало быть, это был бросающийся в лицо, “эксцентричный” акт, выводивший из костела наружу, в беспредельное пространство абсолютной не-веры - акт по самой сути своей противоречивый. Так что же творилось? Что же начало происходить? Ничего подобного я никогда не переживал. Я никогда бы не поверил, что вообще нечто подобное может иметь место. Но - что же произошло? Собственно говоря, ничего, собственно говоря, вышло так, что чья-то рука вынула из богослужения все его содержание, его нутро - ксендз двигался, вставал на колени, переходил от одной стороны алтаря к другой стороне, служки звонили в колокольчики, поднималось курение кадила, однако содержание из всего этого улетучивалось, как газ из воздушного шарика, и... вялое... неспособное более к оплодотворению... богослужение поникло в страшной импотенции! Устранение содержания было убийством, совершенным походя, вне нас, вне богослужения, при помощи безгласного и убийственного комментария того, кто наблюдал со стороны. И богослужение оказалось беззащитным, поскольку это произошло вследствие какой-то данной вскользь интерпретации, собственно говоря, никто в костеле и не противился богослужению, даже Фридерик сочетался с ним как нельзя лучше... а если и убил его - то лишь, скажем так, с изнанки. Что же касается стороннего комментария, убийственного подстрочного примечания, то было оно продуктом жестокости - продуктом острого, холодного, пронизывающего насквозь, неумолимого сознания... и я понял, что мысль привести этого человека в костел была чистым безумием, Боже, его следовало держать подальше от всего этого! Костел был самым страшным для него местом!

Однако свершилось. Протекавший процесс был грубым приближением к действительности... прежде всего он был развенчанием спасения, в результате чего уже ничто не могло спасти эти хамские прогорклые рожи, лишенные сейчас какого бы то ни было освящающего флера и поданные в сыром виде, как объедки. Это уже был не "народ", не "мужики", и даже не "люди", это были такие существа, как... такие, какими они и были... и на их грязь уже не могла снизойти благодать. Но дикой анархии этого льново-лосого многоголовья соответствовало не менее наглое бесстыдство наших лиц, переставших быть "господскими", или "культурными", или "утонченными", и ставших чем-то вопиюще тождественным самим себе - как лишенные модели карикатуры перестают быть карикатурами на "что-то", а становятся лишь самими собой - и голыми как задница! Взорвавшееся с двух сторон - с господской и с хамской - уродство соединилось в жесте ксендза, который священнодействовал... над чем? Над чем? Да ни над чем. Но это еще не все...

Костел перестал быть костелом. В него ворвалось пространство, пространство космическое, черное, и все происходило уже не на земле, скорее земля превратилась в планету, зависшую в мироздании, космос стал осязаемым, и происходившее занимало один из его уголков. Такой далекий, что свет от свечей, и даже свет дня, проникавший через витражи, стал черным как ночь. А значит, нас не было больше ни в костеле, ни в деревне, ни на земле - в соответствии с действительностью, да-да, в соответствии с истиной - мы пребывали где-то в космосе, подвешенные, с нашими свечами и нашим блеском, и там, где-то в бесконечностях, похожие на обезьяну, ослабившуюся в пустоту, мы вытворяли с собой и друг с другом эти странные вещи. Это было нашей особой гримасой где-то там, в галактике, человеческой провокацией во мраке, странными телодвижениями в бездне, кривлянием в астрономических беспредельностях. Но наше погружение в пространство сопровождалось страшным обострением конкретности, да, мы были в космосе, но существовали в нем как нечто поразительно конкретное, определенное во всех подробностях. Зазвенели колокольчики, призывая подняться с колен. Фридерик опустил на колени.

На сей раз его коленапреклонение добивало мессу, подобно тому, как дорезают курицу, и богослужение пошло дальше, но оно

уже было смертельно ранено и лепетало, как умалишенный. *Ite, missa est*. И... о, триумф! Какая победа над богослужением! Какая гордость! Как будто его устранение было для меня какой-то вожденной целью: в конце концов я сам, я, один, без никого и ничего кроме меня, один в абсолютной темноте... добрался до своего предела, достиг темноты! Горькая грань, горький привкус достигнутого и горький финиш! Но все было гордо, ошеломляюще, отмечено неумолимой зрелостью духа, ставшего самостоятельным. Однако вместе с тем - ужасно, и, лишенный какой бы то ни было опоры, я ощущал самого себя в себе, как в руках чудовища, и имел возможность делать с собой все, все, все! Черствость гордости. Холод крайности. Строгость и пустота. Так что же? Богослужение близилось к концу, я сонно озирался, устал, ах, надо будет выйти, ехать домой, в Повурную, по той же песчаной дороге... но вдруг мой взор... мои глаза... глаза в панике и больно смотреть. Да, что-то привлекало... глаза... и глаза. Пленяло, искушало - да. Что? Что привлекало, что манило? Чудесное - как во сне - состояние, покрытые вуалью желанные места, мы их не в силах отгадать, и кружим возле них с немым криком, во всепоглощающей, пронзительной, счастливой, восторженной тоске.

Так я кружил, встревоженный, неуверенный... но уже сладостно пронизанный нежным насилием, которое захватывало - обволаживало - восхищало - очаровывало - прельщало и покоряло - играло - и контраст между космическим холодом ночи и бьющим источником наслаждения был столь велик, что я тревожно подумал: Бог и чудо! Бог и чудо!

Однако, что это было?

Это... видневшиеся со спины часть щеки и полоска шеи.. того, кто стоял перед нами, в толпе, в нескольких шагах...

Ах, я едва не задохнулся! Это был... (мальчик)
(мальчик)

И поняв, что это всего лишь (мальчик), я стал стремительно выходить из состояния экстаза. А впрочем, я его почти не видел, всего лишь часть шеи и щеки. Когда же он сделал движение, то легкое, оно пронзило меня насквозь, как небывалое зрелище!

Но ведь (мальчик).

Всего лишь (мальчик).

Как мучительно! Обычная шея шестнадцатилетнего, короткая

стрижка, и обычная, слегка потрескавшаяся кожа (мальчика) и (молодая) посадка головы - самая обычная - откуда же во мне эта дрожь? О... а теперь я увидел линию носа, его губы, потому что он повернул голову чуть влево - и ничего такого, я увидел обычное раскосое лицо (мальчика) - обычное! Он был не из простонародья. Ученик? Практикант? Обычное (молодое) лицо, с правильными чертами, чуть упрямое, дружелюбное, с каким обычно грызут карандаш, или играют в футбол, на бильярде; воротник пиджака заползал на воротник рубахи, шея - загорелая. Но как забилося мое сердце! А он лучился божеством, будучи чем-то великолепно покоряющим и очаровывающим в безмерной пустоте ночи, источником тепла и дышащего света. Милость. Непостижимое чудо: почему то, что было неважным, вдруг стало важным?

Фридерик? Знал ли Фридерик, видел ли, попало ли это в поле его зрения?... но вдруг люди задвигались, богослужение завершилось, все начали медленно протискиваться к выходу. И я вместе со всеми. Впереди меня шла Геня - ее спина и шея, совсем, как у школьницы, - приблизились ко мне, а когда приблизились, то так сильно завладели мной - и все так удачно связалось у меня с той, с другой шеей... что я вдруг легко, без усилий понял: эта шея и та шея. Это две шеи. Эти шеи были...

Как же это? Что же это? Казалось, ее шея (девушки) внезапно становилась абстракцией и ассоциировалась с той (мальчика) шеей, эта шея как за шею схвачена той шеей и сама хватающая за шею! Прошу прощения за неуклюжесть метафор. Немного неудобно мне говорить на сей предмет (к тому же когда-нибудь я должен буду растолковать, почему слова (мальчик) и (девушка) заключены в скобки, да-да, это тоже надо будет объяснить). Ее движение, когда они шли впереди меня в толпе, в жаркой толчее, тоже как-то "адресовывалось" ему и было страстным ответом на его движения, перешептыванием с ними здесь же, здесь же, в толпе. Неужели? Не обман ли зрения? Но внезапно я увидел ее руку, устремленную вдоль тела, вдавленную в тело напором толпы, и эта ее вдавленная рука тайно отдавала ее его рукам в гуще слепленных тел. Ну все в ней было "для него"! А он, хоть и спокойно шел поодаль, вместе с другими, но все-таки был к ней устремлен и ею напряжен. И необоримые, слепые и так спокойно продвигающиеся вместе с другими, столь равнодушные влюбленность и вождение! Ах! Вот оно

что! - теперь я понял, какая тайна в нем захватила меня с самого начала.

Мы вышли из костела на залитую солнцем площадь, люди расходились, и тогда они - он и она - предстали передо мной в полный рост. Она - в светлой блузке под белым воротничком и в темно-синей юбочке - стояла в сторонке в ожидании родителей, закрывала молитвенник на застежку. Он... подошел к каменной ограде и, встав на цыпочки, выглянул наружу - непонятно зачем. Знакомы ли они? И хотя каждый из них стоял сам по себе, но в глаза опять и все сильнее бросалось их страстное созвучие: они как будто были созданы друг для друга. Я зажмурился - на площади бело, зелено, сине, тепло - зажмурился. Он для нее, она - для него, хоть и стояли вдалеке друг от друга и совершенно друг другом не интересовались, - и их созвучие было таким сильным, что он подходил губами не к губам ее, а ко всему ее телу - а тело ее подчинялось его ногам!

Боюсь, что в последней фразе я может быть действительно несколько далеко зашел... Не лучше ли просто сказать, что мы имеем дело с исключительным случаем подбора... причем, не только полового? Ведь бывает же так, что при виде какой-нибудь пары мы говорим: как подходят друг к другу - но в данном случае подбор, если можно так выразиться, был еще более ощутимым, потому что был недоросшим... честное слово, не знаю, ясно ли... но эта несовершеннoleтняя чувственность сияла богатством более высокой пробы, тем, что они были друг для друга счастьем, драгоценностью, самым главным! И вот, стоя на залитой солнцем площади, одуревший, ошарашенный, я не мог понять, в голову не лезло, как же так получается, что они не обращают друг на друга внимания, не стремятся друг к другу! Она - сама по себе, а он - сам по себе.

Воскресенье, деревья, жара, сонная лень, костел, никто никуда не спешит, стали образовываться группки, пани Мария дотрагивается кончиками пальцев до лица, как бы проверяя кожу - Иполит разговаривает с управляющим Иканя о поставках - рядом Фридерик, вежливый, руки в карманах пиджака, гость... ах, эта картинка сметала недавнюю черную бездну, в которой неожиданно появился жаркий огонек... и лишь одно меня тревожило: заметил ли это Фридерик? Знал ли?

Фридерик?



Иполит спросил управляющего:

- А с картофелем? Что сделать?

- С полметра можно дать.

Этот (мальчик) приближался к нам. - А вот и мой Кароль, - сказал управляющий и подтолкнул его к Фридрику, который подал ему руку. Он поздоровался со всеми. Геня сказала матери:

- Смотри! Галецкая выздоровела!

- Ну что, зайдем к священнику? - спросил Иполит, но тут же хмыкнул: - А зачем? - и пророкотал: - Пора, господа, пора домой! Мы прощаемся с управляющим. Садимся в экипаж, а с нами Кароль (а то как же?), севший рядом с возницей, едем, шины попадают в колею, издают глухой стон, песчаная дорога в дрожащем и ленивом мареве, зависает золотистая муха, а когда мы выбрались на пригорок, далеко, там, где начинается лес - квадраты полей и железнодорожный путь. Едем. Сидя рядом с Геней, Фридерик восторгается типичным для колорита этих мест сине-золотистым отсветом, который - объясняет он - дают находящиеся в воздухе частички лёсса. Едем.

3

Экипаж ехал. Кароль сидел на козлах, рядом с возницей. Она на переднем сиденье - его голова возвышалась над ее головой, как будто вырастала из нее, он сидел уровнем выше, спиной к нам, различимый лишь в самых общих очертаниях - а ветер раздувал его рубаху - и сочетание ее лица с отсутствием его лица, дополнение ее видящего лица его невидящей спиной поразило меня темным, жарким раздвоением... Не слишком красивые - ни он, ни она - красивые лишь постольку, поскольку красота вообще свойственна этому возрасту - они были красотой в замкнутом своем пространстве, в этом взаимном желании и влечении, в чем никто другой не имел права участвовать. Они были друг для друга - только друг с другом. Тем более, такие (молодые). Поэтому мне нельзя было всматриваться, и я старался не видеть, но передо мной - рядом с ней - сидел Фридерик, и я снова и снова спрашивал себя: видел ли все это он? Знал ли? - и все пытался уловить хотя бы один-единственный его взгляд, один из тех внешне равнодушных, но проскальзывающих украдкой вождеденных взглядов.

А другие? Что знали другие? Ведь трудно поверить, что нечто, столь бросающееся в глаза, могло ускользнуть от родителей де-вухки. После обеда, когда мы с Иполитом пошли смотреть коров, я навел разговор на Кароля. Но мне трудно было спрашивать о (мальчике), который, ввергая меня в такого рода возбуждение, стал моим стыдом, а что касается Ипа, то он, видимо, не считал данную тему достойной внимания. Ну этот, Кароль, оно конечно, парень неплохой, сын управляющего, был в подпольном движе-нии, послали его куда-то под Люблин и он там что-то натворил... и-и-и, какая-то там глупость, что-то там стибрил, стрельнул, или как там, дружка или командира, черт его знает, ну в общем ерунда какая-то, потом смылся оттуда, и домой, а что засранец отцу дерзит и лаютя друг с другом, потому, стало быть, и взял я его к себе - разбирается в машинах и всегда в случае чего, больше народу в доме... - В случае чего - повторил он сосредоточенно себе под нос, разминая носком сапога комья земли. И сразу заговорил о чем-то другом. Не потому ли, что шестнадцатилетняя биография не была для него достаточно весомой? А может не было другого выхода, как только пренебречь мальчишескими делишками, чтобы они не слишком тяготили. Стрелял или застрелил? - подумал я. Даже если и застрелил, то можно простить его за молодостью лет, которая все прощала - и я спросил, давно ли Кароль знаком с Геней. - С детства, - ответил Ип, похлопывая корову по заду, и заметил: - Голландка! Молочная порода! Больная, проклятье! - Вот и все, что я узнал. Следовательно, ни он, ни его жена ничего не заметили - ничего важного, что могло бы встревожить их родительскую бдитель-ность. Как же такое вообще возможно? И мне подумалось, вот если бы вопрос был более взрослым - менее недоросшим - если бы он был не столь мальчишково-девчоночьим... однако его утопили в недо-статке возраста.

Фридерик? Что заметил Фридерик? После костела, после того, как прирезали, придушили богослужение, я должен был знать, знает ли он хоть что-нибудь о них - для меня его незнание стало бы практически невыносимым! Ужасно, что я не мог никакими сила-ми соединить эти два духа - тот, черный, который зарождался во Фридерике, с тем, свежим, страстным, их - витавшие в отдаленны друг от друга и не соприкасавшиеся! А впрочем, что мог заметить Фридерик, если между ними ничего не происходило?... но мне

казалось фантастическим, абсурдным то, что они держались так, как будто их не влекло друг к другу! Напрасно ждал я, что в конце концов они себя выдадут. Невероятное равнодушие! Я следил за Каролем во время обеда. Мальчишка и дрянь. Симпатичный убийца. Улыбающийся раб. Молодой солдат. Твердая мягкость. Ужасная и даже кровавая игра. Этот ребенок, еще смеющийся, или вернее, еще улыбающийся, был однако уже “взят мужчинами в галоп” – втянутый в войну, воспитанный армией, он был тем строгим и тихим юнцом, которого мужчины рано приняли в свою компанию, – и когда он мазал хлеб, когда ел, проявлялась та особенная сдержанность, которой научил его голод.

Иногда его голос сгущался, становился глухим. У него было что-то общее с железом. С ремнем и с только что срубленным деревом. На первый взгляд совершенно обычный, спокойный и компанейский, послушный и доброжелательный. Раздвоенный между ребенком и мужчиной (что делало его одновременно и невинно-наивным и неумолимо-опытным), впрочем, он не был ни тем, ни другим, он был чем-то третьим, то есть – бушующей в нем, стремительной молодостью, отдающей его жестокости, насилию и повиновению и обрекающей на рабство и унижение. Низший – потому что молодой. Худший – потому что молодой. Чувственный – потому что молодой. Плотский – потому что молодой. Уничтожающий – потому что молодой. И из-за этой своей молодости – достойный презрения. И что самое интересное: его улыбка – самая роскошная из всех имевшихся у него вещей – объединяла его с унижением, ибо, обезоруженный собственной готовностью смеяться, этот ребенок не мог защитить себя. Все бросало его на Геню, как на суку, он горел к ней вожделением, но ей-богу, это была никакая не “любовь”, а нечто грубо унижительное, соответствующее его уровню – любовь “мальчишеская”, во всей ее приземленности. Но в то же время такое вообще не называется любовью – он относился к ней действительно как к девочке, которую он знает “с детства”, а разговор их шел свободно и доверительно. “Что это у тебя с рукой?” “Поранил, банку открывал”. “А ты знаешь, что Роблецкий в Варшаве?” И ничего больше, ни взгляда, ничего, только это – кто ж на таком основании мог бы заподозрить их даже в самом легком флирте? Что же касается ее, то прижатая мальчиком (если можно так выразиться) и под его нажимом, она а priori стала изнасило-

ванной (если данное определение вообще хоть что-нибудь значит) и, не теряя ничего из непорочности, даже укрепляя ее в объятиях его неумелости, она все-таки спаривалась с ним во мраке его пока еще не вполне мужского насилия. О ней нельзя было сказать, что она “знает мужчин” (как говорят об испорченных девочках), но только, что “она знает мальчика” - а это было и более невинно и в то же время более развратно. По крайней мере, мне так показалось, когда они ели клецки. Они ели их как пара знакомых с детства, привыкших друг к другу и, может, даже друг другу надоевших. Так как же? Мог ли я ожидать, что Фридерик хоть что-то в этом углядит, не являлось ли это вообще лишь постыдным моим заблуждением? День проходил. Сумерки. Подали ужин. Мы вновь собрались за столом в скучном свете единственной керосиновой лампы и при закрытых ставнях, забаррикадированных дверях, съели простоквашу с картошкой, пани Мария кончиками пальцев теребила бахрому скатерти, Иполит подставил набрякшее свое лицо под лампу. Было тихо - хоть за стенами, хоронившими нас, начинался (сад), полный неведомых шелестов и дуновений, а дальше - одичавшие от войны поля; разговор затих, и мы устались на лампу, о которую билась ночная бабочка. Кароль в довольно темном углу разбирал и чистил конюшенный фонарь. Она наклонилась, чтобы перекусить нитку, она шила блузку - и достаточно было этого внезапного наклона и судорожного сжатия зубов, чтобы в углу расцвел, запыхал Кароль, хоть он и ухом не повел. Она же, отложив блузку, положила руку на стол: ее рука лежала явно, безупречно, во всех отношениях приличная, впрочем, пансионная, собственность папы и мамы - но в то же время обнаженная и совершенно голая, причем голая наготой не руки, а выглядывающего из-под юбки колена... и, как бы это лучше сказать, босая что ли... и вот этой по-пансионному развязной рукой она его дразнила, дразнила “по-молодому глупо” (трудно это назвать иначе), но вместе с тем и грубо. И грубость сопровождалась низким чудным пением, которое лучилось из них и их окутывало. Кароль чистил фонарь. Она сидела. Фридерик катал шарики из хлеба.

Двери на веранде забаррикадированы - ставни укреплены железными прутьями - наше затишье за столом, вокруг лампы, множественное на угрозу необузданного пространства снаружи - предметы, часы, шкаф, полка, казалось, живут своей собственной жиз-

нюю - и в этой тишине, в тепле, их ранняя, набухшая инстинктом и ночью чувственность росла, создавая сферу собственного возбуждения, замкнутую окружность. Казалось, что они так и жаждали приманить темноту тех, недомашних, гуляющих по полям страстей, нуждались в ней... но вели себя спокойно, и даже вяло. Фридерик медленно гасил сигарету о блюдце под стаканом недопитого чаю, гасил долго, не торопясь, где-то на улице вдруг залаяла собака - и только тогда его рука вмяла окурочек. Стройными пальцами пани Мария так обнимала свои гибкие, нежные пальцы, как это делают, когда держат осенний лист, или когда нюхают увядший цветок, Геня пошевелилась... Кароль случайно тоже пошевелился... связывавшее их друг с другом движение брызнуло струей, разыгралось, и ее белые колени повалили (мальчика) на темные, темные, темные, неподвижные в углу колени. А краснобурные, как будто набитые мясом, толкающие в допотопность лапищи Иполита тоже покоились на скатерти, и он вынужден был их терпеть, потому что это были его руки.

- Спать пора, - зевнул он. И шепнул: - спать пора.

Нет, этого нельзя было перенести! Ничто, ничто! Ничто, лишь моя пасущаяся на них порнография! И моя обозленность на их бездонную глупость - он - шенок - глупый сапог, да и она - курочка-дурочка! - ибо только глупостью можно было объяснить, что ничего, ничего, ничего!... Ах, если бы они были на пару лет старше! Но Кароль сидел в своем углу, со своим фонарем, не зная лучшего применения своим мальчишеским ногам и рукам, чем ковыряние в фонаре, сосредоточенный на нем, закручивающий винтики - и что же из того, что угол был желанным, драгоценным, что там скрывалось самое большое счастье, там, в недоразвитом Боге!... он винтики завинчивал. А Геня дремала, сидя за столом, ее руки скучали... Ничего! Как же такое могло получиться? А Фридерик, Фридерик, что об этом знал Фридерик, гасивший сигарету, забавлявшийся хлебными шариками? Фридерик, Фридерик, Фридерик! Фридерик, сидящий здесь, находившийся за этим столом, в этом доме, в этих ночных полях и в этом клубке страстей! С таким лицом, которое само по себе было одной большой провокацией, потому что оно больше всего остерегалось провокаций. Фридерик!

У Геньки слипались глаза. Она пожелала "спокойной ночи". Тут же и Кароль, старательно завернув все винтики в бумагу,

пошел в свою комнату на втором этаже.

Тогда я, глядя на лампу, жужжавшую целым царством насекомых, осторожно так сказал: - Симпатичная парочка!

Никто и ухом не повел. Пани Мария коснулась салфетки. - У Гени, - сказала она, - если Бог даст, на днях будет помолвка.

Фридерик продолжал лепить шарики из хлеба и, не прерывая своего занятия, вежливо поинтересовался:

- Да? С кем-то из соседей?

- Да... Сосед. Вацлав Пашковский из Руды. Недалеко. Часто к нам заглядывает. Очень приличный человек. Исключительно приличный, - заперебирала она пальцами.

- Юрист, между прочим, - ответил Иполит, - перед войной должен был открыть контору... Спокойный мужик, серьезный, башка, а образованный! Его мать, вдова, ведет хозяйство в Руде, именье - первый класс, шестьдесят влук, три мили отсюда.

- Святых добродетелей женщина.

- Она, собственно, с востока Малой Польши, в девичестве Тшешевская, родственница Голуховским.

- Генька немножко молода... но лучшего кандидата трудно сыскать. Мужчина ответственный, спокойный, исключительно начитанный, интеллект высочайший, когда к нам приедет, вам будет с кем поговорить.

- Необычайно сообразительный. Честный и благородный. Исключительной моральной чистоты человек. Весь в мать. Необыкновенная женщина, глубокой веры, почти святая - непоколебимых католических принципов. Руда - это моральный оплот для всех.

- По крайней мере не голь перекатная. Известно что и как.

- По крайней мере известно, за кого дочку отдаем.

- Благодаренье Богу!

- Была не была. Генька хорошо замуж выйдет. Была не была, - шепнул он себе под нос в неожиданно нахлынувшей задумчивости.

4

Ночь прошла тихо, незаметно. К счастью, у меня была отдельная комната, и я был избавлен от того, чтобы терпеть его сон... Открытые ставни явили денек с облачками в голубоватом и покры-

том росой саду, а низкое солнце било сбоку стрелами лучей, и все было как будто срезано острием в геометрическом и продолговатом броске - перекошенный конь, конусообразное дерево! Смешно! Смешно и забавно! Горизонтالي тянулись вверх, а вертикали шли наискось! В это утро я был как в лихорадке и почти что больной от вчерашней распаленности, от того огня и блеска - надо понять, что все это свалилось на меня неожиданно после свинских, подавленных, истощенных, серых или безумно перекошенных лет. Лет, пропитанных трупным запахом. В течение которых я почти забыл, что такое красота. И вот вдруг передо мной расцветает возможность жаркой весенней идиллии, с которой я уж было распрощался, и власть отвращения отступает перед замечательным аппетитом этих двоих. Я уже не хотел ничего другого! Мне надоели агонии. Я, польский писатель, я, Гомбрович, побежал за этим ложным огоньком, как на приманку - но что знал Фридерик? Необходимость убедиться, - знает ли он, а если знает, то что думает, что представляет, - стала неотвязной, и я больше не мог без него, или скорее с ним, но с неизвестным! А если спросить? Как спросить? Как все это изъяснить? Лучше оставить его в покое и следить - не выдаст ли он себя возбуждением...

Случай представился, когда после полдника мы сели вдвоем на крыльце - я начал зевать, сказал, что пойду сосну немножко, но, отойдя, притаился за шторами гостиной. Требовалась определенная... нет, не отвага... смелость... ведь это так походило на провокацию - впрочем, у него самого было много общего с провокацией, а значит, мои действия были своего рода "провоцированием провокатора". И вот это прятанье за шторой было с моей стороны первым явным нарушением нашего общежития, началом какой-то нелегальной фазы в отношениях между нами.

А впрочем, сколько уж раз случалось мне смотреть на него, когда он, занятый чем-то другим, не видел моего взгляда, но теперь я чувствовал, что делаю как будто какую-то подлость - потому что подлым становился он. Однако я все же укрылся за шторой. Он еще довольно долго сидел в той позе, в какой я и оставил его на лавочке: вытянул ноги и смотрел на деревья.

Зашевелился, встал. Начал медленно прогуливаться по дворику, обошел его раза три... потом свернул к шпалере деревьев, отделявших сад от парка. Я шел за ним в отдалении, но так, чтобы не потерять его из виду. И мне уже стало казаться, что я напал на след.

В саду была Геня, перебирала картошку - неужели он туда устремился? Нет. Свернул в боковую аллею, что вела к пруду, встал над водой и смотрел, а лицо у него - лицо гостя, туриста... Стало быть, прогулка его была лишь прогулкой - но только я было собрался отойти с родившейся во мне уверенностью, что все, что мне пригрезилось, было всего лишь моей фатаморганой (ибо я чувствовал, что у этого человека должен быть нюх на такие дела, и что если он в этом пока ничего не учуял, то стало быть, ничего такого вовсе и нет), как я заметил, что он возвращается к шпалере. Я пошел за ним.

Он ступал неспешно, задерживался, задумчиво осматривал кусты, его умный профиль как-то неопределенно склонялся над листьями. В саду тихо. Снова развеивались мои подозрения, но осталось одно, отравлявшее сознание: подозрение в том, что он сам себя разыгрывает. Как-то уж слишком нарочито передвигался он по саду.

Я не ошибся. Он еще пару раз сворачивал в разных направлениях - углублялся в сад - прошел немножко, встал - зевнул - осмотрелся... а она в ста шагах от него на соломе перед погребом картошку перебирает! Верхом на мешке! Мимолетно он зацепился за нее взглядом.

Зевнул. Ай-яй-яй, вот это уже было наиграно! Что за маскарад! Для кого? Зачем? И эта осторожность... как будто он не позволяет своей особе целиком отдаться тому, что он делал... но было видно, что его кружение направлено на нее, на нее! О... а сейчас он уходит в сторону дома, но нет, далеко зашел в поле, далеко, оставивается, осматривается, как будто это прогулка... но вот огромную кривую обходного маневра он целит на гумно, и теперь уже наверняка пойдет на гумно. Видя это, я понесся что было духу - через кусты, чтобы занять наблюдательный пункт за сараем, и пока я бежал, треща прутьями во влажных зарослях над канавой, где валялась дохлая кошка и где прыгали лягушки, я понял, что и заросли, и канаву я посвящаю в наши делишки. Забегаю за сарай. Он стоял там за навозной телегой. Неожиданно кони потянули телегу и он оказался напротив Кароля, который с другой стороны гумна, около колесного сарая, разглядывал какую-то железяку.

Тогда-то он и выдал себя. Обнаруженный внезапным передвижением телеги, он не выдержал открытого пространства между

собой и объектом наблюдения - и вместо того, чтобы стоять спокойно, быстро сиганул за забор, чтобы его не увидели - и замер, учащенно дыша. Но это резкое движение выдало его, поэтому он, испугавшись, выскочил на дорогу, чтобы вернуться домой. Тут он столкнулся лицом к лицу со мной. И мы пошли навстречу друг другу по прямой линии.

Об отговорках не могло быть и речи. Я поймал с поличным его, а он - меня. Он увидел того, кто за ним следил. Мы шли друг на друга, и, признаюсь, мне сделалось не по себе, потому что между нами что-то должно было радикально измениться. Я знаю, что он знает, и он знает, что я знаю, что он знает - вот что плясало у меня в мозгу. Нас все еще разделяло приличное расстояние, когда он заговорил:

- А, пан Витольд, вышли подышать свежим воздухом!

Это было сказано театрально - это "а, пан Витольд" в его устах было игрой, он никогда так не говорил. Я тупо парировал:

- Действительно...

Он взял меня под руку - чего никогда раньше не делал - и сказал не менее округло:

- Что за вечер и деревья так благоухают! Так может нам вместе предаться милой прогулке?

Мне сообразился его тон, и я ответил менуэтной любезностью:

- О, разумеется, с превеликим удовольствием, меня это так увлекает!

Мы двинулись по направлению к дому. Но это шествие уже пересекло границы привычного... став чем-то таким, где мы, перевоплощенные, почти что торжественно, чуть ли не под звуки музыки входим в сад... и я подозревал, что нахожусь в когтях какого-то его решения. Что произошло с нами? Я впервые ощутил его как враждебность, причем - угрожавшую мне непосредственно. Он все так же, по-дружески, держал меня под руку, но его близость была циничной и холодной. Мы миновали дом (причем он постоянно восхищался "игрой светотени", вызванной заходом солнца), и я сообразил, что самой короткой дорогой, напрямик через газоны мы идем к ней... к девочке... а наполненный отблесками парк действительно был букетом и лучезарной лампой, черной от елей и сосен, разрастающихся, ошетилившихся. Мы шли к ней. Она смотрела на нас. Сидела на мешке и держала перочинный ножик! Фридерик спросил:

- Не помешали?

- Да нет. Я уж кончила с картошкой.

Поклонившись, он сказал громко и кругло:

- Так значит, можно просить, чтобы юная леди составила нам компанию в нашей вечерней прогулке?

Она встала. Отстегнула фартучек. Покорность... которая, впрочем, могла быть всего лишь вежливостью. Простое приглашение на прогулку, ну разве что в несколько преувеличенной, характерной для старых холостяков форме... но... но в нашем шествии к ней, в подходе для меня существовала некая непристойность, которую можно было бы определить так: "он забирает ее, чтобы с ней кое-что сделать", и "она идет с ним, чтобы с ней кое-что сделали".

Самой короткой дорогой, через газоны мы пошли на гумно; она спросила: - К коням идем?... Его цель, его неизвестные намерения пронизывали хитросплетения аллей и тропинок, деревьев и клумб. Он не ответил - а то, что он не дал никакого объяснения, ведя ее неизвестно куда, снова внушило подозрение. Ребенок... это ведь шестнадцатилетний ребенок... но вот уже и гумно, черная, покатая его земля, окруженная конюшней, овинами с рядком кленов у ограды, с торчащими дышлами возов около колодца... и ребенок, ребенок... но там, в колесном сарае, другой подрастающий ребенок, который, разговаривая с колесником, держит в руке железо, вокруг много досок, жерди и щепки, поблизости телега с мешками и запах мелкорубленной соломы. Мы подходим. По этому вздутому черному скату. Мы все втроем подошли и остановились.

Заходило солнце, и воцарился особый тип видимости, светлой, а в то же время темной, когда ствол, стык крыши, дыра в заборе равнодушно и отчетливо становились сами собой, явными в каждой своей детали. Черно-бурая земля гумна разлеглась до сараев. Он о чем-то вел разговор с колесником, неспешно, по-деревенски, с этой своей железкой, опершись о столб, поддерживающий крышу колесного сарая, и, хоть и перевел взгляд на нас, но разговора не прервал. Мы встали с Геней, и сразу эта встреча определилась в том смысле, что мы ее привели к нему, тем более, что все мы молчали. Даже более того, молчала Геня... и ее молчание высвобождало стыд. Он отложил железное колесо и подошел, но нельзя было понять, к кому он подходит - к нам или к Гене - и это создавало в нем какую-то двойственность, неуклюжесть, он мгно-

венно стал неясным, однако подошел к нам свободно и даже весело, молодо. Но из-за нашей общей неуклюжести молчание продлилось еще пару секунд... и этого оказалось достаточным, чтобы гнетущее и давящее отчаяние, тоска и все ностальгии Судьбы, Провидения заклебились над нами как в тяжелом, блуждающем сне...

Жалость, грусть, красота худенькой на нашем фоне фигуры - с чего они взялись, если не с того, что он не был мужчиной? Ведь мы ему привели Геню как женщину - мужчине, но он еще им не был... не был самцом. Не был господином. Не был властелином. И не мог обладать. Ничто не могло принадлежать ему, у него ни на что не было права, он был тем, кто должен был служить и подчиняться - его худоба и гибкость неожиданным образом усугубились на этом гумне рядом с досками, жердями; а она отвечала ему тем же самым: худобой и гибкостью. Они внезапно соединились, но не как мужчина и женщина, а в чем-то другом, в их совместной жертве, приносимой неизвестному Молоху, неспособные овладеть друг другом, но способные лишь жертвовать собой - и этот половой подбор между ними сделал крен в сторону какого-то другого подбора, в чем-то более ужасного, а в чем-то, возможно - и более прекрасного. Повторяю, что все это произошло за считанные секунды. А собственно говоря, ничего и не было: мы просто встали. Фридерик показал пальцем на его брюки, немного длинноватые и подметающие землю и сказал:

- Надо брючины подвернуть.
- Точно - согласился он. Нагнулся.
- Сейчас, минуточку, - сказал Фридерик.

Видно было, что ему нелегко сказать то, что он хочет. Он встал к ним как-то боком, посмотрел вдаль и приглушенным голосом, но очень четко, сказал:

- Нет, погоди, пусть она подвернет.
- И повторил: - Пусть она подвернет.

Это было нагло - было проникновением в них со взломом, признанием того, что он ожидает от них возбуждения, мол, сделайте это для меня, вы этим мне потрафите, я так этого хочу... Их вводили в пространство нашего вожделения, нашей грезы. Их тишина клокотала мгновенье. И в течение мгновенья я ждал результата этого стоящего в сторонке бесстыдства Фридерика. Все, что происходило потом, проскользнуло гладко, было послушным и

легким, столь “легким”, что приводило к головокружению, как от бесшумно разверзающейся пропасти на ровной дороге.

Она молча наклонилась и подвернула ему брючины, он не шелохнулся, и тишина их тел была абсолютной.

Поражало обнаженное пространство гумна, с торчащими дышлами телег с решетчатыми бортами, с треснувшим корытом, с недавно латаным сараем, светившим пятном в буром окружении земли и древесины.

Тут же Фридерик сказал: - Пошли! Мы направились к дому - он, Геня и я. Теперь это становилось и бесстыдно и явно. В результате такого возвращения наш приход в колесный сарай приобрел свой особый смысл: мы пришли для того, чтобы она подвернула ему брючины, а теперь мы - Фридерик, я, она - возвращались. Показались окна дома, два ряда окон, вверху, внизу, и крыльцо. Мы шли молча.

За спиной у нас послышалось, как кто-то бежал по газону, нас догнал Кароль и пошел рядом... Запыхался от бега, но уже прино- ровился к нашему шагу - и шел спокойно. Это жаркое вторжение в нас на бегу все лучилось энтузиазмом - что ж, значит, ему понравились наши игры, он присоединился - и моментальный пе- реход с бега на молчание нашего возвращения означало, что он понимает необходимость такта. А вокруг все явственнее становил- ся тот подрыв бытия, каким была приближавшаяся ночь. Мы дви- гались в сумерках - Фридерик, я, Геня, Кароль - как какая-то странная эротическая комбинация, какой-то жуткий чувственный четырехугольник.

5

- Как все это было? - рассуждал я, лежа на расстеленном на траве пледе, лицом к влажному холоду земли. - И что, собственно, произошло? Значит так, она подвернула ему брюки, а сделала это, потому что в принципе могла это сделать, наверняка, ничего тако- го, обычная услуга... но ведь знала, что делает. И знала, что делает - для Фридерика, для его удовольствия, значит, она соглашалась, чтобы он получал от нее удовольствие... От нее, вернее, не от нее самой... а от нее с ним, с Каролем... Ах, вот как! Значит ей было известно, что вдвоем они могут возбуждать, соблазнять... по край-

ней мере Фридерика... и Кароль тоже знал, ведь он принял участие в этой игре... Но тогда они не были так наивны, как могло бы показаться. Про себя они знали, что аппетитны! И могли иметь опыт в таких делах, несмотря на свою - что поделаешь - неумную молодость, поскольку молодость лучше, чем пожилой возраст, разбирается в этом, а они как раз были специалистами по стихии, в которой пребывали, обладали преимуществом на своей территории юного тела, юной крови. Но в таком случае почему в непосредственных отношениях друг с другом они вели себя как дети? Невинно? Если не были невинными по отношению к третьему?! Если по отношению к третьему они были столь изощренными! А что меня беспокоило больше всего, так это то, что третьим был не кто иной, как Фридерик, он, такой осторожный, такой сдержанный! А тут вдруг шествие через парк, напрямик, как вызов, как начало операции - шествие с девушкой к парню! Что это было? Чем это могло быть? И не я ли все это спровоцировал - подсматривая за ним, я выявил его тайную страсть, он сам и все его тайны были замечены - и теперь зверь его тайной мечты, выпущенный из клетки, соединился с моим зверем, начал рыскать! И так получилось, что мы вчетвером стали сообщниками *de facto*, молча, в неизвестном деле, где любое объяснение нельзя было бы проглотить из-за того, что стыд сдавливал горло.

В брюках, под юбкой, четыре колена, (молодых), ее-его колени... После обеда появился обещанный позавчера Вацлав. Видный мужчина! Еще бы: высокий и элегантный господин! Наделенный довольно заметным носом, но тонким, с подвижными ноздрями, глазами-маслинами и густым грудным голосом, а подстриженный усик нежилась под этим чутким носом и над полной пунцовой губой. Тот тип мужской красоты, который нравится женщинам... поскольку они восхищаются как внешней статью, так и аристократической утонченностью деталей, например, нервными руками с длинными пальцами и тщательно обработанными ноготками. Ну кто, скажите, мог засомневаться в его породистой ноге, с высоким подъемом, в желтом облегающем ботиночке, ну а в его ушах - складненьких и небольших? Разве не были интересны и даже прелестны эти залысинки, делавшие его вид еще более интеллектуальным? А белизна кожи, разве это не белизна трубадура? Несомненно, эффектный господин! Неотразимый адвокат-победитель!

Изысканный юрист! Я физически возненавидел его с первой же минуты ненавистью, смешанной с отвращением, захваченной врасплох собственной внезапностью и сознающей свою несправедливость - ведь он был полон шарма, был *comme il faut*. Однако неразумно и несправедливо цепляться за такие мелкие несовершенства, как, скажем, некоторая припухлость и закругленность, слегка проступающая на щеках и ладонях, блуждающая в области живота - ведь и это было пикантным. А может, меня раздражала чрезмерная и сладострастная изощренность частей тела, губы - слишком пригодные для смакования, нос - слишком тонкий для обоняния, пальцы - слишком способные в осязании - вот ведь что делало его героем-любовником! Не исключено, что меня обескураживала невозможность обнажить его - поскольку это тело требовало воротничка, запонок, носового платка, даже шляпы, было телом в ботиночках, обязательно требующим галантерейных дополнений туалета... но кто знает, не коробило ли меня больше всего проявление кое-каких недостатков, как, например, намечавшаяся лысина, или падкость на атрибуты изящества и шика. Телесность обычного хама имеет то громадное преимущество, что хам не обращает на нее никакого внимания, вследствие чего она не колет глаза, даже если она и противоречит эстетике, но когда мужчина следит за собой, пестует плоть, подчеркивает ее и копается в ней, носится с нею, тогда каждый дефект приобретает убийственную силу. Однако, откуда во мне такая чувствительность к телу? Откуда эта страсть стыдливого и неприязненного подглядывания как бы из-за угла?

Несмотря ни на что я должен был признать, что приезжий ведет себя неглупо и даже весьма достойно. Не чванится, говорит немного и не слишком громко. Весьма обходителен. А обходительность и скромность были как следствием его прекрасного воспитания, так и врожденными чертами его неповерхностной натуры, которая отражалась во взгляде и, казалось, возвещала: я тебя уважаю, и ты меня уважай. Нет, он вовсе не был самовлюблен. Он знал свои недостатки и наверняка хотел стать другим - но он самым культурным и разумным образом, достойно был собой, и получалось так, что мягкий и нежный на вид, по сути своей он был неуступчивым, и даже ожесточенным. А вся его телесная культура шла отнюдь не от слабости, а была выражением некоего принципа и вероятнее

всего - принципа морального, который он рассматривал в качестве своей обязанности по отношению к другим, но в то же время это было отражением некой породы, стиля, причем отражением очень ярким, весьма определенным. Он, видимо, стоял на страже таких своих принципов, как утонченность, предупредительность, деликатность, и защищал их тем сильнее, чем больше история восставала против них. Его прибытие вызвало ряд изменений в нашем мире. Иполит, похоже, вошел в колею, перестал бормотать и расстался с горькими мыслями, как будто ему позволили достать из шкафа свои давно ненадеванные костюмы, и он щеголял в них с наслаждением - громогласный, радостно-гостеприимный, истый провинциальный шляхтич. - Ну, как там? Что там? Водка согревает, водка охлаждает, водка никогда не помешает! Хозяйка тоже затанцевала в своих полувоздушных сетованиях и, беспрестанно перебирая пальчиками, раскинула шаль своего гостеприимства.

На почтение Вацлава Фридерик ответил глубочайшим почтением: жестом пригласил его пройти, и лишь когда тот слегка кивнул головой, вошел первым, но сделал это так, как будто это он оказывал одолжение, уступая чужому желанию - Версаль да и только. После начался настоящий конкурс обходительности, однако, интересное дело, каждый из них делал одолжение в первую очередь себе, а не своему визави. С первых слов Вацлав сообразил, что имеет дело с человеком неординарным, но он был слишком светским, чтобы подчеркивать это - зато то достоинство, которое он приписывал Фридерiku, стимулирующе повлияло на его чувство собственного достоинства, он захотел быть а *la hauteur* и вел себя чрезвычайно осмотрительно. Фридерик, впитывая с необычайной поспешностью этот аристократический дух, тоже стал держать себя гордо - время от времени пускался в разговоры, но делал это так, как будто его молчание могло бы оказаться для всех незаслуженной катастрофой. И тогда его вечная боязнь повести себя неправильно вдруг обернулась в нем чувством превосходства и гордости! А что касается Гени (которая, собственно говоря, и была предметом визита) и Кароля, то с них моментально сошла всякая степенность. Она уселась на стуле под окном и сделалась скромной барышней, а он выглядел как брат, присутствующий на сватанье к сестре, и все украдкой поглядывал на руки: не грязные ли.

Ах, что это был за вечер! На столе появились пирожные и

варенье! Потом мы вышли в сад, где царствовал наполненный светом покой. Впереди шли молодые, - Вацлав и Геня. Мы, постарше, сзади, чтоб не мешать... Иполит и пани Мария, немного взволнованные, слегка игривые, а рядом - я с Фридериком, который рассказывал о Венеции.

Вацлав ее все о чем-то спрашивал, что-то ей объяснял, она же, приветливо и внимательно склонив к нему голову, помахивала травинкой.

Кароль шел сбоку по траве, как брат, которому наскучило сватовство к сестре и которому нечем было заняться.

- Прогуливаемся, как до войны... - сказал я пани Марии, а она затрепетала пальцами. Мы приближались к пруду.

Шатание Кароля становилось все сильнее в своей беспредметности, увеличивало амплитуду, и было видно, что он не знает, чем заняться, его движения как бы сдерживались в скованном скукой нетерпенье - и вместе с тем, постепенно все, что Геня говорила Вацлаву, начинало *быть* для Кароля, хоть слова до нас не доходили - весь способ ее существования снова неуловимо связался с (мальчиком) за ее спиной, сзади, потому что она не оборачивалась, не знала даже, что Кароль сопровождает нас. И этот разговор - уже почти что обрученных - ее и Вацлава, подвергался под действиями плетущегося за ней (мальчика) резкому обесценению, да и сама она начинала отсвечивать каким-то превратным смыслом. Влюбленный юрист склонил к ней ветку шиповника, чтоб она могла сама сорвать цветок, и была она в эту минуту очаровательна и, может, взволнована - но ее волнение не кончалось на Вацлаве, а тянулось к Каролю и там становилось тупо-молодым, шестнадцатилетним, легкомысленно-глупым и распутным... то есть было принижением чувства, лишением его веса, переделкой на более низкий, худший манер, реализующийся где-то внизу, там, где была она - шестнадцатилетняя с семнадцатилетним - в их общем несовершенстве, в их молодости. Мы подошли к кусту орешника над прудом, и тут показалась баба.

Она стирала белье в пруду, а завидя нас, встала столбом и вытаращила на нас маленькие глазенки - баба в годах, коренастая и грудастая неряха, довольно противная, прогоркло-жирная и грязно-старая, с деревянной стиральной доской в руках.

Кароль отделился от нас, подошел к бабе так, как будто что-то

собирался ей сказать. И вдруг ни с того ни с сего задрал ей юбку. Засветилась белизна ее живота и черное пятно волос! Она вскрикнула. Подросток присовокупил неприличный жест и отскочил - вернулся к нам как ни в чем не бывало, а взбешенная баба бросила ему вслед какое-то ругательство.

Мы как в рот воды набрали. Слишком уж неожиданным и слишком вопиющим было то свинство, которое набросилось на нас грубо, враскорячку... а Кароль, невозмутимо бесшабашный, снова шел с нами. Пара Вацлав-Геня погрузилась в разговор и пропала за поворотом - может, они ничего и не заметили, а мы - Иполит, немного напуганная пани Мария, Фридерик - за ними... Что это? Что это? Что случилось? Мое потрясение было вызвано не тем, что он устроил выходку - а тем, что выходка, хоть и была столь грубой, но сразу оказалась - пусть в другой тональности, в другом измерении - чем-то таким, естественнее чего в мире не бывает... и Кароль шел сейчас с нами, полон странного очарования подростка, бросающегося на старых баб, с очарованием, природы которого я не понимал и которое росло в моих глазах. Как могло это свинство с бабой одарить его великолепием такого шарма? Он источал непостижимое обаяние, а Фридерик положил руку мне на плечо и пробурчал еле слышно:

- Ну-у!

И тут же скруглил невольно вырвавшееся словечко в предложение, которое проговорил громко и не без наигранности:

- Ну-ну, что нового, любезный пан Витольд?

А я ответил:

- Ничего, ничего, пан Фридерик.

Пани Мария обернулась к нам:

- Позвольте, я покажу вам замечательный экземпляр американской туи. Сама высаживала.

Главное было не мешать Гене и Вацлаву. Мы осматривали тую, когда показался бегущий со стороны гумна, делавший знаки конюх. Иполит востепенулся - что такое - немцы приехали из Опатова - действительно, перед конюшней были видны люди, и, близкий к апоплексическому удару, он бросился бежать, за ним - жена, за ними - Фридерик, который, возможно, думал, что сможет пригодиться с его хорошим знанием немецкого. Что касается меня, то я предпочитал, насколько это возможно, при сем не присутст-

воват, меня охватила усталость от одной лишь мысли о немцах, неизбежных, гнетущих. Какой кошмар... Я возвратился в дом.

Дом пустой, комнаты анфиладой, мебель, еще сильнее давшая о себе знать в пустоте, я ждал... результата немецкого приезда, мрачно протекавшего на фоне конюшни... но мое ожидание постепенно превратилось в ожидание исчезнувших за поворотом Гени с Вацлавом, и тут, в этом пустом доме, в моем мозгу взорвался Фридерик. Где он был? Что делал? Вроде, был с немцами. Он точно был с немцами? А если и следовало его искать в другом месте, то только на пруду, там, где мы оставили нашу девушку... он был там! Он должен был быть там! Вернулся туда, чтобы подглядывать. Но в таком случае, что он видел? Я возревновал ко всему тому, что он мог там увидеть. Пустота дома гнала меня прочь, и я выбежал, выбежал как бы к конюшне, где были немцы, но побежал к пруду через заросли, вдоль канавы, в которую с омерзительным жирным плеском прыгали лягушки, и, обежав пруд, я увидел их - Вацлава и Геню - на скамеечке там, где кончался сад, где начинались луга. Уже стемнело, уже было почти совсем темно. И влажно. Где Фридерик? Ведь не могло же его тут не быть - и я не ошибся - там, среди ив, в глубине, незаметный, стоял он на посту под кустами и всматривался. Я ни секунды не колебался. Тихонько пробрался к нему - и встал рядом, он не шелохнулся, я замер - а моя заявка на роль зрителя была декларацией, что в моем лице он имеет сообщника! На скамейке виднелись их силуэты, они наверное шептались - не было слышно.

Это было предательством, подлым предательством с ее стороны: она прижималась к адвокату, тогда как (мальчик), которому она должна быть верна, был выброшен за ее пределы... и это меня угнетало, как будто рухнула последняя возможность красоты в моем мире, охваченном распадом, умиранием, страданием, бесчестием. Какая подлость! Обнимал ли он ее? Или держал за руки? Его ладони: сколь отвратительным и ненавистным было это место для ее рук! Затем я почувствовал, как это иногда бывает в сновидениях, что я на пороге какого-то открытия, и, оглядевшись, я заметил нечто... нечто потрясшее меня.

Фридерик был не один: рядом с ним, в нескольких шагах, с головой зарывшись в листву, стоял Кароль.

Кароль здесь? Рядом с Фридериком? Но каким чудом привел

его сюда Фридерик? Под каким предлогом? Тем не менее, он был здесь, и я понимал, что он здесь ради Фридерика, а не ради нее - он пришел, заинтересовавшись не тем, что происходило на лавке, он пришел сюда, привлеченный присутствием Фридерика. Воистину, это было столь же туманно, сколь и тонко, и я не знаю, сумею ли объяснить... У меня было такое впечатление, что как будто (мальчик) явился без спросу лишь затем, чтобы сильнее распалиться... чтоб сильнее взыграло... чтоб нам стало еще больней. Вероятно, когда пожилой мужчина, задетый изменой этой молодки, встал и устался, то этот, молодой, бесшумно вынырнул из чаши и безмолвно встал рядом. Это было дико и смело! Но сгущались сумерки - ведь нас почти не было видно, и еще тишина - ведь никто из нас не мог заговорить. Поэтому явность факта тонула в небытии ночи и молчания. Нужно еще добавить, что легкость (мальчика) сглаживала, делала почти невинными его действия, худоба снимала с него вину, и будучи (по-молодому) симпатичным, он, собственно говоря, мог присоединиться к каждому... (когда-нибудь я поясню смысл этих скобок)... Он ушел так же легко и внезапно, как и появился.

Но его легкое к нам присоединение по-новому высвечивало картину на скамейке: теперь она пронзала нас как кинжал. О, эта бешеная, эта неслыханная смычка (мальчика) с нами, в то время, пока (девушка) изменяла ему! Ситуации в жизни - это шифр! Соотношение людей и вообще явлений порой бывает непостижимым. Но здесь... оно было поразительно красноречивым, хотя полностью понять его, расшифровать не удавалось. Во всяком случае, мир забурлил в каком-то весьма странном смысле. В это время со стороны конюшни грянул выстрел. Мы все вместе побежали напрямик, и уж было все равно - кто с кем. Вацлав мчался рядом со мной, Геня - с Фридериком. Фридерик, становившийся в критические моменты изобретательным и предприимчивым, свернул за сарай, и мы - за ним. Посмотрели: ничего страшного. Немец под мухой забавлялся стрельбой из двустволки по голубям. Потом они уселись в машину, замахали руками на прощанье, и отъехали. Иполит зло посмотрел на нас:

- Оставьте меня.

Этот взгляд вылез из него, как из окна, но он тут же захлопнул в себе все окна и двери. Пошел в дом.

Вечером, за ужином, красный и расчувствовавшийся, он налил водки.

- Ну так что? Выпьем за здоровье Вацек и Гени. Уже сговорились.

Мы с Фридериком поздравили будущих супругов.

6

Алкоголь. Шнапс. Упоительное приключение. Приключение как рюмка вина - и еще рюмка - но это пьянство было скользким, ежеминутно грозившим падением в грязь, в порок, в чувственную трясиину. Но как не выпить? Ведь питье стало нашей гигиеной, каждый одурманивал себя, чем мог, как мог - ну и я тоже - и лишь пытался спасти остатки своего достоинства, сохраняя в пьянстве мину исследователя, который, несмотря ни на что, ведет наблюдение - который и пьет-то, чтоб только следить. Вот я и следил.

Жених покинул нас после завтрака. Однако мы решили, что послезавтра всем домом поедem в Руду.

Потом к крыльцу подкатил Кароль на бричке. Он должен был ехать в Островец за керосином. Я напросился к нему в попутчики.

Открыл было рот и Фридерик, чтобы попроситься третьим - как вдруг он попал в одно из своих неожиданных затруднений... никогда не было известно, в какой момент это произойдет. Он уже открывал рот, но закрыл и опять открыл - так и остался, бледный, в клещах своей мучительной игры, а между тем бричка с Каролем и со мной отъехала.

Вихляющие конские крупы, песчаная дорога, простор пейзажей, медленное кружение уходящих друг за друга пригорков. Утро, простор, я с ним, я рядом - оба вынырнули из оврага Повурной, мы как на ладони и моя с ним непристойность, выставленная на острие дальнего обозрения.

Я начал так: - Ну, Кароль, что это ты, вчера, с той бабой устроил, у пруда?

Спросил слегка недоверчиво, чтобы лучше разобраться в характере собственного вопроса.

- А что?

- Ведь все видели.

Начало было не слишком определенным, но для затравки

годились. На всякий случай он рассмеялся, а для того, чтобы сделать разговор более легким, безразлично сказал: - Подумаешь, - и махнул кнутом... Тогда я выразил удивление: - Была бы еще что надо! А то - фефела дальше некуда и старуха к тому же! Он все не отвечал, и тогда я вновь нажал: - Ты что ж, со старыми бабами водишься?

Он нехотя вытянул кнутом куст, и это как будто подсказало ему правильный ответ: он хлестнул по коням, а те - рванули бричку. Такой ответ был мне понятен, хотя его и невозможно выразить словами. Какое-то время мы ехали живо. Потом кони сбавили ход, а когда сбавили, он блеснул белозубой улыбкой и сказал:

- Какая разница, старая - молодая?

И рассмеялся.

Меня это обеспокоило. Как будто по мне прошел легкий озноб. Я сидел рядом с ним. Что это значило? Прежде всего в глаза бросалось непомерное значение его зубов, которые так и играли в нем, были его внутренней, очищающей белизной - да, зубы были важнее того, что он говорил - казалось, он говорил ради зубов, по причине их наличия - он мог говорить все что угодно, поскольку говорил для удовольствия, говоренье было для него игрой и наслаждением, он знал, что даже самая отвратительная мерзость будет прощена его смеющимся зубам. Кто же сидел рядом со мной? Неужели такой же, как и я? Да полно, это было по сути своей совершенно иное существо, очаровательное, родом из цветущего края, полное благодати, переходящей в красоту. Принц и прелесть. Однако, почему же принц бросался на старых баб? Вот в чем вопрос. И почему его это радовало? Его радовало собственное вожделение? Его радовало, что будучи принцем, он испытывал в то же время сильный голод, повелевавший ему возжелать пусть даже самую некрасивую, но женщину - это что ли радовало его? А красота (та, что была связана с Геней) настолько не ценилась, что ему было почти что все равно, чем удовлетвориться, с кем спутаться? И вот здесь рождалась некая темнота. Мы съехали с пригорка в грохолицкий овраг. Я для себя открывал в нем некое совершаемое с удовольствием святотатство, и знал, что оно безразлично для души, хотя, конечно, по сути своей шло от отчаяния.

(Возможно, однако, я предавался подобным спекуляциям

лишь затем, чтобы во время возлияния сохранять вид исследователя).

А может он задрал той бабе юбку, чтобы показать себя воином? Разве это было не по-солдатски?

Я продолжил разговор (сменив для приличия тему - надо было следить за собой): - А с отцом из-за чего воюешь? - Он опешил, заколебался, но тут же сообразил, что я мог все узнать от Иполита. Ответил.

- Потому что он маму преследует. Не дает ей, стерва, жить. Кабы не был моим отцом, я бы тогда его...

Ответ прекрасно уравновешен - мог признаться в том, что любит мать, потому что в то же время признавался, что ненавидит отца, это его берегло от сентиментальности - но, желая припереть его к стене, я его спросил в лоб: - Очень любишь мать?

- Конечно! Ведь мать...

Что означало, что здесь нет ничего особенного, потому что обычно сын любит мать. Но все же странная ситуация. Если приглядеться к ней попристальнее, то нельзя не удивиться: только что он был чистой анархией, бросался на старую бабу, а теперь сделался благопристойным и верным закону сыновней любви. Что же он тогда исповедовал, анархию или закон? Но если так послушно он следовал обычаю, то ведь не для того, чтобы прибавить себе значимости, а совсем наоборот - чтобы принизить свою значимость, представить свою любовь к матери как нечто обыденное и незначительное. Почему он постоянно принижал свое значение? Эта мысль была удивительно притягательна - почему он принижал свое значение? Эта мысль была истинным дурманом - почему любая мысль, с ним связанная, должна всегда быть притягивающей или отталкивающей, всегда страстной и динамичной? Теперь мы ехали в гору, за Грохолицами, слева были желтые земляные валы с выкопанными в них картофельными погребками. Кони шли шагом - и тишина. Вдруг Кароль разговорился: - Вы не могли бы найти для меня в Варшаве какую-нибудь работу? Может, в нелегальной торговле? Я тогда бы смог и маме немного помочь, если бы зарабатывал, ей на лечение надо, а так только отец брюзжит, что я не работаю. Мне уж обрыдло! - Он разговорился, потому что речь зашла о делах практических и материальных, здесь он мог говорить, и много; естественно было также и то, что с ними он обраща-

ется ко мне - и все-таки, было ли это таким естественным? Не было ли то лишь предлогом, чтобы “договориться” со мной, старшим, сблизиться со мной? Воистину, в такое трудное время мальчик должен завоевать расположение старших, более сильных, а этого можно достичь только личным обаянием... но кокетство мальчика гораздо более сложно, чем кокетство девушки, которой на помощь приходит ее пол... значит, наверняка был такой расчет, ну да, бессознательный, невинный: он непосредственно обращался ко мне за помощью, но на самом деле его интересовала вовсе не работа в Варшаве, а лишь то, чтобы поставить себя в роль опекаемого, чтобы пробить лед... а остальное само приложится... Пробить лед? Но в каком смысле? И что это за “остальное”? Я лишь знал, вернее, подозревал, что это попытка со стороны его мальчишества войти в соприкосновение с моей взрослостью, впрочем, я знал, что он не побрезгует и что его голод, его вожделие сделают его доступным... Я онемел, почувствовав его скрытое стремление сблизиться... как будто вся его страна должна была напасть на меня. Не знаю, достаточно ли ясно я выражаюсь. Общение мужчины с мальчиком происходит как правило в области вопросов техники, помощи, совместной работы, но когда оно становится непосредственным, то обнаруживается его невиданная непристойность. Я почувствовал, что это существо хочет завоевать меня молодостью, и выглядело это так, что как будто я, взрослый, подвергся неминуемой компрометации.

Но слово “молодость” было для него запретно - употреблять его было неприлично.

Мы въехали в гору, и появилась неизменная картина земли, округленной пригорками и вздутой своими невидимыми волнами, в косых лучах, то здесь, то там вырывававшихся из под облаков.

- Сиди лучше здесь, с родителями... - Мои слова прозвучали категорично, поскольку я говорил как старший - и именно это позволило мне спросить просто так, как бы продолжая диалог: - Тебе нравится Геня?

Как легко прозвучал труднейший вопрос, так же легко он ответил: - Конечно, нравится.

Он заговорил, указывая кнутом: - Вы видите те кусты? Так вот, это вовсе не кусты, а верхушки деревьев, растущих в овраге, который тянется из Лисин и соединяется с бодзеховским лесом. Там

иногда банды скрываются... Он сделал доверительную, мину, мы поехали дальше, проехали придорожного Христа, а я так ловко вернулся к теме, как будто вообще от нее не отходил... неожиданное спокойствие, причин которого я не знаю, позволило мне пре небречь ушедшим временем.

- Но ты не влюблен в нее?

Этот вопрос был гораздо более рискованным - это было уже попаданием в самую суть - он своей настойчивостью мог выдать мои темные позывы, мои и Фридерика, зачатые у их ног, у их ног, у их ног... я чувствовал себя так, как будто трогал спящего тигра. Немотивированный страх. - Не-е-е... ведь мы с детства знакомы!... но как сказано: без тени *aggrège pensée*... хотя можно было ожидать, что недавний случай перед колесным сараем, когда все мы стали тайными сообщниками, несколько затруднит ему ответ.

Но ничего подобного! Очевидно, то существовало для него в ином разрезе - и он сейчас, со мной, был вне связи с тем - а его столь протяжное "не-е-е" имело привкус каприза и легкомысленности, даже озорства. Он сплюнул. Плевком он еще сильнее подчеркнул в себе озорника, рассмеялся; смех обезоруживал его, лишал возможности отреагировать иначе: он посмотрел на меня искоса, с хитрецой:

- Я бы лучше с пани Марией!

Нет! Это не могло быть правдой! Пани Мария с ее слезливой худобой! Но к чему тогда эти слова? Может потому, что он задрал юбку старой бабе? А на кой было задирать юбку, что за абсурд, мучительная загадка? Однако, я знал (и это был один из канонв моего литературного знания о людях), что человек иногда делает такое, что с виду может показаться совершенно бессмысленным, но человеку эти действия нужны лишь затем, что они определяют его - чтоб далеко не ходить за примером: кто-то способен на совершенно бессмысленное буйство, только чтобы не чувствовать себя трусом. А кто больше, чем молодежь, нуждается в таком самоопределении?... Кроме того, я был более чем уверен, что большинство действий и высказываний подростка, сидевшего рядом со мной с вожжами и кнутом, были именно теми действиями, которые он "производил над самим собой" - и даже можно было допустить, что наш - мой и Фридерика - тайный и восхищенный взгляд воодушевлял его на эту игру с собой в еще большей степени, чем он об этом

догадывался. Ну хорошо: прогуливался вчера с нами, шел, скучал, от нечего делать задрал бабе юбку, чтоб немного схохмить, а захотелось ему сделать это может быть затем, чтоб из желанного стать страстно желающим. Мальчишеская эквилибристика. Хорошо. Но теперь, зачем он снова вернулся к той теме, признаваясь, что “ему бы лучше” с пани Марией, не скрывалось ли здесь какое-то агрессивное на этот раз желание?

- Думаешь, я так тебе и поверил? - сказал я. - Что ты пани Марию предпочитаешь Гене? Что за чушь ты несешь! - На что он ответил твердо и ясно: - А вот предпочитаю.

Бессмыслица и ложь! Но зачем, с какой целью? Мы подъезжали к Бодзехову, уж были видны вдаль большие печи островцевого завода. Зачем, зачем он так защищался от Гени, не хотел Гени? Я знал и не знал, понимал и не понимал. Неужели и вправду его молодость предпочитала старших? Хотел ли он быть “со старшими”? Что это за мысль, на что нацелена - ее необычность, возбуждающая острота, ее драматизм сразу же навели меня на этот след - потому что, находясь в его царстве, я руководствовался страстями. Неужели этот щенок захотел порыскать, попасть в нашей зрелости? Действительно - что может быть привычнее: мальчик влюбляется в хорошенькую девушку и все развивается по линии естественного притяжения, но, возможно, ему требуется еще что-то... нечто более просторное, более смелое... он хотел быть не только “мальчиком с девушкой”, но еще и “мальчиком со взрослыми”, мальчиком, который вламывается во взрослость... что за темная, извращенная мысль! Но ведь у него за плечами был опыт войны и анархии, я не знал его, не мог знать; неизвестно, что и как его формировало, он был таким же таинственным, как и этот пейзаж - известный и неизвестный - и в одном только я мог быть уверен: этот поганец давно уже вышел из пеленок. Чтобы войти - но куда? Это-то как раз и неизвестно: не было ясно, кого и что он любил, может он хотел поиграть не с Геней, а с нами, и поэтому все время намекал, что возраст не помеха... Как это? Как это? Ну да, скучал, хотел поиграть, поиграть во что-то такое, чего он еще не знал, о чем, собственно говоря, даже и не думал, от скуки, походя и без усилий... с нами, а не с Геней - потому что мы в нашей уродливости могли завести его дальше, мы были более свободны - в отношении чего (имея в виду то, что произошло перед колесным



сараем), как он мне сообщил, он не испытывал отвращения... Хватит. Мне делалось гадко от одной только мысли, что его красота ищет моего уродства. Я сменил тему.

- В костел ходишь? В Бога веришь?

Вопрос, взывающий к смелости, вопрос, предохраняющий от его предательской легкости.

- В Бога? Это чего ксендзы говорят, так...

- Но в Бога-то веришь?

- Конечно. Только...

- Что только?

Он замолчал.

Я должен был спросить: - Ходишь в костел? - а вместо этого спросил: - По женщинам ходишь?

- Как придется.

- Успехом у женщин пользуешься?

Он рассмеялся.

- Нет. Куда там! Я еще слишком молодой.

Слишком молодой. Это имело уничижительный смысл - поэтому на сей раз он свободно мог употребить слово "молодость". Но для меня, для которого Бог неожиданно смешался с этим мальчиком и женщинами в каком-то гротескном и почти пьяном *qui pro quo*, это его "слишком молодой" прозвучало странно, настораживающе. Да, еще слишком молодой, как для женщин, так и для Бога, молодой для всего - и было неважно, верует он или нет, пользуется успехом у женщин или нет, потому что он вообще был "слишком молодым", и ни одно его чувство не могло иметь значения - он был несовершенный, был "слишком молодой". Он был "слишком молодым" и для Гени и для всего, что между ними рождалось, был он "слишком молодым" и для нас с Фридериком... Чем же была эта худая незрелость? Ведь он ничего не значил! Как же я, взрослый, мог всю мою серьезность вкладывать в его несерьезность, с дрожью прислушиваться к кому-то несолидному? Я огляделся. Отсюда, с высоты, уж было видать Каменную, и даже долетал едва слышный шум приближавшегося к Бодзехову поезда, перед нами была вся речная пойма и шоссе - а налево и направо - заплатки желто-зеленых полей, и насколько хватает взора - сонная извечность, но заткнутая кляпом, задушенная, взятая за морду. Станный дух беззакония проникал все, а в этом беззаконии - я с этим мальчи-

ком, “слишком молодым”, слишком легким, слишком легкомысленным, неполнота и несовершенство которого становились в этих условиях какой-то стихийной мощью. Как защищаться от него, если ничто не давало опоры?

Мы выехали на шоссе и бричка затряслась на выбоинах, лязгали железные обода колес, стали появляться люди, мы проезжали мимо них, они шли по тропке, один в фуражке, другой в шляпе, дальше - воз с узлами, со всем чьим-то скарбом - полз вслед за ними, а дальше какая-то женщина задержала нас, став посреди шоссе, а когда она подошла, то под платком, какой обычно носят бабы, я увидел довольно тонкое лицо, из-под укороченной черной шелковой юбки виднелись громадные - из-за мужских сапог - ноги, глубокое, бальное или вечернее, элегантно декольте, а в руках - что-то завернутое в газету - она замахала свертком - хотела что-то сказать, но сжала губы, снова хотела заговорить, но махнула рукой, отпрянула и встала на дороге, мы проехали мимо. Кароль рассмеялся. Наконец мы, ужасно гремя и подскакивая на булыжниках, от чего аж щеки тряслись, добрались до Островца, миновали немецкие посты перед фабрикой; городок был все тем же, что и раньше, совершенно тем же, эти нагромождения и трубы больших фабричных печей, фабричная стена, потом - мост на Каменной и железнодорожное полотно и главная улица, ведущая на рыночную площадь, на углу кафе Малиновского. Разве что чувствовалась какая-то пустота, а точнее - не было видно евреев. А в общем, на улицах было довольно многолюдно, движение кое-где даже оживленное; там баба выбрасывает мусор за порог, здесь кто-то идет с толстой веревкой под мышкой, перед продуктовым магазином скопление, а мальчишка камнем метит в сидящего на трубе воровья. Мы купили керосину, сделали еще несколько дел и как можно быстрее покинули этот странный Островец, и перевели дух только тогда, когда бричку снова приняла на свое мягкое лоно земля обычной грунтовой дороги. Но что делал Фридерик? Чем занимался там, предоставленный сам себе? Спал? Сидел? Ходил? Я ведь знал его скрупулезную корректность, я знал, что если он сидит, то с соблюдением всех правил предосторожности, но несмотря на это, все-таки меня мучило то, что я не знаю, чем конкретно он был занят. Когда по приезде в Повурную мы с Каролем присоединились к запоздавшему обеду, его не было, а пани Мария

сказала нам, что он рыхлит землю на огороде... Что? Он делает грядки? - Я боюсь, что... ему вероятно скучно у нас, - прибавила она не без огорчения, как будто речь шла о госте с довоенного времени, пришел и Иполит, чтобы мне сообщить:

- Твой приятель на огороде... рыхлит, понял.

Он был застенчив, несчастен и беспомощен, и что-то в его голосе говорило, что этот человек становится ему в тягость. Я пошел к Фридрику. Завидев меня, он отложил тяпку и спросил со свойственной ему обходительностью, как удалась поездка... а затем, отведя взгляд в сторону, в осторожных словах выразил мысль о возвращении в Варшаву, потому что, в конце концов, здесь мы не очень-то и нужны, а так надолго оставлять нашу варшавскую торговлишку - хорошим не кончится, да, собственно говоря, и поездка наша не совсем продумана, так может лучше собрать манатки... Он прокладывал в себе дорогу для этого решения, постепенно делал его все более ощутимым, приучал к нему... меня, себя, стоящие вокруг деревья. Как считаешь? Потому что, с другой стороны, в деревне все равно лучше... но... можно ведь и завтра выехать? Неожиданно его вопросы зазвучали понуждающе, и я понял: из моего ответа он хотел узнать, успел ли я поговорить с Каролем; он догадывался, что я должен был его прошупать, а теперь ему надо было знать, осталась ли у него хоть тень надежды, что невесту Вацлава когда-нибудь обнимут мальчишеские руки Кароля! А мне вместе с тем он по секрету сообщал, что ничего из того, что ему известно, что он разузнал, не дает основания для таких иллюзий.

Трудно описать отвратительность этой сцены. Лицо пожилого человека сдерживается скрытым усилием воли, направленным на маскировку разложения, или по крайней мере, организацию его в симпатичное целое - на него же нашло разочарование, отказ от чар, от надежд, от страстей, и все морщины выползли на него и паслись, как черви на труп. Он был покорно подлым в том, что смирялся перед собственным бесчестьем - и так сильно заразил этим свинством меня, что во мне закопошились мои черви, повывлазили, облепили. Однако верхом мерзости было не это. Гротескный ужас вызывало прежде всего то, что мы походили на пару любовников, обманувшихся в своих чувствах и отвергнутых другой парой любовников, что нашей распаленности, нашей возбужденности не на что было направиться, и теперь она рыскала между

нами... и у нас ничего не оставалось, кроме нас же самих... и поэтому, испытывая отвращение друг к другу, мы, однако, держались друг друга в этой нашей возбужденной чувственности. Потому-то мы старались не смотреть друг на друга. Припекало солнце, из кустов доносился запах кантариды.

В конце концов я понял, каким ударом для него и для меня в тайном нашем собрании было не подлежащее более никакому сомнению равнодушие этих двух. Молодая - невеста Вацлава. Молодой - совершенно безразличен к этому. И все погружено в слепоту их молодости. Руины наших снов!

Я ответил Фридерiku в том смысле, что, может, действительно наше отсутствие в Варшаве нежелательно. Теперь мы находились под знаком бегства и, медленно идя аллеюкой, приучали себя к такому исходу.

Но за углом дома, на тропинке, ведущей в контору, мы наткнулись на них. Они о чем-то говорили. Она держала бутылку. Он - перед ней. Их детство, их абсолютное детство было очевидным, она - воспитанница пансиона, он - школьник и щенок.

Фридерик спросил их: - Что поделываем?

Она: - Пробка провалилась в бутылку.

Кароль, разглядывая бутылку на свет: - Проволокой вытяну.

Фридерик: - Это не так просто!

Она: - Может лучше поискать другую пробку.

Кароль: - Не бойсь... достану...

Фридерик: - Слишком узкое горло.

Кароль: - Как вошла, так и выйдет.

Она: - Или покрошится и хуже испортит сок.

Фридерик не ответил. Кароль глупо качался на ногах. Она стояла с бутылкой. Потом сказала:

- Поищу пробку наверху. В шкафу нет.

Кароль: - Я же говорю, достану.

Фридерик: - К этому горлышку непросто подобраться.

Она: - Ищите и обрящете!

Кароль: - Знаешь что? Из тех бутылок, что в шкафу...

Она: - Нет. Это лекарства.

Фридерик: - Можно вымыть.

Пролетела птица.

Фридерик: - Что за птица?

Кароль: - Иволга.

Фридерик: - Много их здесь?

Она: - Смотри, какой большой червяк.

Кароль все еще раскачивался на широко расставленных ногах, она подняла ногу, чтобы почесать щиколотку - а он, не отрывая каблука от земли, развернул носок ботинка и раздавил червя... только с одного конца, лишь настолько, насколько позволяла ему подошва, потому что ему не хотелось отрывать каблук от земли, остаток червячного тела начал вытягиваться и извиваться, а он стал с интересом наблюдать. Это было бы не важнее умирания мухи на липучке или ночной бабочки за стеклом лампы, если бы Фридерик не присосался к этому червю остекленевшим взглядом, выпивая до дна все его муки. Могло показаться, что он возмущается, но в действительности в нем не было ничего, кроме проникновения в пытку, кроме испития чаши до последней капли. Он это ловил, сосал, хватал, принимал и - одеревеневший, немой, стиснутый клещами боли - не мог пошевелиться. Кароль посмотрел на него исподлобья, и не стал добивать червя, ужас Фридерика был для него истерией...

Тогда появился туфель Гени, и она раздавила червя.

Но теперь - с другого конца, точнехонько оставляя среднюю часть, чтобы та продолжила извиваться и крутиться.

Все это - незначительно... как только может быть незначительным и мелким раздавленный червь.

Кароль: - Подо Львовом птиц больше, чем здесь.

Геня: - Мне надо чистить картошку.

Фридерик: - Не завидую... Скучное занятие.

Возвращаясь домой, мы еще немного поговорили, после чего Фридерик куда-то пропал, и хотя я не знал, где он, я знал, чем он занят. Его занимали мысли о том, что произошло, о легкомысленных ногах, соединившихся на дрожащем теле в совместно совершаемой жестокости. Жестокость? Разве это была жестокость? Скорее что-то мелкое, мелкое убийство червяка, так просто, от нечего делать, потому что сам подлез под ботинок - сколько же мы убиваем этих червей! Нет, не жестокость, скорее бездушность, которая детскими глазами смотрит на потешные предсмертные конвульсии, не чувствуя боли. Пустяк. Но для Фридерика? Для сознания, которое в состоянии понять? Для впечатлительности, которая в

состоянии вчувствоваться? Ведь не было же для него это действие громадой, леденящей кровь - ведь боль, муки, они столь же ужасны в теле червя, сколь и в теле гиганта, боль “едина”, как едино пространство, она не делится на части, везде, где она появляется, она та же самая, единая и неделимая, чудовищная. Поэтому для него это действие должно было быть воистину страшным, они вызвали мучения, причинили боль, подошвами своими превратили спокойное существование этого червя в существование адское - нельзя и представить себе худшего преступления, большего греха. Грех... Грех... Да, это был грех, но если и грех, то грех их общий - и эти ноги соединились друг с другом на дрожащем теле червя...

Я знал, о чем он думал, этот безумец! Безумец! Он думал о них - он думал, что они “для него” растоптали этого червя. “Не дай себя обмануть. Не верь, что у нас нет ничего общего... ведь ты видел: один из нас растоптал и другой растоптал... червяка. Мы сделали это для тебя. Чтобы соединиться в грехе - перед тобой и для тебя”.

Так в ту минуту должен был думать Фридерик. Однако, возможно, я подсовывал ему свою собственную мысль. Но кто знает, может, он в этот момент также подсовывал мне свою мысль... и обо мне он думал так же, как и я думал о нем... поэтому, возможно, что каждый из нас лелеял свою мысль, помещая ее в другом. Это меня развеселило, я рассмеялся - и подумал, что может и он рассмеялся...

“Мы сделали это для тебя, чтобы на твоих глазах соединиться в грехе”...

Если они действительно желали донести до нас легко растаптываемыми ногами это тайное содержание... если дело было в этом... но этого не надо было повторять два раза! Умный поймет с полуслова! Я снова улыбнулся от одной только мысли, что Фридерик может быть улыбается в эту минуту, и думает, что я про него думаю вот что: что из его головы выветрились тщательно подготовленные планы выезда, и что он, разъяренный, полный неожиданно разбухших надежд, снова, как гончая, вышел на след.

Надежды же - перспективы - открывались головокружительные, и заключались в одном словечке - “грех”. Если мальчику и девочке захотелось согрешить... друг с другом... но и с нами... Ах, я почти что видел Фридерика, как он где-то там, подперев голову руками, медитирует, что грех доходит до самой глубокой конфи-

денциальности, сплачивает не хуже жарких ласк, что личный, потаенный, стыдливый грех, являющийся общим секретом, столь же вводит в чужое существование, сколь физическая любовь - в тело. Если бы так было... но тогда бы это следовало из того, что он, Фридерик ("что он, Витольд," - думал Фридерик)... ну, в общем, что мы оба... не такие уж старые для них - то есть, что их молодость не так уж нам недоступна. Зачем нужен совместно совершаемый грех? Грех как будто создан для того, чтобы цветение мальчика и девочки нелегально повенчать с кем-нибудь... не столь привлекательным... с кем-то постарше и посерьезнее. Я снова улыбнулся. Они, в добродетели своей, были закрыты от нас, герметизированы. Но с нами они могли вывалиться в грехе... Вот о чем думал Фридерик! И я почти видел, как он с приложенным ко рту пальцем ищет грех, который свел бы его с ними в одну компанию, как он выискивает такой грех, или, скорее, может быть, думает, подозревает, что и я выискиваю такой же грех. Что же это за зеркальная система - он смотрится в меня, а я в него - и так, мечтая в отношении друг друга, мы доходили до таких задумок, которые ни один из нас не осмелился бы счесть своими.

На следующее утро нам предстояло ехать в Руду. Поездка стала предметом детального обсуждения - каких коней заложить, какой дорогой ехать, в какой повозке - и так случилось, что я поехал в одной бричке с Геней. А все потому, что Фридерик предпочитал самостоятельно не принимать решения: мы бросили монету, и судьба определила меня ей в попутчики. Просторное, потерянное утро, дальняя дорога по выпуклостям волнообразной почвы, в которой зарывались глубокие дороги с желтоватыми краями, убого расцвеченные кустом, деревом, коровой; а перед нами то показывалась, то исчезала повозка, которой правил Кароль. Она - в нарядной юбке, белой от пыли, в наброшенном на плечи пальто - невеста, едущая к жениху. Взбешенный этим, я после нескольких вступительных предложений сказал: - Поздравляю! Вы выходите замуж и заведете семью. Дети пойдут! - Она ответила:

- Дети пойдут.

Ответила, но как! Послушно - с готовностью - как ученица. Как будто отвечала урок. Как будто из-за собственных детей она сама стала послушным ребенком. Мы ехали. Перед нами конские хвосты и гривы. Да! Она хотела выйти за этого адвоката! Хотела иметь

с ним детей! И говорила об этом, в то время как впереди вырисовывался силуэт несовершеннолетнего любовника!

Мы проехали мимо кучи мусора, выброшенного на обочину дороги, и сразу же за ней - две акации.

- Вы любите Кароля?

- Конечно... ведь мы знакомы...

- Я знаю. С самого детства. Но я спрашиваю, Вы не испытываете по отношению к нему чувства?

- Я? Он мне очень нравится.

- Нравится? Всего лишь. Тогда зачем Вы с ним раздавили червя?

- Какого червя?

- А брючина? Брючина, которую Вы ему подвернули перед колесным сараем?

- Какая брючина? А, ну да, ведь она была слишком длинной. Что ж с того?

Ослепительно ровная стена лжи, произнесенной с чистым сердцем, лжи, которая ею не ощущалась как ложь. Но как я мог требовать от нее правду? Это сидящее рядом создание меньше, хрупче, менее явное, которое и женщиной-то не было, а лишь прологом к женщине, эта временность, существовавшая лишь для того, чтобы перестать быть тем, чем она была, переходность, убивавшая самое себя.

- Кароль в вас влюблен!

- Он? Да не влюблен он ни в меня, ни в какую другую... Ему одного только надо... Чтобы переспать... - И здесь она изрекла нечто такое, что доставило ей удовольствие, выразилась так: - Ведь это щенок и кроме того, знаете... нет, лучше не говорить! - Это, конечно, был намек на не слишком чистое прошлое Кароля, но несмотря ни на что, мне казалось, что я улавливаю и доброжелательную нотку - как будто здесь скрывался оттенок "органической" симпатии, отчасти приятельской, нет, в ее словах не было отвращения, скорее, сказанное было ей в какой-то мере приятно... и даже как-то фамильярно сказала... Выглядело так, что вроде невеста Вацлава резко осуждает Кароля, но в то же время соединяется с ним в бурной, общей для всех них, рожденных под знаком войны, судьбе. Я тут же ухватился за это, дернул за струну появившейся фамильярности, и обратился к ней небрежно и по-при-

ягельски, что, дескать, она также не одного знавала и наверняка не святая, ну вот и могла бы поэтому с ним переспать, почему бы нет? Она восприняла мои слова спокойно, значительно спокойнее, чем я ожидал, и даже можно сказать с определенной готовностью, удивительно покорно. Она сразу же согласилась со мной, что “естественно, могла бы”, тем более, что такое уже было с одним из АК, который ночевал у них дома в прошлом году. “Вы только ничего не говорите родителям”. Почему же девушка так легко посвящает меня в свои делишки? И притом сразу же после обручения с Вацлавом? Я спросил, не догадываются ли о чем родители (о связи с этим из АК), на что она сказала: - Догадываются, потому что даже застукали нас. Но, *конкретно*, не догадываются...

“Конкретно” - гениальное слово. С его помощью можно сказать все: гениально запутывающее слово. Теперь мы ехали дорогой на Бжустову, под липами - наполненная чистым светом тень, кони встают, шоры налезает им на хребты, под колесами шуршит песок.

- Хорошо! Вот именно! Так почему же? Если с тем из АК, то почему не с этим?

- Нет.

Ах, эта легкость, с которой женщины говорят “нет”. Эта способность отказывать. Это самое “нет” всегда у них в запасе, и когда они найдут его в себе, то становятся безжалостными. Разве что... она была влюблена в Вацлава? Неужели это было причиной ее сдержанности? Я сказал что-то вроде того, что, мол, для Вацлава было бы ударом, если бы он, столь уважающий ее и такой религиозный, принципиальный, узнал о ее “прошлом”. Я выразил надежду, что этого ему никогда не скажут, да, лучше, чтобы она его оберегала... его, который верит в их полное духовное взаимопонимание... Она меня обиженно прервала: - А Вы что же думаете, что у меня нет моральных принципов?

- У него католическая мораль.

- У меня тоже. Я ведь католичка.

- Так Вы, значит, и причащаетесь?

- А как же!

- А в Бога Вы верите? Так, буквально, по-католически?

- Если бы я не верила, то не ходила бы на исповедь и к причастию. Вы не думайте! Мне принципы моего будущего мужа очень

подходят. А его мать - это почти что моя мать. Сами увидите, что это за женщина! Для меня честь войти в такую семью. - И помолчав немного, добавила, охаживая коней вожжами: - По крайней мере, когда выйду за него, брошу гулять.

Песок. Дорога. Под гору.

К чему это? Вульгарность ее последних слов? “Брошу гулять”. Могла бы выразиться и поделикатней. Но отзвук той фразы имел двойной смысл... В ней крылась жажда чистоты, достоинства - и одновременно она была недостойной, унижающей самой своей формулировкой... и все-таки возбуждающей... возбуждающим меня... потому что это опять сближало ее с Каролом. И еще раз, как некогда с Каролом, меня охватило мимолетное разочарование - что от них ничего нельзя дознаться, потому что все, что они говорят, о чем думают, что чувствуют, является лишь игрой возбужденности, постоянным раздражением, разжиганием нарциссического наслаждения - и что они первые падут жертвой своего обольстительства. Эта девушка? Эта девушка, которая была не чем иным, как только приручением к себе, притяжением, одним большим обольщением, гибким, мягким, поглощающим кокетством - когда она так сидела рядом со мной, в своем пальтишке, сложив маленькие, слишком маленькие ручки. “Когда выйду за него, брошу гулять” - прозвучало строго и было актом повиновения - Вацлаву, из-за Вацлава - и представляло сколь фамильярное, столь же и соблазняющее признание собственной слабости. Она возбуждала даже своей добродетелью... но вдали перед нами повозка, ползущая на пригорок, и на козлах, рядом с возницей, Кароль... Кароль... Кароль... На козлах. На пригорке. Вдали. Не знаю, то ли то, что он показался “вдали”, то ли то, что он показался “на пригорке”... но в этой композиции, в этой “подаче” Кароля, в этом его появлении было что-то, бесившее меня, и взбешенный, указывая на него пальцем, я сказал:

- А червей-то Вы с ним любите давить!
- Да что Вам дался этот червь? Он наступил, ну я и придавила.
- Вам прекрасно было известно, что червяк мучается!
- Не пойму, чего Вы все...

Опять все было в неизвестности. Она сидела рядом со мной. У меня промелькнула мысль, что надо это бросать - выйти из игры... Мое положенис, сводившееся к купанию в их эротизме, было не-

выносимым! Я должен был как можно скорее заняться чем-то другим, более приличным - заняться более серьезными делами! Разве так трудно было вернуться к нормальному и так хорошо мне известному состоянию, при котором интересным и важным кажется нечто совершенно другое, а такие шалости с молодежью становятся чем-то достойным презрения? Но когда человек возбужден, влюблен в собственное возбуждение, возбуждается им, тогда все остальное для него перестает быть жизнью! Еще раз указывая на Кароля компрометирующим пальцем, я настойчиво гнул свое, желая припереть ее к стенке, вырвать из нее признание:

- Вы существуете не для себя. Вы существуете для другого. Но в этом случае Вы созданы для него. Вы принадлежите ему!

- Я? Ему? Что это Вам в голову взбрело?

Она рассмеялась. Эти их - ее и его - постоянные запутывающее смешки! Отчаяние.

Она отталкивала его... смеясь... Отталкивала смехом. Ее смех был кратким, он тут же оборвался, был слабым обозначением смеха - но в это краткое мгновение в ее смехе я усмотрел его смех. Тот же улыбчивый рот, те же зубы. Это было "красиво"... увы, увы, это было "красиво". Оба они были "красивы". Потому она и не хотела!

7

Руда. Обе повозки подъехали к крыльцу. Мы вышли. Появился Вацлав и подбежал к будущей жене, чтобы приветствовать ее на пороге своего собственного дома, а нас принимал с очень спокойной, покоряющей предупредительностью. В прихожей мы целовали иссушенную, мелкую, пахнущую травами и лекарствами руку пожилой пани, старательно, аккуратно пожавшей нам пальцы. Дом был полон, вчера неожиданно приехала семья из-под Львова, которую поместили на втором этаже, в гостиной встали кровати, служанка бегала, на полу посреди узлов и чемоданов играли дети. Видя все это, мы сказали, что на ночь вернемся в Повурную, но пани Амелия не желала соглашаться и просила "не делать ей этого", потому что все как-нибудь поместятся. В пользу скорейшего возвращения домой говорили и другие соображения, в частности, Вацлав сообщил нам, мужчинам, что пришли два человека из АК и просились переночевать и что в данной местности, как сле-

довало из скупых намеков, готовится какая-то операция. Все это создавало довольно нервную обстановку, но мы уселись в креслах в затемненной гостиной со множеством окон, и началась беседа, а пани Амелия учтиво обратилась к Фридрику и ко мне, расспрашивая о наших судьбах и злоключениях. Ее голова, какая-то необычайно старая и сухая, возносилась над ее шеей как звезда, и человеком она наверняка была неординарным, да и вообще воздух этого места оказался слишком сильным, нет, эти дифирамбы в ее адрес отнюдь не были преувеличением, мы имели дело не со славной деревенской матроной провинциального масштаба, а с личностью, атмосфера которой господствовала с непреодолимой силой. Трудно сказать, что было в основе такого положения вещей. Подобное тому, что демонстрировал Вацлав, но, видимо, еще более глубокое уважение к человеческому существу. Учетливость, возникающая из утонченного чувства собственного достоинства. Почти одухотворенная, вдохновенная, несмотря на безмерную простоту, деликатность. И удивительное благородство. Однако в основе своей все это было безумно категоричным, здесь царил какое-то высшее соображение, абсолютное, пресекающее всяческие сомнения, и для нас - для меня и возможно для Фридрика - этот дом со столь определенной нравственностью стал вдруг чудесным местом отдохновения, оазисом, поскольку здесь правил метафизический, то есть внетелесный принцип, короче говоря, правил освобожденный из тела и слишком почтенный, чтобы гоняться за Геней и Каролом, католический Бог. Такое ощущение, как будто рука мудрой матери отшлепала нас, и нас призвали к порядку, и все возвратилось к истинному измерению. Геня с Каролом, Геня плюс Кароль стали тем, чем были - обычными молодыми людьми, а Геня при Вацлаве стала более значительной, но только из-за любви и супружества. Мы же, старшие, получили обоснование своего старшинства и неожиданно оказались им так сильно ограждены, что речи быть не могло о какой-то угрозе оттуда, снизу. Словом, повторилось то "отрезвление", которое Вацлав привез нам с собой в Повурную, но в еще больших масштабах. Прекратился гнетущий нажим молодых коленей на нашу грудь.

Фридерик ожил. Вытащенный из-под их проклятых ног, ног растапывающих, он как будто поверил в себя и вздохнул - и сразу же засиял во всем своем блеске. То, что он говорил, замечательным во всяком случае не было, а было обычным, и говорилось для поддержания разговора - но, наполненная его личностью, его пе-

реживанием, его сознанием, каждая мелочь приобретала вес. Самое обычное слово, например “окно”, или “хлеб”, или “спасибо” приобретало совершенно другой смысл в этих устах, которые так хорошо “знали, что говорят”. Он сказал: “маленькие удовольствия милы”, что также становилось значительным, хотя бы в качестве явной маскировки значительности.

В высшей степени ощутимым стал его своеобразный “модус”, тот стиль жизни, который был плодом его развития и переживаний - ставший вдруг донельзя конкретно присутствующим - а впрочем, если человек что-то значит настолько, насколько сам придает себе значение, то в данном случае дело приходилось иметь с великаном, с громадой, ибо трудно было не отдавать себе отчета в том, сколь неординарным явлением был он в собственном восприятии - неординарным не в масштабе социальных ценностей, а как бытие, существование. И это его одинокое величие воспринималось Вацлавом и его матерью с распростертыми объятиями, как будто проявлять уважение доставляло им неизъяснимое удовольствие. Даже Геня - как никак главная персона в этом доме - была отодвинута на второй план, и все начало вертеться вокруг Фридерика.

- Пойдемте, - сказала Амелия, - пока будут накрывать обед, я покажу Вам, какой с террасы открывается вид на реку.

Она была так им поглощена, что обращалась только к нему одному, забыв о Гене, о нас... мы вышли с ними на террасу, откуда земля оживленными пригорками действительно убежала в гладь водной ленты, едва видимую и как будто мертвую. Вид был неплохой. Но Фридерик произвольно выдал:

- Бочка.

И смутился... потому что вместо того, чтобы восхититься пейзажем, он заметил нечто столь заурядное, как эта бочка, ничем не приметная, брошенная под деревом и валяющаяся там. Он не мог понять, как эта бочка встряла в разговор и как от нее отвязаться. А пани Амелия повторила:

- Бочка.

Она поддакнула ему тихо, но очень внимательно, как бы подтверждая его слова и соглашаясь в каком-то благосклонном и неожиданном с ним единомыслии - как будто и ей не были чужды случайные проникновения в какую-то случайную вещь, неожиданные фиксации безразлично на каком предмете, который стано-

вился самым важным в силу именно этой фиксации... о, у этих двух было много общего! К обеду, кроме нас, села и семья беженцев с детьми, но это многолюдье за столом, эта колгота и бегающие дети, и наспех собранная трапеза настраивали не лучшим образом... обед был тягостным И постоянный разговор о "ситуации" как общей, в связи с немецким отступлением, так и местной - я же потерялся в языке здешних деревенских разговоров, так непохожих на варшавские, понимал с пятого на десятое, но вопросов не задавал, спрашивать ни о чем не хотел, зная, что не стоит, и что это нежелательно, да и зачем, и так когда-нибудь узнаю; в этом говоре я пил и одно только знал, что пани Амелия, без устали заправляя всем с высоты своей сухонькой головки, относится к Фридрику с какой-то особой чуткостью, с исключительной собранностью, более того - напряженно; она, похоже, была влюблена в него... Любовь? Да нет, скорее это была та самая магия его казалось бы неисчерпаемого сознания, которую мне доводилось много раз на себе испытать. Ах, как волнующе, как неотразимо был он осмыслен! И Амелия, наверняка утонченная многочисленными медитациями и духовными усилиями, сразу учуяла, с кем имеет дело: с кем-то ужасно сконцентрированным, ничем не дающим ни ввести себя в заблуждение, ни увести себя от крайности - какой бы эта крайность ни была - с предельно серьезным, по сравнению с кем все остальные казались просто детьми. Открыв Фридрика, она со всей страстью возжелала узнать, как отнесется приезжий к ней - примет ее или отвергнет вместе с той истиной, которую она взлелеяла в себе.

Она догадывалась, что он - неверующий; это чувствовалось по определенной ее настороженности, по той дистанции, которую она выдерживала. Она знала, что между ними существует пропасть, но, тем не менее, именно от него она ожидала признания и одобрения. Те, другие, с кем до сих пор ей приходилось встречаться, хоть и верующие, не достигали достаточной глубины - он же, неверующий, был бездонно глубок и поэтому не мог не признать ее глубины, он был "крайний", а потому и ее крайность он обязан был понимать - ведь он "знал", он "понимал" и "чувствовал". Амелия была заинтересована в том, чтобы опробовать свою крайность на его крайности, допускаю, что она выглядела как художник-провинциал, пытающийся в первый раз представить свое произведе-

ние знатоку - но произведением этим была сама она, это была ее жизнь, одобрение которой она так старалась получить. Но, как уже говорилось, она не была в состоянии высказать этого, видимо, просто не могла бы решиться, даже если бы на пути не стоял его атеизм. Тем не менее присутствие этой чуждой глубины всколыхнуло все ее глубины, и она старалась по крайней мере напряжением и готовностью своей сообщить ему, как он для нее важен и что она от него ожидает.

Что же касается Фридерика, то он вел себя так, как и всегда: безупречно и в высшей степени тактично. Но низость, та самая, что и тогда, на грядах, когда он признавался в неудаче, под ее влиянием начала медленно в нем проявляться. Это была низость бессилия. Все это очень напоминало соитие, духовное, разумеется. Амелия требовала, чтобы он принял если не ее Бога, то ее веру, но этот человек не был способен на такой шаг; обреченный на вечный террор существующего, в холоде своем, ничем не обогретый, он был таким, каким был, он посматривал только на Амелию, подтверждая, что она такая, какая есть, что - и именно в лучах ее тепла - становилось трупно-бессильным. Его неверие росло под влиянием ее веры, и они уже завязли в этом роковом противоречии. А телесность его также росла под влиянием ее одухотворенности, и рука его, например, становилась очень, очень, очень рукой (уж и не знаю, почему, напоминавшей мне того червя). А еще я перехватил его взгляд, которым он раздевал Амелию, точь-в-точь как Дон Жуан маленькую девочку, взгляд, явно вопрошавший, как же она может выглядеть голая - разумеется, не вследствие каких-то эротических поползновений, а просто так, чтобы лучше знать, с кем говоришь. Под этим взглядом она съежилась и осеклась - поняла, что для него она является лишь тем, чем является для него, и ничем больше.

Терраса, послеобеденное время. Она поднялась из кресла и обратилась к нему:

- Подайте мне руку. Пройдемся немного.

Она оперлась на его руку. Может быть именно так, через физическое соприкосновение, она хотела ознакомить его с собой и преодолеть эту его телесность! Они шли вдвоем, рядом, как влюбленная пара, мы же - вшестером - несколько сзади, как кортеж, в самом деле, было похоже на любовный роман, разве не точно так же мы недавно сопровождали Геню и Вацлава?

Да, роман, но трагический. Думаю, что Амелии было не по себе, когда она перехватила этот его раздевающий взгляд - потому что ее так еще никто не трактовал, с самых ранних лет ее уделом были уважение и любовь окружающих. Так что же такое он знал, и в чем заключалось его знание, чтобы быть вправе так ее трактовать? Она была абсолютно уверена, что невозможно сомневаться в честности ее душевного порыва, поэтому она, по сути дела, боялась не за себя, а за весь мир - поскольку здесь ее видению мира противостояло иное видение, не менее серьезное, также продиктованное каким-то переходом на крайние позиции...

Эти две значительности шагали рядом, под руку, по широкому лугу, солнце клонилось к закату, росло, краснело, а из нас вдаль выстреливали тени. Геня шла с Вацлавом. Иполит с Марией. Я сбоку. И Кароль. Пара перед нами ушла в свою беседу. Но беседа ничего не содержала. Они говорили о... Венеции.

Она остановилась.

- Посмотрите вокруг. Как прекрасно!

Он ответил:

- Да, несомненно. Весьма. Прекрасно.

Сказано было, чтобы ей поддакнуть.

Она вздрогнула от неожиданно вспыхнувшего раздражения. Ведь ответ - пусть даже обстоятельно и с чувством высказанный - но с чувством актера - был не по существу, поскольку являл собой подмену настоящего ответа. Она же добивалась неподдельного восхищения вечером, который был творением Бога, и хотела, чтобы он возлюбил Творца по крайней мере в его творении. Ее чистота замкнулась в этом желании.

- Но, право же, Вы только взгляните, скажите. Разве это не прекрасно?

Призванный к порядку, он сосредоточился, явно напрягся и сказал действительно со всей откровенностью, на которую был способен, даже несколько взволнованно:

- Ну конечно, несомненно, прекрасно, да, замечательно!

У нее не могло быть претензий. Видно было, что он прилагает усилия, чтобы она осталась довольна. Однако это была его роковая особенность: когда он что-то говорил, то казалось, что он говорит лишь затем, чтобы не говорить чего-то другого... Чего? Амелия решила раскрыть карты и не сходя с места заявила:

- Вы - атеист.

Прежде чем высказаться по столь деликатному предмету, он бросил взгляд налево, направо, как бы проверяя общество. Он сказал... потому что должен был сказать, потому что ничего другого не мог сказать, ответ был продиктован вопросом:

- Да, я атеист.

Но он снова говорил лишь затем, чтобы не сказать *чего-нибудь другого!* Это чувствовалось! Она замолчала, как будто ее лишили возможности полемизировать. Если бы он и в самом деле был неверующим, она могла бы с ним бороться и тогда она показала бы всю самую глубокую "предельность" собственной правоты. О! Тогда бы она боролась с ним на равных. Но ему слова служили для сокрытия... чего-то другого. Но чего? Чего? Если он не был ни верующим, ни неверующим, то чем же он был? Открывалось пространство неопределенного, этого странного "другого", в котором она, ошеломленная и выброшенная из игры, терялась.

Она свернула к дому, а все мы - за ней, отбрасывая километровые тени, которые, стелясь по лугу, достигали неведомых нам далеких мест где-то у края стерни. Чудный вечер. Она была - я мог бы поклясться - испугана. Она шла, уже не думая о Фридерике, который, впрочем, неотлучно, как собачка, сопровождал ее. Шла, выброшенная из игры... похожая на человека, у которого выбили оружие из рук. На ее веру не нападали - ей не надо было защищать ее. Бог становился излишним перед лицом атеизма, служившего ширмой - и она почувствовала себя одинокой, покинутой Богом, могущей лишь в себе найти опору, поставленной перед лицом того существования, которое было основано на каком-то другом принципе, и которое постоянно ускользало от нее. И именно эта неуловимость компрометировала ее, ибо показывала, что на ровной дороге католический дух может встретиться с чем-то таким, чего он не знает, чего не предвидел, чем не овладел. Кто-то посмел трактовать ее неизвестным ей образом - и она представила себя чем-то непостижимым для Фридерика!

В тот вечер наша прогулка змеей растянулась по лугу. Чуть за нами, наискосок, по левую руку, шли Геня с Вацлавом, оба весьма благовоспитанные, цивилизованные, украшенные своими семьями, он - сын своей матери, она - дочь своих родителей; и телу адвоката не было плохо с шестнадцатилетней, имея при себе в

итоге двух матерей и отца. А Кароль шел сам по себе, рядом, руки - в брюки, скучал, а может и не скучал, а так просто переставлял ноги по траве, левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, потом правую, потом левую, в пространственно-зелено-луговом ничегонеделании под садящееся, закатывающееся солнце, оно пригревало, а прохладный ветерок обдувал - и так он переставлял ноги туда-сюда, туда-сюда, временами замедля шаг, временами ускоряя, пока в результате не поравнялся с Фридериком (шедшим с пани Амелией). И какое-то время они шли рядом. Кароль завел разговор:

- Дали бы Вы мне старый пиджак, а?
- Зачем он тебе?
- Надо. Торговать.
- Мало ли, что тебе надо.
- Надо! - нагло канючил улыбающийся Кароль.
- Тогда купи, - ответил Фридерик.
- Денег нет.
- У меня тоже нет.
- Дали бы Вы мне пиджак!

Папа Амелия прибавила шагу - Фридерик тоже - и Кароль тоже.

- Дали бы Вы мне пиджак!
- Дали бы Вы ему пиджак!

Это была Геня. Она нагнала нас. Жених немного поотстал. Она шла с Каролем, ее голос, движения, такие же, как у него.

- Дали бы Вы ему пиджак!
- Дали бы Вы мне пиджак!

Фридерик остановился, комично поднял руки вверх: - Ребята, пощадите! Амелия уходила все быстрее, не оглядываясь на них, казалось, что за ней гонятся. Действительно - почему, например, она ни разу не обернулась - эта ошибка привела к тому, что теперь она как бы бежала от несовершеннолетних шалопаев (тогда как ее сын остался где-то на заднем плане). Но вот вопрос: от кого она убегала, от них или от него, от Фридерика? Или также от него с ними? Казалось маловероятным, что она что-то разнюхала из де-лишек, что были между подростками, нет, на это у нее чутья не было, а кроме того, они были для нее чем-то второстепенным, потому что Геня имела значение только при Вацлаве, в качестве

его будущей жены, но Геня с Каролем - были всего лишь детьми, подростками. Поэтому, если уж она и убежала, то от Фридрика, от непонятной ей неожиданно появившейся здесь, рядом с ней, и нацеленной в нее фамильярности, которую по отношению к нему допускал Кароль... потому что мужчина, к которому приставал мальчишка, разрушал и терял с ним всю значительность, которую он было создал в себе по отношению к ней... К тому же эта фамильярность была усилена голосом невесты ее сына! И бегство Амелии было признанием того, что она заметила это, приняла к сведению!

Когда она удалилась, эти двое перестали приставать к Фридрику насчет пиджака. Не потому ли, что она удалилась? Или потому, что выдохлась их веселость? Нет нужды добавлять, что Фридерик, хоть и потрясенный атакой молодежи и выглядевший абсолютно так, как выглядит человек, который едва унес ноги от шайки в ночном пригороде, принял самые большие меры предосторожности, чтобы случаем не разбудить какого-нибудь "волка в лесу" - того волка, которого он не знал, но которого всегда боялся. Сразу же присоединившись к Иполиту и Марии, он собрался "заговорить" эти несоответствия и даже обратился к Вацлаву, чтобы с ним пуститься в обычный, разряжающий обстановку разговор. Весь остаток вечера он держался трусливо, даже не смотрел на них, на Геню с Каролем, на Кароля с Геней, и стремился к разрядке и спокойствию. Наверняка, он боялся того возбуждения глубины, которое вызвала в нем Амелия. Он боялся его именно в сочетании с неизбежной и молодой легкостью, легкомысленностью, он чувствовал, что эти два измерения не могут сосуществовать, а потому он опасался взрыва и вторжения... чего? Чего? Да, да, он опасался гремучей смеси, этого А (т.е. "Амелия") умноженного на (Г+К). А стало быть надо держаться тише воды ниже травы! Более того, он так далеко зашел, что во время ужина (прошедшего в семейном кругу, поскольку львовским беженцам подали наверх) он поднял тост за новобрачных, желая им от всего сердца всяческих успехов. Трудно быть более корректным. К сожалению, здесь дал о себе знать тот механизм, благодаря которому Фридерик готов был заходить тем дальше, чем больше он отступал - но на сей раз все произошло совершенно стихийно, даже - драматично. Уже само его вставание, выделение его персоны среди нас, сидящих, вызвало нежелательный переполох, а пани Мария не смогла удержаться от



нервического “ах” - поскольку было неизвестно, что конкретно он скажет, что он может сказать. Но, приправленные юмором, первые фразы прозвучали успокаивающе, были традиционными; помахи-вая салфеткой, он поблагодарил за то, что скрасили жизнь старого холостяка столь волнующим обручением, и в нескольких круглых фразах мило охарактеризовал жениха с невестой... и лишь по мере продолжения речи за тем, что он говорил, начало расти то, чего он не говорил, ах, вечно все та же история!... И в конце, к удивлению самого оратора, оказалось, что содержание служит лишь для отвлечения нашего внимания от истинной речи, заключающейся в молчании, вне слов и выражающей то, чего слова не охватывали. Сквозь вежливые обороты проговаривалось само его существо, ничто не могло стереть этого лица, этих глаз, выражающих какой-то неумолимый факт - а он, чувствуя, что становится страшным, а потому и опасным для самого себя, разве только не вставал на голову, чтобы быть приятным, и упражнялся в миротворческой риторике в архиморальном, архикатолическом духе, говоря о “семье как ячейке общества” и о “многочтимых традициях”. Но в то же самое время и Амелии, и всем присутствующим бросалось в глаза его лишенное иллюзий и неизменно присутствующее лицо. Сила его “речи” была воистину невиданной. Это была самая громкоподобная речь изо всех, мною слышанных. И было ошутимо, как заключающаяся в замечаниях на полях и между строк, в даваемых за скобкой пояснениях сила произносимой речи уносит оратора как конь!

Он закончил пожеланиями счастья и сказал что-то вроде: - Они заслуживают счастья, а стало быть, они будут счастливы, - что означало: - я говорю, чтобы говорить.

Пани Амелия поспешила сказать:

- Мы Вам очень, очень признательны!

Чоканье рюмками развеяло ужас, Амелия, необыкновенно предупредительная, сосредоточилась на своих обязанностях хозяйки дома: может еще кто-нибудь пожелает мяса, может водки... Все начали говорить, просто чтоб услышать собственный голос и в говоре сделалось веселей. Подали творожный торт. Под конец ужина пани Амелия встала и пошла к буфету, мы же, разогретые водкой, шутили, рассказывая невесте, что и как давали в подобных случаях до войны, каких яств ей не довелось отведать. Кароль

добродушно и открыто смеялся, пододвигая рюмку. Я заметил, что Амелия, вернувшись от буфета, как-то странно села на свой стул: встала рядом, подождала, а потом как по приказу села - и не успел я еще сообразить что к чему, как она упала со стула на пол. Все бросились к ней. На полу мы увидели красное пятно. Из кухни послышался женский крик, а потом за окнами прогремел выстрел, и кто-то - наверное, Иполит - бросил на лампу пиджак. Темнота и снова выстрел. Стремительное закрывание дверей, Амелию переносят на диван, лихорадочная суета в потемках... потом пиджак на лампе начал тлеть, затоптали, как-то сразу все успокоилось, затихло, стали прислушиваться, а Вацлав сунул мне в руки двустволку и подтолкнул к окну соседней комнаты: мол, смотрите в оба! А увидел я сад в тихую лунную ночь и еще - как наполовину высохший лист на глядевшей в окно веточке все время вздыхал серебрянным брюшком. Я сжимал оружие и посматривал, не покажется ли что-нибудь там, в том месте, где начиналась сырость переплетенных стволов. Но лишь воробей шевелился в зарослях. Потом кто-то хлопнул дверью, кто-то громко что-то сказал, снова зазвучал разговор, и я понял, что паника миновала.

Рядом со мной появилась пани Мария: - Вы понимаете в медицине? Пойдемте. Она умирает. Ножевая рана... Вы понимаете в медицине?

Амелия лежала на диване, голова на подушке, в комнате полно народу - семья беженцев, прислуга... Меня поразила неподвижность этих людей, от них веяло импотенцией... той импотенцией, которая часто проявлялась во Фридерике... От нее отошли и оставили спокойно скончаться. Теперь только наблюдали. Ее профиль возвышался, как гребень скалы, а рядом стояли Вацлав, Фридерик, Иполит... Долго она будет умирать? На полу таз, в тазу - вата и кровь. Однако тело Амелии было не единственным телом, лежавшим в этой комнате: там, на полу, в углу, лежало еще одно... я не знал, что это, откуда оно взялось, впрочем, и не мог узнать, кто там лежит, и вместе с тем меня охватило неясное чувство эротичности происходящего... ощущение, что сюда примешивалось нечто эротическое... Кароль? Где был Кароль? Опершись о стул, он, как и все, стоял, Геня - на коленях, руки на кресле. Все взоры до такой степени были сконцентрированы на Амелии, что я не мог ближе рассмотреть то, другое тело, непредвиденное в этой ситуации и

лишнее здесь. Никто не двигался. Все пристально смотрели на нее, и во взглядах прочитывался вопрос, как она умрет - поскольку от нее следовало ожидать смерти более благородной, чем смерть обычная, простая, и этого от нее ждали и ее сын, и Иполит с женой, и Геня, и даже Фридерик, не спускавший с нее глаз. Парадоксально, но они хотели активного действия от человека, не способного пошевелиться, застывшего в своей немощи, и тем не менее, лишь она одна из всех присутствовавших имела призвание действовать. И она знала об этом. Жена Иполита быстро выбежала и вернулась с распятием, что выглядело как направленный к умирающей призыв действовать, - теперь мы знали, что сейчас что-то начнется. Пани Мария с крестом в руках встала у дивана.

Тогда произошло нечто настолько скандальное, что, несмотря на всю свою эфемерность, походило на удар... Умирающая, едва скользнув взором по кресту, скосила глаза в сторону Фридерика и соединилась с ним взглядом - это было невероятно, никому даже в голову не могло прийти, что можно так проигнорировать крест, ставший в руках пани Марии ненужным - и именно это игнорирование придало значимость вонзенному во Фридерика взгляду Амелии. Она не спускала с него глаз. Несчастный Фридерик, схваченный угасающим, а потому опасным взглядом, застыл и, бледный, встал чуть ли не по стойке смирно: они смотрели друг на друга. Пани Мария все еще продолжала держать крест, но шли минуты, и оставалось без употребления грустное, безработное распятие. Так неужели для этой святой в ее смертный час Фридерик был важнее Христа? Неужели она в самом деле была влюблена в него? Но то была не любовь, а нечто более интимное, эта женщина видела в нем судьбу - она не могла примириться с тем, что умрет, не вызвав в нем доверия к себе, не показав, что ей свойственны крайности не меньше, чем ему, но что она в то же время принципиальна, основательна не меньше, чем он, и как явление не менее значима. Вот до какой степени она считалась с его мнением! Однако то, что она обращалась не к Христу с просьбой о признании и подтверждении своего существования, а к нему, к смертному, ну разве что одаренному незаурядным сознанием, было для нее поразительной ересью, отказом от абсолюта в пользу жизни, признанием того, что не Бог, а человек должен быть судьей человеку. Тогда я может не понимал так ясно происходившее, а ведь по мне

мурашки забегали от этого ее соития глазами с человеческим существом, в то время как Бог в руках Марии оставался просто незамеченным.

Ее застывшее на мертвой точке умирание под давлением нашей сосредоточенности и ожидания с каждой минутой становилось все более напряженным, это мы заряжали ее нашей напряженностью. Я слишком хорошо знал Фридерика, и опасался, что, стоя перед лицом чего-то столь специфического, как человеческая смерть, он может не выдержать и совершит что-то неподобающее... Но он стоял смиренно, как в костеле, и единственное, что можно было поставить ему в упрек, так это то, что некоторое время он отводил взор от Амелии вглубь комнаты, туда, где лежало другое тело, для меня загадочное, которое со своего места я не мог как следует рассмотреть: но все более частые поглядывания Фридерика в ту сторону заставили и меня в конце концов посмотреть... и я пошел в тот угол. Каково же было мое удивление, или возбуждение, когда я увидел (мальчика), худоба которого была повторением худобы (Кароля); он лежал и был жив и, более того, был воплощением золотого очарования: блондин с огромными темными глазами, а его смуглость и гибкость тонули в дикости поджатых на полу рук и босых ног!

Дикий, хищный блондинчик, босой, из деревни, но дышащий прелестями - великолепный грязный маленький бог, игравший здесь на полу своими терпкими соблазнами. Это тело? Это тело? Что означало это тело здесь? Почему он лежал? Итак... это было повторением Кароля, но несколькими тонами ниже... и неожиданно в комнате молодость возросла не только количественно (потому что одно дело - двое, а другое дело - трое), но и в самом своем качестве она стала иной, более дикой и низкой. И тут же, подобно отражению, ожило тело Кароля, усиленное, ставшее более мощным, а Геня, хоть и набожная и коленопреклоненная, ринулась всей своей белизной в сферу греховного и тайного сговора с этими двумя. В то же время кончина Амелии была испорчена, стала какой-то подозрительной: ведь что-то соединяло ее с этим молодым деревенским красавчиком, из-за чего этот (мальчик) припутался к ней в ее смертный час? Я понял, что ее кончина происходит при двусмысленных обстоятельствах, гораздо более двусмысленных, чем могло бы показаться...

Фридерик, машинально засунувший руку в карман, тут же вынул ее и опустил.

Вацлав стоял на коленях.

Пани Мария беспрестанно держала крест, потому что ничего другого она не могла сделать - отложить его в сторону было бы невозможно.

Палец Амелии дрогнул и поднялся и начал подзывать... подзывал и подзывал... медленно и осторожно приближавшегося Фридерика. Она подзывала и подзывала, пока он не склонился над ней, и тогда она неожиданно громко сказала:

- Не уходите, пожалуйста. Вы увидите. Я хочу, чтобы Вы видели. Все. До конца.

Фридерик кивнул и сделал шаг назад.

И только тогда она всмотрелась в крест и, наверное, молилась, заходясь от дрожи, иногда пробегавшей по ее губам - и наконец стало так, как и должно было быть, крест, ее молитва, наша сосредоточенность - все тянулось безмерно долго, и ход времени был единственной мерой истовости этих бесконечных молитв, не способных оторваться от креста. И эта недвижимая, почти что мертвая, но все еще вибрирующая концентрация, росла и освящала ее, а Вацлав, Иполит с женой, Геня, прислуга стояли вокруг на коленях. Встал на колени и Фридерик. Но зря. Поскольку, несмотря ни на что, даже на то, что она так была затеряна в кресте, - ее требование, чтобы он все видел, сохраняло свою силу. Зачем ей это было нужно? Чтобы обратить его в веру своим последним предсмертным усилием? Чтобы показать ему, как умирают по-католически? Однако чего бы она ни хотела, конечной инстанцией здесь был не Христос, а Фридерик; если она и молилась Христу, то делала это для Фридерика, и напрасно он пал на колени, ведь именно он, а не Христос, становился высшим судьей и Богом, ибо для него свершалась эта кончина. Какая неудобная ситуация - и меня не удивляло, что он закрыл лицо руками. Тем более, что летели минуты, и мы знали, что с каждой минутой ее жизнь тает - но она затягивала молитву лишь затем, чтобы напрячься, как натянутая струна, до предела. И снова ее палец начал подзывать, на этот раз сына. Вацлав подошел, обнимая Геню. Палец направился прямо на них, и она произнесла, торопясь:

- Поклянитесь мне сейчас же, сию минуту... Любовь и верность. Быстро.

Они опустили головы к ее рукам. Геня расплакалась. Но опять поднялся палец и опять указывал, - но теперь в другом направлении - туда, где в углу лежал... Все задвигались. Его принесли - и я увидел, что он был ранен, кажется, в ляжку - поднесли к ней. Она пошевелила губами, и мне подумалось, что в конце концов я узнаю, что произошло, почему он здесь, рядом с ней, этот (молодой) и тоже окровавленный, что между ними... Но она вдруг захлебнулась раз, другой и побелела. Пани Мария подняла крест. Амелия уставилась на Фридерика и умерла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

8

Фридерик поднялся с колен и вышел на середину комнаты: - Почтите ее память! - призвал он, - воздайте ей почести! - Он вынул из вазы розу и бросил к дивану, после чего протянул руку Вацлаву. - Душа, достойная ангельского пения! Нам же остается лишь низко поклониться! - Эти слова были бы театральными в устах каждого из нас, не говоря уже о жестах, но он властно пронзал нас ими, как король, которому позволен пафос и который провозглашает другую естественность, более высокую, чем обычная. Король-властелин и церемонимейстер! Вацлав, захваченный суверенностью этого пафоса, встал с колен и крепко пожал ему руку. Казалось, что вмешательство Фридерика нацелено на стирание всех этих странных, заслонивших смерть несоответствий, на возвращение смерти всего ее блеска. Он сделал несколько шагов влево, потом вправо - что выглядело каким-то минутным метанием среди нас - и подошел к лежащему (мальчику). - На колени! - приказал он. - На колени! - С одной стороны, приказ был естественным продолжением предыдущего приказа, но, с другой стороны, был неуместным, поскольку относился к раненому, который не мог двигаться; и его неуместность возросла, когда Вацлав, Иполит и Кароль, затерроризированные его авторитетом, бросились приводить (мальчика) в требуемую позицию. Да, это было уж

слишком! Когда же Кароль подхватил его под руки, Фридерик сломался, затих и угас.

Я был ошеломлен, опустошен... столько впечатлений... но ведь я уже знал его... и знал, что он снова вступил с нами и с собой в какую-то игру... в напряжении, созданном трупом, развивалось какое-то его действие, направленное на имевшуюся в его воображении цель. Все это делалось умышленно, хотя, может, замысел пока был неуловим и для него самого, может быть, следовало бы сказать, что ему были известны лишь подходы к замыслу, но я бы удивился, если бы дело здесь свелось только к почестям, отданным Амелии, нет, оно заключалось во введении в нашу среду того, кто лежал во всем своем неприличном и компрометирующем смысле, в том, чтобы “заполучить” его, выделить и “повязать” с Геней и Каролем. Но как эта связь могла возникнуть между ними? Наверняка, эта золотистая дикость подходила нашей паре уже хотя бы потому, что им тоже было по шестнадцать, вот и все - никакой другой связи я не видел, думаю, что не видел ее и Фридерик - но он действовал вслепую, руководствуясь тем же, что и у меня, неясным ощущением, что он, этот лежащий, делает их сильнее - демонизирует... и потому Фридерик прокладывал лежащему путь к ним.

Лишь на следующий день (заполненный приготовлениями к похоронам) я узнал о роковом происшествии, которое было в высшей степени запутанным, странным, необычайным. Воссоздание фактов было делом нелегким, в нем было много досадных пробелов - тем более, что единственные свидетели - этот самый Юзек, Юзек Скузьяк, и старая прислуга, Валерия - терялись в хаосе, царившем в их бездарных и непросвещенных головах. Все говорило за то, что, выйдя к буфету, пани Амелия услышала шум на ступенях, что ведут к кухне, и столкнулась с этим Юзекком, который проскользнул в дом стибрить что-нибудь. Заслышав ее шаги, он бросился в первую попавшуюся дверь, очутился в комнатке прислуги и разбудил крепко спавшую Валерию, которой пришлось зажечь спичку. Дальнейший ход событий был известен главным образом из ее невразумительного сообщения. “Как я спичку-то засветила, да как увидела, что ктой-то стоит, так и остолбенела, пошевелиться не могу, а спичка-то у меня в руках возьми и догори, вот весь палец-то и пожгла. А пани барыня насупротив его стоит, у дверей, и тоже не

двигается... А как спичка-то у меня сгорела, ничего не видно, окна занавешены, лежу, смотрю, ничего не вижу, темно, хоть бы что ли половица скрипнула, ничего, ничего, как будто их не было, лежу и уже только на милость господню полагаюсь, а ничего, тихо, так я смотрю на пол - там остаток спички тлел, но ничего не освещал, догорел, ничего, чтобы хоть кто задышал, ничего. Вдруг... (тут ее повествование остановилось, как будто наехало на сваленные поперек дороги бревна)... вдруг... так как-то... а тут пани барыня да как бросится! Да на него!... Так, кажись, как-то ему под ноги ... кажись, бросилась... Ну они и повалились! Прямо и не знаю что, Господи, сохрани и помилуй, хоть бы кто из них голос что ль подал, ничего, ничего, только так боролись на полу, я было хотела на помощь, но где там, дурно мне стало, тут слышу, что нож в мясо влазит, раз, другой раз, снова слышу нож в мясо, а потом оба убежали, через дверь и все тут! А я вся как есть обмерла! Обмерла!”

- Это невозможно! - бурно отреагировал Вацлав на ее рассказ.
- Так не могло быть! Я не верю, чтобы мать... вела себя таким образом! Эта баба что-то переиначила, перепутала по глупости своей, ах, уж лучше кудахтанье курицы, лучше - крикнул он - кудахтанье курицы!

Он провел рукой по лбу.

Однако признания Скузьяка совпадали с тем, что говорила Валерия: барыня первая бросилась и “повалила” его, потому что “бросилась под ноги”. С ножом. И он показал не только расположенные бок и ляжку, но и явные следы укусов на спине и на руках. Кусалась, говорил он, нож я отнял, а она на нож напоролась, ну я отскочил и убежал, а управляющий в меня стрелял, а у меня нога обмякла, ну я и сел... Схватили меня.

Однако никто не верил в то, что Амелия “напоролась на нож”.
- Ложь, - говорил Фридерик. - А что насчет укусов, мой Боже, в борьбе за жизнь, в судорожном противостоянии вооруженному бандиту (ведь это у него был нож, а не у нее)... ну, нервы... Ничего удивительного. Инстинкт, знаете ли, инстинкт самосохранения... Так он говорил. И все же все это было по крайней мере странно... и шокирующе... кусающаяся пани Амелия... А что касается ножа, то дело было не вполне ясным, поскольку нож, как оказалось, принадлежал Валерии, длинный такой и острый кухонный нож, которым она резала хлеб. И вот, этот нож лежал на столике у

кровати, как раз там, где стояла Амелия. Из чего следовало, что она, нащупав в темноте нож, бросилась с ним на...

Убийца Амелии был босой, с темными подошвами, в нем ярко переливались, сверкая, два обычных цвета - золото кудрей, ниспадавших на черноту мрачных, как лесные лужи, глаз. Цвета же эти усиливались роскошным, чистым блеском зубов, белизна которых напоминала...

Так значит что? Так как же? Значит, пани Амелия, оказавшись с этим (мальчиком) в темной комнате, схваченная клещами растущего напряжения, вызванного ожиданием, не выдержала и... и... Нащупала нож. А нащупав его, впала в раж. Бросилась убивать, а когда они упали вдвоем, то как сумасшедшая кусала что попало. Она? Такая набожная? В ее возрасте? Она, служившая для всех примером, с ее моральными устоями? Ведь не было же это фантазией, рожденной в темных головах кухарки и подростка, ибо легенда была слишком дикой, чтобы они могли ее придумать, создать перевертыванием того, что разыгралось впотьмах и, что, в сущности, было неуловимым? Темнота комнатки усугублялась темнотой их представлений - и Вацлав, взятый в кольцо этой валившей его с ног двойной темнотой, не знал, что предпринять, ибо подробности убивали мать еще больше, чем нож, отравляли ее и деформировали; он не знал, как сохранить ее для себя, спасти от этого безумия, запечатленного на шестнадцатилетнем теле ее зубами, ножом, которым она орудовала. В его представлении, такая смерть рвала ее жизнь в лохмотья. Фридерик, сколько мог, старался поддержать его. - Нельзя полагаться на их показания, - говорил он. - Прежде всего, они ничего не видели, потому что было темно. Во-вторых, ведь это совершенно непохоже на Вашу матушку, да просто не вяжется с ней - и мы можем сказать лишь одно, но можем сказать это с абсолютной уверенностью, что так, как они о том говорят, быть не могло, должно было быть как-то иначе в этой темноте, недоступной им так же, как и нам... это однозначно, это не подлежит сомнению... хотя, конечно, если в темноте, то... (- То что? То что? - спрашивал Вацлав, видя что он колеблется, засомневался)... то... ну, темнота, понимаете... темнота - это что-то... что вызывает из... Надо помнить, что человек живет в мире. В темноте мир исчезает. Понимаете, никого вокруг нет, один на один сам с собой. Разумеется, Вы все это знаете. Конечно, мы привыкли,

что каждый раз, когда гасим лампу, становится темно, но это не исключает, что в отдельных случаях тьма может напрочь ослепить, Вы понимаете, о чем идет речь?... но ведь пани Амелия даже в темноте осталась бы пани Амелией, не так ли? Хотя в данном случае темнота в себе что-то скрывала... (Что? - спросил Вацлав. - Говорите же!)... Ничего, ничего, так, глупость, ерунда... (- Что такое?) ... Да нет же, разве что... этот парень молодой, из деревни, может, неграмотный... (- Что с того, что он неграмотный?)... Ничего, ничего, я хочу лишь сказать, что в данном случае темнота скрывала в себе молодость, скрывала босого парня... а с молодым подобное легче сотворить, чем с... в смысле, если бы вместо него был кто-нибудь посолидней, то... (- Что "то"?!)... Я хочу сказать, что с молодым проще, да, проще - и в темноте - что проще сделать что-нибудь такое с молодым, чем с пожилым и... - Что Вы меня все тянете за язык! - сказал он и не на шутку испугался, даже лоб покрылся испариной. - Я это только так... теоретически... Но Ваша матушка... ах, нет, абсурд, невероятно, нонсенс! Ведь правда, Кароль? А, Кароль?

Зачем он апеллировал к Каролю? Если сам боялся, то зачем его впутывал? Но он был из тех, кто будит спящее лихо, лишь одним тем, что не хотят его будить, одним лишь страхом - притягивающим, преувеличивающим, созидающим. А разбудив, уже не могут не раздражить его, не привести в ярость. Его сознание потому было таким мучительным и непредсказуемым, что он сам ощущал его не как свет, а как тьму - оно было для него такой же слепой стихией, как и инстинкт, он не доверял ему, чувствовал, что находится в его власти, и не знал, куда оно его заведет. Но был при этом плохим психологом, поскольку слишком много было в нем интеллекта и фантазии - в его расширенном видении человека могло найти место все, - стало быть, и пани Амелию он мог представить в любой ситуации. После обеда Вацлав поехал, чтобы "уладить дела с полицией", то есть, чтобы приличной взяткой сбить с нее полицейский раж - если бы власти добрались до случившегося, то неизвестно, чем бы все закончилось. Похороны, укороченные, даже явно скомканные, состоялись утром следующего дня. Еще через день мы отправились обратно, в Повурную, а с нами - Вацлав, оставив дом на милость судьбы. Меня это не удивляло, я понимал, что теперь он не захочет расставаться с Геней. В первой повозке ехали

женщины, Иполит и Вацлав, а за нею - бричка, которой правил Кароль, на ней я с Фридериком и еще кое-кто, а именно - Юзек.

Мы взяли его, потому что не знали, что с ним делать. Отпустить? Он был убийцей. А впрочем, Вацлав ни за что бы его не отпустил, ведь недавняя смерть все еще витала вокруг нас, да и оставлять это нельзя было никак... а кроме всего, он надеялся, что ему удастся все-таки вытянуть из парня другую версию смерти, более приличную и менее скандальную. Вот почему на дне нашей брички, на соломе перед первым сидением, под ногами у правившего бричкой Кароля лежал несовершеннолетний убийца-блондин, поэтому сидел Кароль сбоку, упираясь ногами в крыло повозки. Мы с Фридериком - сзади. Бричка то въезжала на застывшие земляные волны, то съезжала с них, окрестность то открывалась, то закрывалась, кони шли рысью в жарком духе хлебов и в пыли. Фридерик же, сидя сзади, держал обоих в поле зрения, именно в таком и ни в каком другом сочетании; мы вчетвером, на этой бричке, перекатывавшейся с пригорка на пригорок, тоже составляли неплохую комбинацию, многозначную формулу, удивительное сочетание... и по ходу нашей молчаливой езды созданная нами фигура становилась все более навязчивой.

Кароль вел себя безумно скромно, его сбитое с панталыку мальчишество, видимо, осунулось под ударами столь трагических событий, и он сидел тише воды ниже травы, благородный, кроткий, даже нацепил себе на шею черный галстук. И вот они оба, прямо здесь, передо мной и перед Фридериком, в полуметре, на переднем сиденье брички. Мы ехали. Кони шли рысью. Лицо Фридерика по необходимости было обращено к ним - чего же он в них высматривал? Братская общность возраста соединяла их столь сильно, что эти два очертания ровесников как бы сливались в одну форму. Но вожжи, хлыст, обутое ноги, высоко подтянутые брюки поднимали Кароля над лежащим на дне повозки, и не было между ними ни симпатии, ни взаимопонимания, скорее - суровость, невольная и даже враждебная грубость, которую парни практикуют в отношениях друг с другом. Бросалось в глаза, что Кароль принадлежит нам, Фридерiku и мне, что он - с нами, с людьми своего класса, и - против этого приятеля из народа, которого стерег. Но они были перед нами в течении долгих часов песчаной дороги (которая иногда, расширяясь, становилась большаком, чтобы вскоре снова

врезаться в известковые стены), и то, что они перед нами были вдвоем как-то действовало, что-то порождало, в чем-то их утверждало... Там, дальше, на пригорках виднелась повозка, в которой ехала она - невеста. Повозка появлялась и исчезала, но не давала возможности забыть о себе, иногда ее подолгу не было видно, но она снова вырастала, а косые квадраты полей и полосы лугов, нанизанные на нашу езду, наворачивались и разворачивались, и в этой растворенной в перспективах, скучной, едущей рысью, медлительной геометрии повисло лицо Фридерика, а профиль его здесь же, рядом с моим. О чем он думал? О чем? Мы ехали за повозкой, преследовали повозку. Кароль, ощущая под ногами того, другого, с черными глазами, васильково-золотистого, босого и немытого, претерпевал что-то вроде химического превращения, он действительно устремился за повозкой, как звезда за звездой, но теперь уже с приятелем - и по-приятельски - схваченный снизу собой с ним, почти как в кандалы, и мальчиком своим соединенный с тем мальчиком до такой степени, что если бы они вместе стали есть вишни или яблоки, то это меня несколько бы не удивило. Мы ехали. Кони шли рысью. Вот что, наверняка, представлялось Фридерiku - или, может, ему представлялось, что это мне так представляется - и профиль его тут же рядом с моим, а я не знал, в ком из нас это зарождалось. Тем не менее, когда после многих, многих часов перемещения по окрестностям мы доехали до Повурной, эти два приятеля уже соединились, представляя собой "одно целое по отношению к Гене", утвержденные в своем новом качестве много-часовой ездой за ней и перед нами.

Мы поместили задержанного в пустой кладовке с зарешеченным окном. Раны его были поверхностными - мог и убежать. Уставшие до потери сознания, мы попадали в постели, ночь и утро я проспал тяжелым сном, а к полудню меня облепили неуловимые впечатления, назойливые, как мухи, и мелькали перед носом. Я не мог поймать жужжащую муху, постоянно исчезающую - что за муха? На меня это состояние нашло уже перед обедом, когда я заговорил с Иполитом о какой-то детали, связанной со столь свежими еще переживаниями, а в его ответе проглядывало едва различимое изменение тона - не то чтобы он попотчевал меня нелюбезностью, но что-то вроде высокомерия, или пренебрежения, или гордыни, что дескать ему это уже обрыдло, или что у него есть

какие-то более важные дела. Более важные, чем убийство? А потом и в голосе Вацлава я уловил что-то - как бы это сказать - черствость что ли, причем тоже исполненную гордыней. Гордые? А чем гордиться? Почему они горды? Изменение тона было сколь тонко, столь же и разительно; как мог Вацлав так возноситься через два дня после смерти матери? - и мои воспаленные нервы сразу же передали мне подозрение, что где-то на нашем небосклоне возник новый центр давления и подул другой ветер - но какой? Как будто что-то меняло свой курс. Лишь к вечеру мои опасения приобрели более четкие формы. Это произошло в тот самый момент, когда я увидел Иполита, проходящего через столовую и говорившего, сиречь шептавшего: - Скандал, господа, скандал! - И вдруг он сел на стул, подавленный... а потом встал, велел запрячь коней и уехал. Теперь я уже знал, что ворвалось нечто новое, но мне не хотелось спрашивать, и лишь вечером, заметив, что Фридерик с Вацлавом, беседуя, кружат по дворику, я присоединился к ним в надежде, что, может быть, с их помощью я сориентируюсь в ситуации. Как бы не так. Они снова обсуждали позавчерашнюю смерть - причем все в том же ключе, что и раньше - это был доверительный, тихий разговор. Склонив голову, вперив взор в собственные ботинки, Фридерик снова копался в этом убийстве, рассматривал, рассуждал, анализировал, искал... вплоть до того, что пострадавший Вацлав стал защищаться, просил позволить ему перевести дух, даже дал понять, что это неприлично! - Что? - сказал Фридерик. - Как мне это понимать? - Вацлав взмолился о пощаде. Дескать, все это еще так свежо, что он до сих пор не может привыкнуть, освоиться, он это понимает, но так, как будто не понимает этого, все так неожиданно, так страшно! И вот тогда Фридерик набросился на его душу, как орел.

Сравнение, может, слишком высокопарное. Но прекрасно было видно, что он бросается, и что бросается с высоты. В том, что он говорил, не было ни утешения, ни сострадания, совсем напротив - здесь заключалось требование, чтобы сын осушил до последней капли чашу материнской смерти. Именно так, как католики переживают минуту за минутой крестные муки Христа. Правда, он оговорился, что он - не католик. Что у него нет даже так называемых моральных принципов. Что он отнюдь не добродетелен. Так почему же, спросите Вы (говорил он), - во имя чего я требую от

Вас, чтобы Вы испили чашу до дна? Отвечу, что только и единственно - во имя развития. Что такое человек? Кто может знать? Человек - есть загадка (сия банальность появилась у него на устах, как нечто стыдливое и саркастическое, как боль - ангельская и дьявольская бездна, более бездонная, чем зеркало). Но мы должны (его "должны" звучало доверительно и драматично), должны переживать все глубже и глубже. Понимаете, это - неотвратимо. Это - императив нашего развития. Закон, проявляющийся как в истории всего человечества, так и в судьбе каждого отдельного человека. Мы обречены на развитие. Присмотритесь к ребенку. Ребенок - только начало, ребенок - еще не бытие, ребенок - всего лишь ребенок, то есть вступление, инициация... А отрок (он почти что выплюнул это слово)... что он знает? Что может прочувствовать... он... этот зародыш? А что мы?

- Мы? - сказал он. - Мы?

И между прочим заметил:

- Мы с вашей матерью сразу пришли к глубокому взаимопониманию. И не потому, что она - католичка. А потому что она отдавалась внутреннему императиву солидности... понимаете... она была отнюдь не легкомысленной...

Он посмотрел в глаза, чего до сих пор, кажется, с ним не случалось, и это сильно смутило Вацлава, так и не отважившегося отвести взор.

- Она смотрела... в самую суть.

- Что мне делать? - воскликнул Вацлав, воздев руки. - Что мне делать?

В разговоре с другим он не позволил бы себе ни крика, ни воздевания рук. Фридерик взял его под локоток и двинулся вперед, тыча перед собой пальцем. - Быть на высоте задачи! - говорил он. - Вы можете делать все, что захочется. Но пусть это будет не менее скрупулезным... по своей солидности.

Солидность как высшее и неизменное требование зрелости - никакого послабления - ничего, что могло бы ослабить хоть на минуту напряжение взгляда, упорно доискивающегося сути... Вацлав не мог защититься от этой строгости - потому что это была строгость. Если б не она, он мог бы засомневаться в серьезности поведения, в искренности жестикуляции, казавшейся каким-то метанием... но этот театр имел место во имя властного зова испол-

нить высшую обязанность полного осознания - вот что в понимании Вацлава делало его неотразимым. Его католицизм не мог примириться с дикостью атеизма - для верующего атеизм дик - и мир Фридерика был для него хаосом, лишенным властителя - а стало быть и права - заполненным лишь безграничным человеческим волюнтаризмом... и все же католик не мог не отнестись с почтением к моральному императиву, пусть даже изрекаемому столь дикими устами. В то же время Вацлав переживал, чтобы смерть матери не кончилась для него ничем, потому что тогда он не сможет соответствовать уровню своей драмы, а также своей любви и чести, и еще больше, чем безбожности Фридерика, он боялся своей собственной заурядности, того, что делало его простым адвокатом "с зубной щеткой". А потому он льнул к явному превосходству Фридерика, ища в нем опоры - ах, все равно как, все равно с кем, но испытать, изведать эту смерть. Пережить ее! Получить от нее все! Для этого ему был нужен пусть даже дикий, но видящий суть дела взгляд, и тот особенный, тот страшный энтузиазм переживаний.

- Но что мне делать с этим Скузяком? - закричал он. - Я спрашиваю, кто должен его судить? Кто должен вынести ему приговор? Имеем ли мы право держать его в заточении? Ну хорошо, полиции не отдали, нельзя, но ведь не можем же мы его вечно держать в кладовке?

На следующий день он поставил вопрос перед Иполитом, но тот лишь рукой махнул: - Стоит расстраиваться! Больше не о чем го. ову ломать! Держать в кладовке, сдать в полицию, или всыпать хорошенько и выпустить, пусть проваливает! Все равно! - А когда Вацлав попытался объяснить ему, что Скузяк как-никак убийца его матери, он вспыхнул: - Какой там к черту убийца! Засранец он, а не убийца! И вообще, сделайте, что хотите, оставьте меня в покое, у меня другие проблемы. - Да он просто не желал слушать! Создавалось впечатление, что все убийство важно для него лишь в одном отношении - из-за трупа Амелии, и совершенно неважно в другом - из-за убийцы. А впрочем, его явно что-то тяготило. На стоявшего около печки Фридерика вдруг что-то нашло, он сделал движение, как будто собирался говорить, но лишь шепнул: - Оооо!... Не громко сказал, а шепнул. А поскольку мы не были готовы к шепоту, то и прозвучал он сильнее, чем если бы Фридерик заговорил в полный

голос - так и остановился на своем шепоте, а мы тем временем ждали, что он еще что-нибудь скажет. Ничего не сказал. Тогда Вацлав, научившийся уже распознавать малейшие изменения во Фридерике, спросил: - В чем дело, что Вам надо? - А тот стал озираться. - Ну да, с *таким*, собственно говоря, все равно... можно делать что захочется... кто что захочет... - С каким? - крикнул Иполит, с непонятной злостью, - с каким таким?

Слегка опешивший Фридерик объяснялся:

- С таким, ну, ясное дело, с каким! С ним все равно. Кто что захочет. Кому чего захочется.

- Минуточку. Минуточку. Вы ведь то же самое говорили о моей матери, - неожиданно вмешался Вацлав. - Что, дескать, моя мать могла его... потому... потому что... - Он осекся. На что Фридерик, явно пристыженный: - Нет, нет, я только так ... Не надо об этом!

Каков артист, а! Были ясно видны швы его игры, да он их и не скрывал. А еще было видно, во что это ему обходится, как он *на самом деле* бледнеет и дрожит в тенетах своего актерства. Мне, по крайней мере, было ясно, что он пытается придать и этому убийству и этому убийце самый что ни на есть жуткий характер - но может, он не слишком старался, а может, это была та самая превозмогавшая его необходимость, которой он, бледный и испуганный, подчинялся. Разумеется, это была игра - но его игра создавала все новые и новые ситуации. В результате все почувствовали себя как-то не в своей тарелке. Иполит повернулся и вышел, а Вацлав замолчал. Но наносимые Фридериком в игре удары несмотря ни на что продолжали достигать их, и Юзя в кладовке становился все более и более неудобным, и вообще, вся атмосфера была как будто отравлена неким особым и непонятным намерением (я-то знал, к кому оно относится, в кого оно метит...). Каждый вечер Юзе следовало промывать раны, и этим занимался Фридерик, который худо-бедно, но все же разбирался в медицине. Помогал Кароль, а Генечка держала лампу. Это была сколь значимая, столь же и компрометирующая процедура, поскольку они втроем склонялись над ним, и при этом каждый из них держал в руке что-то такое, что оправдывало их преклонение: Фридерик - вату, Кароль - таз и бутылку со спиртом, Геня - лампу; но эта склоненность тройки над его раненой ляжкой как будто вырывалась из тех предметов, что они держали, и становилась склоненностью самой по себе. А лампа

светила. Потом Вацлав закрывался с ним и выпрашивал - то доверительно, то с угрозами - но более низкое положение мальчика и его непросвещенность вместе с его деревенской натурой сделали из него автомат, и он повторял одно и то же, что она бросилась на него, кусала, а что ему было делать? И, обвыкшись с вопросами, он еще крепче слился со своими ответами.

Пани помещица меня кусала. Вот следы остались.

Когда Вацлав возвращался с этих допросов, изможденный, как после болезни, Геня подсаживалась к нему и сидела с ним тихо и верно... неотлучно... Кароль же накрывал на стол или просматривал старые журналы... и когда я смотрел на нее, пытаюсь представить себе ее "с Каролем", то протирал глаза, не в силах увидеть тех возбуждений, которые больше не возбуждали - я отказывался от собственного безумия. Между ними ничего, ничего! Она лишь с Вацлавом! Но при этом какая ненасытная! Какая алчность! Какое страшное вожделение! Как жадно она принималась за него, словно мужчина за девушку! Пardon, я не имею в виду ничего плохого, хочу лишь сказать, что она с безудержным сладострастием лезла к нему в душу - она жаждала его совести; его честь, ответственность, достоинство и все связанные с этим чувства были объектом ее вожделения, она страстно возжелала в нем каждого проявления его старшинства, порой казалось, что его лысина искушает ее сильнее, чем его усики! Но все это, конечно, пассивно с ее стороны - прижавшись к нему и сидя с ним неотлучно, она только поглощала его старшинство. И уступая ласкам нервной и утонченной, уже взрослой мужской руки, она тоже искала значительности в драматической смерти, превосходившей ее раннюю чувственную неискренность, цепляющуюся за чужую взрослость! Несчастливая! Ибо, вместо того, чтобы быть совершенной с Каролем (а это у нее получилось бы), она предпочитала халтурить и путаться с адвокатом, прикикая к его холеному уродству! Адвокат же был ей признателен и тихо ее гладил. А лампа светила. Так прошло несколько дней. И вот как-то раз Иполит сообщил нам, что ожидается прибытие еще одного человека - пана Семяна - который приедет в гости... И шепнул, рассматривая ноготь: - Приедет в гости.

И закрыл глаза.

Мы приняли это к сведению и не задавали ненужных вопросов. В вялой отрешенности его голоса не было ни малейшей попытки скрыть, что за "приездом" стоит подполье - сеть, которая всех нас

охватывала, связывая друг с другом, делая вместе с тем нас друг другу чужими. Каждый мог сказать только то, что ему было позволено сказать - остаток заполняло болезненное, тягостное молчание и догадки. Но в любом случае возникала явная угроза, которая уже несколько дней разбивала единство наших чувств после трагических событий в Руде, а тяжесть, та тяжесть, которая на нас давила, переносилась из непосредственного ближайшего прошлого в будущее, опасное будущее. Вечером, под одним из тех мелких, порывистых и затяжных дождей, что превращаются в ночной ливень, подъехал легкий экипаж и в случайно приоткрытых дверях прихожей показался высокий господин в пальто, со шляпой в руке, вслед за державшим лампу Иполитом он направился по лестнице наверх, туда, где ему уже была приготовлена комната. Потянуло сквозняком, чуть было не вырвавшим лампу из рук Иполита, хлопнула дверь. Я узнал его. Да, этого человека мне случалось прежде видеть, хотя он меня не знал, и внезапно я почувствовал себя в этом доме, как в капкане. Мне совершенно случайно было известно, что сейчас этот тип - какая-то большая шишка в подпольном движении, вожак, за которым стоит не только безумная отвага, и что его ищут немцы... да, это точно был он, но тогда его приход в дом означал приход непредсказуемости, во всяком случае мы были у него в руках, и смелость становилась не только его личным делом; подставляя под удар себя, он и нас подставлял под удар, он мог втянуть нас, впутать в свои дела - и ведь если бы он потребовал чего-нибудь, мы не смогли бы ему отказать. Ведь нас Народ связал: мы были товарищами и братьями, разве что братство это было как лед холодным, здесь каждый был инструментом в руках каждого и каждым можно было распорядиться как только заблагорассудится, лишь бы во имя общей цели.

И этот вот человек, такой близкий и так угрожающе чужой, прошел передо мной, как маячащая впереди опасность, и тогда все ошетинилось и затаилось. Я знал о том риске, который он навлекал своим появлением, но все никак я не мог отделаться от неприятного осадка, оставшегося от всей этой обстановки - операция, подполье, вожак, конспирация - как из дешевого романа, как запоздалое воплощение пустой юношеской мечты - и я предпочел бы, чтобы нам палки в колеса ставило все, что угодно, но только не народ и все связанные с ним романтизмы - эту, как будто специально назло

придуманную микстуру я уже тогда был не в силах переносить! Но нельзя было привередничать и отвергать то, чем угощала нас судьба. Я познакомился с “вожаком”, когда он спустился к ужину. Он был похож на офицера, а впрочем, он и был им - офицером кавалерии, с восточных окраин, наверное, с Украины - за сорок, лицо темное от сбритой щетины, сухое, элегантный, даже изящный. Поздоровался со всеми - видно, здесь он не впервые - дамам поцеловал ручки. - А, да, уже знаю, какое несчастье! А господа из Варшавы?... - Время от времени он закрывал глаза и становился похожим на человека, который уже долго-долго едет поездом, все едет и едет... Его посадили на дальнем конце стола, а здесь он, кажется, пребывал то ли под видом техника, то ли чиновника по контролю над поголовьем или поссвами - необходимая предосторожность в связи со службой. Что же касалось нас, сидящих за столом, то сразу было видно, что, несмотря на сонно и тускло тянувшийся разговор, все более или менее в курсе. Но в конце стола творились странные вещи, с Каролем, да-да, с нашим (молодым) Каролем, которого вновь прибывший одним своим присутствием вогнал в напряженное услужливое подчинение и рьяную готовность - и, переполняемый верностью, внутренне мобилизовавшийся, он неожиданно оказался рядом со смертью, он - партизан, солдат, подпольщик, у которого убийственная и тихая сила так и гуляла по рукам и плечам, готовый на все, как собака по первому свистку, четкий в деле, технически искусный. Впрочем, не он один. И я не знаю, из-за него ли так случилось, но вся эта еще недавно столь раздражавшая романтическая дрянь неожиданно ожила, а все мы приблизились к истине и силе в объединении, и сидели за этим столом, уже втянутые в возможность деятельности и борьбы, как ждущее приказа подразделение. Конспирация, операция, враг... это стало истиной более высокой, чем повседневная жизнь, вторгаясь в нее, как порыв свежего ветра, пропало болезненное отличие Гени и Кароля, мы все почувствовали себя соратниками. Однако братание это было безупречным! Нет... оно тоже было и мучительным и даже омерзительным! Ну, ради всего святого, разве не были мы, пожилые, немного смешны и в общем-то отвратительны в этой борьбе - то же самое бывает и с любовью в нашем возрасте - неужели такое пристало нам, одутловатости

Ипа, худобе Фридерика, изможденности пани Марии? Тот отряд, что мы составляли, был отрядом резервистов, а наше объединение было объединением в состоянии распада - меланхолия, апатия, отвращение, чувство гадливости возносились над нашим побратимством в борьбе и в охватившем нас порыве. Иногда мне странным образом казалось, что побратимство, порыв - все-таки, несмотря ни на что, возможны. А иногда мне хотелось сказать Каролю и Гене, ах, держитесь вы отдельно, не путайтесь с нами, избегайте нашей грязи, нашего фарса! Но они (она - тоже) льнули к нам, были готовы к выполнению приказов вместе с нами, за нас, ради нас, по первому же повелению вожака! И так в продолжение всего ужина. Я так чувствовал. То ли я так чувствовал, то ли Фридерик?

Как знать, может одна из самых сумрачных тайн человечества - и самых трудных - это та, что касается такого "объединения" возрастов - способа и образа, каким молодость становится вдруг доступной для старости и *vice versa*. Ключом к разгадке в данном случае был офицер, который, уже одним тем, что он офицер, был направлен на солдата и молодого... и это стало еще более очевидным, когда после ужина Фридерик предложил Семяну глянуть на убийцу в кладовке. Что касается меня, то я не верил в случайность такого предложения, я знал, что пребывание Юзека-убийцы-молодого в кладовке начало наступать и стало навязчивым с тех пор, как Кароль отдался под начало офицера. Мы пошли туда - Семян, Фридерик, я, Геня и Кароль с лампой. В зарешеченной комнатке он лежал на соломе - спал, свернувшись калачиком - а когда мы встали над ним, он зашевелился и во сне закрыл глаза рукой. Совсем ребенок. Кароль освещал его лампой. Семян дал знак не будить. Все смотрел на него, на убийцу пани Амелии, однако Кароль светил на него не как на убийцу; казалось, он показывал вожаку не молодого убийцу, а молодого солдата, показывал его, как своего товарища. Освещал его прямо как рекрута, будто речь шла о призыве в армию... а Геня стояла тут же за спиной и смотрела, как он на него светит. Меня поразило как нечто особенное, и даже всемерно достойное внимания, что солдат для офицера освещает другого солдата - что было дружеским и братским между ними, солдатами, но в то же время - чем-то ужасным, предающим на муки. Однако еще более значимым мне представлялось то, что

молодой старшему освещает молодого, хотя я не вполне понимал, что бы это могло значить...

В кладовке с зарешеченным окном произошел немой взрыв всей тройки, собравшейся вокруг лампы, в отблеске которой они взорвались тайно, содержанием неизвестным, деликатным, поспешным. Семян незаметно охватил их взглядом, лишь на мгновенье, но и мгновенья вполне хватило, чтобы я понял, что происходящее ему не так уж и чуждо.

9

Не помню, говорил я или нет, что четыре маленьких островка, поделенные позеленевшими от ряски каналами, представляли собой продолжение пруда? Через каналы были переброшены мостки. Аллейка в самом конце сада, проложенная через заросли орешника, жасмина и туи, давала возможность обойти посуху этот архипелаг, размоченный стоячими водами. По дороге туда мне показалось, что один из островков не похож на остальные... почему?... впечатление хоть и мимолетное, но сад слишком был втянут в игру, чтобы я мог пренебречь этим впечатлением. Впрочем... ничего. Замерли заросли островка с плюмажем деревьев. Стоял жаркий день, был предвечерний час, канал почти высох и блеснул панцирем тины с зелеными глазами воды - берега поросли тростником. Любую странность в наших условиях следовало подвергнуть незамедлительной проверке, потому-то я и перебрался на другой берег. Островок дышал зноем; буйство густой и высокой травы, множество муравьев, а наверху - кроны деревьев в своем собственном замкнутом существовании. Я пробрался через заросли и... Пойдите. Пойдите! Вот так сюрприз!

Там стояла скамейка. На скамейке сидела она, но ее ноги! - одна нога в чулке и обуви, а другая оголена выше колена... и ничего бы в этом не было такого, если бы и у него, лежавшего перед ней на травке, не была бы задрана брючина выше колена и тоже не была бы оголена одна нога. Неподалеку - его ботинок, в нем - носок. Ее голова повернута, она смотрела в сторону. Он не смотрел на нее, голову в траве обвивала рука. Нет, нет, все это может и не было бы скандальным, если бы так сильно не расходилось с их естественным ритмом - застывшие, странно неподвижные, как будто и не

они это... да и ноги, так неожиданно обнаженные, по одной из каждой пары ног, отсвечивающие своей телесностью в душной, жаркой влажности, прорываемой лягушачьим хлюпаньем! Он с голой ногой и она с голой ногой. Может, они бродили в воде... нет, в этом было нечто большее, не поддававшееся объяснению... он с голой ногой и она тоже с голой ногой. Она слегка шевельнула ногой, вытянула ее. Уперлась стопой в его стопу. Больше ничего.

Я смотрел. Мне вдруг открылась вся моя глупость. Ах, ах! Как же я - с Фридериком - мог быть таким наивным, чтобы считать, что между ними "ничего нет"... дать иллюзиям увлечь нас! И теперь передо мной как обухом по башке бьющее опровержение. Так значит, они встречались здесь, на острове... Громадный, освобождающий, насыщающий крик немо бил из этого места - а их сочленение не сопровождалось ни движением, ни звуком, ни даже взглядом (они не смотрели друг на друга). Он с голой ногой и она с голой ногой.

Хорошо... Но... Этого не могло быть. В этом была какая-то искусственность, нечто непостижимое, нечто извращенное... откуда эта как будто зачарованная мертвенность? Откуда этот холод в их распаленности? Какую-то долю секунды во мне жила совершенно безумная мысль, что, мол, *так и должно быть, что именно такое и должно происходить между ними*, что так естественней, чем если бы... Нелепость! И тут же меня посетила другая мысль, а именно, что за этим кроется какая-то комедия, хохма, что, может, они каким-то чудом дознались, что я буду здесь проходить, и делают это умышленно - для меня. Ведь все было как будто специально для меня, прямо в меру моего о них представления, в меру моего представления о стыде! Для меня, для меня, для меня! Пришпоренный мыслью, что все это для меня, теперь уже ни на что не обращающая внимания, я полез через кусты. И вот тогда картина стала более полной. На куче хвои, под сосной сидел Фридерик. Это было - для него!

Я встал... Увидев меня, он сказал им:

- Придется еще раз повторить.

И тогда, хоть я еще ничего не понимал, от них повеяло холодом молодой распушенности. Испорченность. Они не шевелились - их молодая свежесть была страшно холодной.

Галантный Фридерик подошел ко мне. - А! Как дела, дорогой

пан Витольд! (Приветствие неуместное, поскольку мы с ним расстались всего час назад). Что скажете насчет пантомимы? (он показал в их сторону округлым движением). Неплохо сыграно, а, что, ха-ха-ха! (и смех тоже был неуместным - к тому же громким). На безрыбье и рак - рыба! Не знаю, Вы в курсе моей режиссерской слабости? Я ведь какое-то время был артистом, не знаю, известна ли Вам такая деталь моей биографии?

Он взял меня под руку и, в высшей степени по-театральному жестикулируя, повел по газону. А те смотрели на нас и молчали. - У меня есть идея... сценария... киносценария... но некоторые сцены немного рискованы, требуют отработки, надо поэкспериментировать с живым материалом.

- На сегодня достаточно. Можете одеться.

Не оглядываясь на них, он повел меня по мосткам, громко, оживленно рассказывая о своих планах. Он считал, что практиковавшийся до сих пор способ написания пьес или сценариев "в отрыве от актера" безнадежно устарел. Следовало начинать от актеров, "комбинируя их" тем или иным образом, и из этих комбинаций строить ход событий в пьесе. Потому что пьеса "должна высвободить лишь то, что уже потенциально имеется в актерах как в живых людях, имеющих собственный диапазон возможностей". Актер "не должен вживаться в мнимый сценический образ, изображая не себя, а кого-то - совсем напротив, сценический персонаж следует подгонять под актера, сшить по размеру актера, как платье". - Я пробую, - смеялся он, - с этими детьми достичь чего-нибудь эдакого, даже пообещал им подарочек, ведь это работа! Эх, что ж, в забитой деревне скучает человек, надо чем-нибудь заняться, хотя бы ради здоровья, пан Витольд, ради здоровья! Я, естественно, предпочитаю не афишировать, потому что, кто знает, может это окажется слишком смелым для благопристойного Ипа и его жены, не хотелось бы нарываться на сплетни!... - Он говорил так громко, чтобы было слышно, а я шел рядом с ним, потупя взор - а в голове сидел раскаленный гвоздь открытия - и я почти не слышал, что он там говорит. Ловкач! Комбинатор! Лиса! Такое с ними вытворял, - вон ведь какую игру придумал для них!... И все летело в тартарары, ввергнутое в цинизм и извращение, огонь их растления пожирал меня, и я корчился в муках ревности! А зарницы воспаленного воображения освещали для меня этот их холодный,

дьявольски невинный - особенно ее, ее - разгул, ибо просто вводило в оцепенение то, что эта верная невеста... за обещание "подарочка"... лазит в кусты на такие сеансы...

- Наверняка, интересный театральный эксперимент, разумеется - отвечал я, - да, да, интересный эксперимент! - И как можно быстрее покинул его, чтобы поразмыслить о происшедшем - ведь разнузданность имела место не только с их стороны, и, как оказалось, Фридерик действовал последовательнее, чем я думал, - и даже сумел так близко к ним подобраться! Он без усталости делал свое дело. За моей спиной, на собственный страх и риск! Патетическая риторика, которую он развивал с Вацлавом после смерти пани Амелии, ему в этом не мешала - он действовал - но вот вопрос: как далеко он успел зайти на этом пути? И куда еще мог уйти? И хотя вопрос стоял о нем, проблема границы становилась первостепенной - особенно потому, что он и меня тянул за собой. Я встревожился. Снова вечер, и снова - едва уловимое истончение света, углубляются и становятся более насыщенными темные цвета, увеличиваются дыры и закоулки, в которые заливается соус ночи. Солнце уже село за деревьями. Тут я вспомнил, что оставил на крыльце книгу, пошел за ней... в книге я нашел конверт без адреса, в нем лист, написанный карандашными каракулями:

"Пишу, чтобы объяснить. Не хочу в этом деле оставаться один, совершенно один, один на один с собой.

Когда ты один, то нет уверенности, что, напр., ты не свихнулся. Другое дело - вдвоем. Двое - это уверенность и объективная гарантия. Когда двое - то нет отклонения!

Я этого не боюсь. Потому как знаю, что не мог бы сойти с ума. Даже если бы захотел. Для меня это исключено, я антисумасшедший. Я хочу гарантировать себя от другой вещи, может, более серьезной, то есть, конкретно, от некоей, я бы сказал, аномалии, некоего преумножения возможностей, которое происходит, когда человек удаляется и сходит с одной-единственной, разрешенной дороги... Вы меня понимаете? У меня нет времени на ясное изложение. Если бы я с Земли отправился на экскурсию на какую-то другую планету, хоть бы на Луну, и тогда я предпочел бы быть с кем-нибудь - на всякий случай, чтобы мое человеческое начало могло хоть в чем-нибудь раскрыться.

Я буду писать, информировать. Строго конфиденциально -

неофициально - тайно от нас самих, т.е. по прочтении сжечь, ни с кем не обсуждать, даже со мной. Как будто ничего нет. Зачем искушать, да и кого - себя что ли? Лучше не афишировать.

Даже хорошо, что Вы все видели на острове. А двое видят совсем не то, что видит один. Вся работа псу под хвост, хоть бы их возбудило что ли и соединило, так нет же - они всухую, как актеры... только ради меня, только по моей просьбе, и если их что-то и возбуждает, то это только я, а не они сами! Какая досада! Какая досада! Вы знаете, как обстоит дело, ведь вы видели. Но ничего. В конце концов мы их разогреем.

Вы видели, а теперь надо, чтобы Вы Вацлава на это дело сманили. Пусть он посмотрит! Скажите ему так: 1) что, прогуливаясь, Вы случайно заметили их рандеву на острове; 2) что Вы считаете своим долгом сообщить ему; 3) они не знают, что Вы их видели. А завтра приведите его на спектакль, главное в том, чтобы он их увидел, не видя меня, я все в деталях продумаю и напишу, Вы получите инструкции. Обязательно! Это важно! Прямо завтра! Он должен знать, должен увидеть!

Вы спрашиваете, каков мой план? А никакого плана и нет. Я иду по линии напряжений, понимаете? Иду по линии возбуждений. Мне сейчас нужно, чтобы он увидал, и чтоб они тоже знали, что их увидели. Надо их зафиксировать на измене! Потом посмотрим, что будет дальше.

Пожалуйста, сделайте как прошу. Не отвечайте. Письмо буду оставлять на ограде около ворот, под кирпичом. Письмо сжигайте.

А этот второй, этот N2, этот Юзек, что с ним, как, в какой комбинации его с ними скомбинировать, чтобы все это заиграло, он ведь так подходит, лучше не придумашь, ломаю голову, пока не знаю, но постепенно как-нибудь втянется, влетится, только вперед, только дальше! Пожалуйста, выполните все точно."

Письмо меня ошарашило! Я стал ходить с ним по комнате и в конце концов ушел в поле, где меня встретила сонность вздымающейся земли, подножия пригорков на фоне убегающего неба и растущий предночной натиск всех вещей. Уже досконально изученный пейзаж, о котором я знал, что застаю его здесь - но письмо выталкивало меня из пейзажей; о, да, письмо меня выталкивало, и я размышлял, что делать, что делать? Что делать? Вацлав, Вац-

лав - но этого я ни за что бы не сделал, это вообще не подлежало выполнению - и ужасало тем, что дымка фантастического вождения, становясь определенным заданием, материализуется в факт, в конкретный факт, лежащий у меня в кармане. В своем ли уме был Фридерик? Не был ли я ему нужен лишь для того, чтобы удостоверить мною свое помешательство? Воистину то был последний удобный момент порвать с ним - и тогда у меня появилась возможность очень просто все решить, во всяком случае, я мог объясниться с Вацлавом и Иполитом... и уже тогда мне виделся разговор с ними: - Понимаете, какое дело... Боюсь, что Фридерик... подвержен каким-то психическим недомоганиям... я за ним уже давно наблюдаю... ну в общем, после всех этих чертовых пертурбаций не он первый, не он последний... но в любом случае надо обратить внимание, мне кажется, что это какая-то мания, эротическая мания и, кажется, на пункте Гени и Кароля... - Так бы я им сказал. И каждое мое слово выпихивало бы его из общества людей здоровых, делало бы сумасшедшим - и все это можно было бы повернуть за его спиной, делая из него объект нашей неназойливой опеки и деликатного присмотра. Он бы ни о чем не догадался - а не зная, он не мог бы защищаться - и из демона превратился бы в помешанного, вот и все. А я бы пришел тогда в себя. Еще было не поздно. Я пока еще не сделал ничего такого, что бы компрометировало меня, письмо было первым материальным свидетельством моего с ним сотрудничества... потому-то оно так и тяготило. Итак, надо было решиться - и, возвращаясь домой, когда деревья расплывались пятнами, проникнутые той неопределенностью, единственным содержанием которой был сумрак, я нес с собой решимость обезвредить его и выбросить в сферу обычного недоразумения. Но вот и кирпич забелел у ворот - я глянул - а там уже ждало меня новое письмо.

“Червяк! Вы в курсе! Вы все поняли! Вы тогда наверняка, как и я, прочувствовали это!

Тот червяк - это Вацлав! Они сошлись на червяке. Они сойдутся и на Вацлаве. Растаптывая его.

Они не хотят друг с другом? Не хотят? Вот увидите, что из Вацлава мы вскоре сделаем для них постель, в которой они спят.

Сюда необходимо вовлечь Вацлава, надо 1) чтобы он это



увидел. П.п. Продолжение последует”.

Я взял письмо наверх, в свою комнату, и только там прочитал его. Потрясающе: его содержание было мне настолько ясным, как будто я его сам себе писал. Да, Вацлав должен был стать раздавленным ими червем, должен был довести до греха, сделать их грешниками, ввергнуть в ночь раскаленных страстей. Что, собственно, препятствовало этому, почему они НЕ ХОТЕЛИ друг друга? Ах, я знал - и не знал - известно, но неуловимо, как молодость, ускользающая от взрослой мысли... но в любом случае это была какая-то сдержанность, какая-то совесть, какой-то закон, да, внутренний запрет, которому они следовали... а потьму, видимо, не ошибался Фридерик, полагая, что они разнуждаются только тогда, когда вдвоем растопчут Вацлава, когда распустятся на нем! Если они станут любовниками для Вацлава... то станут любовниками и друг для друга. А для нас, уже слишком старых, это единственная возможность эротического приближения к ним... Вовлечь их в измену! Когда они окажутся в ней вместе с нами, тогда произойдет смешение и соединение! Я понимал это! И знал, что грех не обезобразит их, совсем напротив, эти молодость и свежесть будут еще сильнее, когда, втянутые нашими перезрелыми руками в испорченность, они почернеют и соединятся с нами. Да! Я знал это! Все, хватит кроткой и, как водится, благородной молодости - теперь речь шла о создании иной молодости, той, которая трагически пронизана нами, старшими.

Воодушевление. Разве меня это не воодушевляло? Ну да, разумеется. Я, будучи уже вне красоты, исключенный из мерцающей сети очарования - и не очаровывающий, не умеющий снискать себе симпатию, безразличный природе... да, я все еще был способен восхищаться, но знал, что мое восхищение уже никогда не будет восхитительным... а потому я был в этой жизни как паршивая и побитая собака... Однако, когда в моем возрасте выпадет случай коснуться цветения, вступить в молодость хотя бы ценой растления, тогда оказывается, что и поглощенному красотой уродству тоже можно найти применение... Искушение, опрокидывающее все препятствия, неотразимое искушение! Воодушевление, даже безумие, гнетущее - но с другой стороны... Но ведь! Но как же! Нет! Слишком безрассудно! Этого нельзя делать! Чересчур личное - чересчур частное и особенное - и беспрецедентное! Ступать на этот

демонический, на этот особый путь, с ним, с существом, которого я боялся, ибо ощущал его как существо экстремальное, понимая, что он должен слишком далеко завести!

И, подобно Мефистофелю, разрушать любовь Вацлава? Нет, подлая и глупая прихоть! Не для меня! Ни за что! Так значит, что? Отступить, пойти к Иполиту, Вацлаву, представить его как клинический случай, сделать из черта психа, из ада - больницу... и я уж собрался идти, чтобы как в клещи схватить эту разгулявшуюся разнузданность. Разгулявшуюся... Интересно, где? Что он делает сейчас? То, что он сейчас что-то делает - нечто такое, о чем я не знаю - вытолкнуло меня, как пружиной, я вышел во двор, меня окружили собаки - никого, лишь дом, только что оставленный мною - замаячил передо мной и стал сбоку, как вещь. Свет в окнах кухни. На втором этаже окно Семяна (совсем забыл о нем). Я, затерявшийся среди деревьев, стою перед домом, просверленный далью рассвеченного звездами небосвода. Я засомневался, заколебался, а дальше - ворота, у ворот - кирпич; пошел к воротам, как будто исполнял обязанность, пошел, а когда было совсем близко, осмотрелся... не сидит ли он где в кустах. Под кирпичом - новое письмо. Ну, расписался!

“Вы ясно все понимаете?”

Я уже кое-что разузнал.

1) ЗАГАДКА: почему они друг с другом не?... Что? Знаете? А я знаю. Это было бы слишком ПОЛНО для них. Слишком СОВЕРШЕННО.

НЕПОЛНОТА-ПОЛНОТА, вот ключ!

Боже правый! Ты - Полнота! Но это прекраснее Тебя и я сим отказываюсь от Тебя.

2) ЗАГАДКА: почему они льнут к нам? Почему флиртуют с нами?

Потому что они нами хотят друг друга. Нами. А еще - Вацлавом. Нами, пан Витольд, дорогой мой, нами, нами. Они должны через нас. Вот потому они и кокетничают с нами!

Вы когда-нибудь видели что-нибудь подобное? Что мы им нужны для этого?

3) Вы знаете, в чем опасность? В том, что, будучи во всем совершенстве моего духовно-интеллектуального развития, я нахожусь во власти рук легких, несовершенных, пока еще растущих. Боже! Они все еще растут! Они легко-легко, поверхностно

вводят меня во что-то такое, что мне придется в мыслях и чувствах вычерпать до дна. Они легко-легкомысленно подадут мне чашу, которую я должен буду испить до последней капли...

Я ведь всегда знал, что меня что-то такое ожидает. Я - Христос, распятый на 16-летнем кресте. Пока! До встречи на Голгофе. Пока!"

Ну и расписался! И опять я сидел у лампы в комнате наверху: предать его? Выдать? Но в таком случае я и себя должен был бы предать и выдать!

И себя!

Все это теперь принадлежало не только ему. Это было также и мое. Из себя делать сумасшедшего? Выказать в себе единственную способность входить, входить... во что? Во что? Во что? Что это было? Меня снизу позвали на ужин. Когда я оказался в той повседневной структуре, какую мы воссоздавали за столом, все повседневные проблемы, война и немцы, деревня и заботы, снова возвратились и снова ударили по мне... но, перестав быть моими, они ударили как-то по-чужому...

Фридерик тоже сидел здесь, на своем месте - и, поедая вареники, рассуждал о положении на фронтах. Несколько раз он обращался ко мне, интересуясь моим мнением.

10

Посвящение Вацлава произошло строго в соответствии с планом. Ничто непредвиденное не осложнило посвящения, прошедшего гладко и спокойно.

Я сказал, что "хочу ему кое-что показать". Привел его к каналу, на условленное место, откуда через просвет между деревьями можно было наблюдать сцену. В этом месте канал был довольно глубок - необходимая предосторожность, чтобы он не рванулся на остров и не обнаружил присутствия Фридерика.

Сцена, которую в его честь придумал Фридерик, выглядела следующим образом: Кароль под деревом, она здесь же, за ним, оба с поднятыми головами, всматриваются во что-то на дереве, может в птицу. Он поднимает руку. Она поднимает руку.

Их ладони, высоко поднятые над головами, "непроизвольно" сплетаются. А сплетаясь, неожиданно быстро и резко идут вниз. Оба

склоняют головы и смотрят на руки. И тогда они внезапно падают, собственно говоря, непонятно было, кто кого повалил, но выглядело так, будто это руки их повалили.

Упав, они секунду лежали вместе, но тут же сорвались... и снова встали, как будто не знали, что дальше делать. Она медленно отошла, он - за ней, потом они исчезли за кустами.

При всей своей внешней простоте сцена утонченная. В ней простота соединения рук получала неожиданный импульс - коим было падение на землю - натуральность подвергалась почти что конвульсивному осложнению, столь резкому отклонению от нормы, что какое-то мгновение они воспринимались как марионетки в руках стихии. Но то было лишь мгновение, а их вставание, их спокойный уход навевали мысль, что они к этому уже успели привыкнуть... Что как будто это не в первый раз с ними случается. Как будто это им хорошо знакомо.

Испарения канала. Влажная духота. Неподвижные лягушки. Было пять вечера, сад изнемогал. Жара.

- Зачем Вы меня привели сюда? - спросил он, когда мы возвращались домой.

Я ответил:

- Считал своим долгом.

Он задумался.

- Спасибо.

Когда мы были совсем близко от дома, он сказал: - Не думаю, чтобы это... имело значение... Но в любом случае спасибо за то, что Вы обратили мое внимание... Я поговорю с Геней.

И все. Потом он пошел в свою комнату. А я остался, разочарованный, как это всегда бывает, когда что-то становится реальностью - ибо реализация всегда темна, недостаточно выразительна, лишена величия и чистоты намерения. После выполнения задания я, опустошенный рожденным мною фактом, сразу оказался не при деле - куда деваться? Стемнело. Потом еще больше стемнело. И тогда я вышел в поле и, низко склонив голову, пошел по меже, все равно куда, лишь бы идти, а земля у меня под ногами была обычная, тихая и добрая. Возвращаясь, заглянул под кирпич, но там ничего не было. Только кирпич - темный от влаги и холодный. Я зашагал по дороге через двор и задержался, не в силах войти туда, в пространство происходящих событий. Но в тот же самый момент

жар их соприкосновения, их юной и разбуженной крови, их сплетение, объятия пахнули на меня таким зноем, что, распахивая двери, я влетел в дом, чтобы дальше претворять план в жизнь! Я ворвался! Но здесь меня ожидал один из тех странных поворотов, которые, как правило, ставят в тупик...

Иполит, Фридерик и Вацлав позвали меня в кабинет.

Я осторожно вошел, подозревая, что их сбор связан со сценой на острове... но что-то меня кольнуло, что-то совсем из другой оперы. За письменным столом сидел поникший Иполит и тарасил на меня глаза. Вацлав ходил по комнате. Фридерик полулежал в кресле. Молчание. Заговорил Вацлав:

- Надо сказать пану Витольду.

- Они хотят убрать Семяна, - поспешно объяснил Иполит.

Я пока еще не понимал. Тут же последовало разъяснение, окунувшее меня в новую ситуацию - и снова пахнуло театральным штампом патриотического подполья - а от этого впечатления, видимо, и Иполит не был свободен, потому что начал говорить строго, как будто делал одолжение. И резко. Мне стало известно, что ночью Семян "виделся с приехавшими из Варшавы людьми" с целью уточнения деталей одного дела, которое он должен был проверить в провинции. Но в ходе этого разговора произошел "скандал, дорогой мой", поскольку Семян якобы сказал, что ни этой операции, ни какой другой уже больше не проведет, что раз и навсегда покидает подполье и "возвращается домой". Ну, конечно, скандал! Все зашумели, стали нажимать, а он под конец вышел из себя и ляпнул, что, мол, сделал все, что мог, и что он больше не может - что "смелость покинула его" - что "смелость превратилась в страх" - что "оставьте меня в покое, во мне что-то сломалось, во мне засела тревога, сам не знаю как" - что он больше не годится, что было бы легкомысленным поручать ему хоть что-нибудь в таких условиях, что он лояльно об этом предупреждает и просит освободить его. Это уже было слишком. В нервной перепалке начинало рождаться поначалу неясное, потом все более острое подозрение, что Семян сошел с ума, или что он по крайней мере психически совершенно истощен - и тогда на нас накатил волна паники, потому что те секреты, которые он знает, переставали быть секретами, и не было больше уверенности в том, что он не сыпанется... а это, принимая во внимание некоторые приводящие

обстоятельства, приобретало вид катастрофы, поражения, чуть ли не конца света, и вот в этой концентрации, давлении, напряжении в итоге выстреливало испуганное и пугающее решение умертвить, решение безотлагательной ликвидации. Ип говорил, что они сразу хотели пойти за Семяном в его комнату и застрелить - но что он, Ип, уговорил отсрочить до следующей ночи, так как дело надо обзоговать, технически подготовить ввиду опасности для нас, домочадцев. Тогда согласились отложить, но не дольше, чем на сутки. Они боялись, что Семян почует опасность и убежит. Впрочем, Повурная лучше всего годилась для осуществления их замысла, поскольку он прибыл сюда тайно и никто его здесь не искал. Сошлись на том, что в ближайшую ночь они снова соберутся, чтобы "замочить" его.

Почему же истина нашей борьбы с врагом и оккупантом должна была проявиться в столь ярком наряде (до какой же степени это бесило и унижало!), как в дрянном театре, хотя здесь были кровь и смерть, причем самые настоящие? Я спросил, чтобы лучше понять, обвыкнуться с новым положением: - Чем он сейчас занят? Иполит ответил:

- Наверху. В комнате. Заперся на ключ. Просит дать коней, настаивает на возвращении. А как я могу дать ему коней?

И шепнул себе под нос:

- Как я могу дать ему коней?

Разумеется, он не мог. Другой вопрос, что такие дела так не делаются - чтоб человека порешить без суда, без формальностей, без какой бы то ни было бумажки? Но это уже нас не касалось. Мы говорили друг с другом как люди, на которых свалилось горе. Однако, на мой вопрос, что они собираются делать, я получил вульгарный ответ: "Что Вам надо? О чем тут говорить? Надо сделать и точка!" Тон Иполита говорил о молниеносном изменении в наших отношениях. Я перестал быть гостем, теперь я был на службе, вместе с ним я был вовлечен в суровость, в жестокость, направленную в равной степени и против Семяна и против нас. В чем же он провинился перед нами? Так, вдруг, сразу, убивать его, подставляя самих себя.

- Пока что делать ничего не надо. Они должны вернуться в полпервого. Сторожа я послал в Островец под предлогом срочного дела, собак не будут спускать. А их я только провожу к нему наверх

и пусть делают, что захотят. Одно лишь условие: чтобы было без шума, а то весь дом разбудят. Если насчет трупа, то уберем... я все уже обдумал, в сарае. А завтра кто-нибудь из нас отвезет Семяна на станцию, и баста. Главное, чтобы тихо, и тогда все пройдет как по маслу, так, что ни одна живая душа не узнает.

Фридерик спросил: - В том старом сарае, что за каретной?

Он спросил по-деловому, как заговорщик, как исполнитель - и, несмотря ни на что, я почувствовал облегчение, заметив его решимость - вылитый пьяница, которого взяли в рекруты. Разве что уж больше пить не мог. Но тут эта новая авантюра показалась мне чем-то здоровым и значительно более приличным, чем прошлые наши начинания. Впрочем, моя успокоенность продолжалась недолго.

Сразу после ужина (прошедшего в отсутствие Семяна, который уже несколько дней был "нездоров" - ему еду посылали наверх) я пошел на всякий случай к воротам, а там под кирпичом белела бумажка.

"Есть сложности. Она нам ставит палки в колеса.

Надо переждать. Тихо, тссс.

Надо осмотреться, как и что. Как пойдут дела. Если будет скандал и надо будет смываться, мы напр. в Варшаву, они - еще куда-нибудь, ну, тогда ничего не поделаешь - тогда все развалится.

Надо знать эту старую б.. Вы знаете, о ком я говорю? Она, т.е. Природа. Если она ударит с флангов какой-нибудь неожиданностью, не надо протестовать, сопротивляться, надо покорно и кротко приспособиться, fair воппе тiпе... но в душе не поддаваться, не потерять из виду нашей цели, причем так, чтобы Она знала, что у нас все-таки другая, своя собственная цель. Она бывает поначалу в своих вмешательствах оч. основательна, решительна и т.д., но потом как будто это перестает ее интересовать, она делает поблажки, и тогда потихоньку можно вернуться к собственной работе и даже тогда можно рассчитывать на поблажку... Внимание! Прошу Вас соотносить свое поведение с моим. В целях избежания противоречий. Буду писать. Это письмо обязательно сжечь".

Это письмо... Это письмо, в еще большей степени, чем предыдущее, было письмом сумасшедшего - но как прекрасно понимал я его безумие. Оно было для меня так прозрачно! А тактика, к

которой он прибегал в своих отношениях с природой - ведь и мне была не чуждой! И было ясно, что он глаз не сводит со своей цели; это писалось для того, чтобы не отступать, чтобы обозначить, что до сих пор он остается верным своему намерению; создававшее впечатление уступчивости письмо было в то же время воззванием к сопротивлению и упорству. И кто знает, мне ли писалось письмо, или Ей - чтобы она знала, что мы не собираемся уступать - может, он разговаривал с Ней через меня. Меня озадачило, что каждое слово Фридерика, как и каждое его действие, лишь по форме были обращением к тому, к кому адресовывались, а по сути были тем беспрестанным диалогом, который он вел с Силами Небесными... диалогом хитрым, где ложь служила истине, а истина - лжи. О, как он притворялся в этом письме, что пишет тайно от Нее - поскольку на самом деле писал лишь для того, чтобы Она узнала! И рассчитывал на то, что эта хитрость обезоружит Ее - а может и рассмешит... Остаток вечера прошел в ожидании. Мы незаметно посматривали на часы. Лампа едва освещала комнату. Геня, как всегда по вечерам, устроилась подле Вацлава, он, как обычно, обнял ее, а я сделал вывод, что "остров" ничего не изменил в его чувствах. Непроницаемый, сидел он рядом с ней, а я все ломал голову над тем, насколько он заполнен Семянном, и насколько может его достичь движение и шум Кароля, который что-то там переворачивал и приводил в порядок в ящиках. Пани Мария шила (как и "дети", она не была посвящена в тайну). Фридерик сидел в кресле: ноги вытянуты, руки на подлокотниках. Иполит - на стуле, задумавшись. Наше возбуждение окутывала усталость.

Обособленные Семянном, этим нашим тайным заданием, мы, мужчины, составляли отдельную группу. Но случилось так, что Геня спросила: "Что это ты вытворяешь с вещами, Кароль?" - "Не лезь!" - ответил он. Неизвестно что означавшие и непонятно в каком направлении действовавшие, их голоса раздалось *in blanco* - мы даже ухом не повели.

Около одиннадцати они вместе с пани Марией пожелали нам спокойной ночи и ушли, а мы, мужчины, остались сидеть. Иполит приготовил лопаты, мешок, веревки, Фридерик на всякий случай проверил оружие, мы с Вацлавом осмотрели двор. Окна дома погасли, за исключением одного на втором этаже - окна Семяна - пробивавшего через занавески бледными испарениями света и тре-

воги, тревоги и света. Как могло случиться, что его отвага неожиданно превратилась в страх? Что же произошло с этим человеком, что он так сразу сломался? Из вожака превратился в труса? Подумать только! Какая метаморфоза! Внезапно мне показалось, что дом заполнен двумя различными возможностями безумия, с Семяном на втором этаже, и с (ведущим свою игру с природой) Фридриком - на первом... оба они были так или иначе приперты к стенке, доведены до крайности. Вернувшись домой, я чуть было не рассмеялся при виде Иполита, который изучал два кухонных ножа, проверяя их остроту. Боже мой! Добропорядочный толстяк, превратившийся в душегуба и готовившийся к резне, был как из фарса - и сразу небрежность нашего втиснутого в убийство и такого бездарного приличия превратило все в представление любительской труппы, скорее забавное, чем страшное. Впрочем, делалось это *на всякий случай* и решающего значения не имело. Но одновременно блеск ножа поразил меня как нечто неотвратимое: жребий был брошен, уже появился нож!

Юзя!... и глаза Фридрика, впившиеся в нож, не оставляли места для сомнения, стало ясно - он о том же самом думает. Юзя... Нож... Похожий на тот нож, что был у пани Амелии, почти такой же; и здесь среди нас - ах, этот нож напоминал нам об убийстве, вызывал его, был своего рода повторением а priori - уже здесь, уже сейчас подвешенный в воздухе - по крайней мере страшная аналогия, знаменательное повторение. Нож. Вацлав тоже напряженно присматривался к нему - и так два этих ума, Фридерик и Вацлав - набросились на нож и начали над ним работу. Но они были на службе, в деле - замкнулись каждый в себе - а мы по-прежнему предавались приготовлениям и ожиданию.

Эту работу надо было сделать - но к тому времени мы уже были слишком утомлены, нас тошнило от мелодрамы Истории, мы слишком жаждали обновления! После полуночи Иполит тайно отправился на встречу с аковцами. Вацлав пошел наверх, стеречь двери Семяна - я остался с Фридриком, на меня еще никогда не сваливалась такая тяжесть. Я знал, что он хочет что-то сказать, но нам запрещалось разговаривать - вот потому он молчал - и хотя никто не смог бы подслушать, мы вели себя так, как будто мы незнакомы, а наша осторожность вызывала из небытия некую третью величину неизвестного характера, нечто неуловимое, но в

то же время и неотступное. И его лицо - ставшее мне таким близким, лицо сообщника - было как стена передо мной... Мы были друг подле друга, друг подле друга и все, мы только были и были, до тех пор, пока не послышались тяжкая поступь и сопение возвратившегося Иполита. Почему один? Что случилось? Все валится! Какая-то накладка. Что-то не сработало. Паника. Те, что должны были прибыть, не явились. Приехал кто-то другой и уже успел уехать. А что касается Семяна, - сказал Ип, - то...

- Ничего не поделаешь, нам придется все дело взять на себя. Они не могут, им надо исчезнуть. Таков приказ.

Что?! Но словами Иполита на нас давило принуждение, приказ, ни под каким предлогом нельзя его упускать, особенно сейчас, от этого зависит судьба многих людей, нельзя рисковать, есть приказ, нет, не письменный, не было времени, вообще больше нет времени, нечего разговаривать, должно быть исполнено! Это поручено нам! Так выглядел приказ, приказ грубый, панический, родившийся на пределах неизвестного нам напряжения. Подвергнуть его сомнению? Это переложило бы ответственность за все последствия - возможно, катастрофические - на нас, ведь не стали бы прибегать к таким ужасным средствам без причины. И сопротивление с нашей стороны могло показаться поиском уверток - в то время, когда мы требовали от себя полной готовности. Поэтому никто никому не простил бы даже внешнего проявления слабости, и если бы Иполит сразу проводил бы нас к Семяну, мы, вероятно, все сразу и сделали бы. Но неожиданно возникшее осложнение давало нам повод отложить акцию до следующей ночи, во всяком случае предстояло поделить роли, подготовиться, обезопасить себя... и стало ясно, что если можно отложить, то отложить надо... поэтому мне поручили сторожить двери Семяна до зари, после чего меня сменял Вацлав, и мы пожелали друг другу спокойной ночи, поскольку были мы людьми хорошо воспитанными. Забрав лампу, Иполит удалился в спальню, а мы задержались еще немного около лестницы, ведущей на второй этаж, когда чья-то фигура промелькнула в темной анфиладе комнат. Вацлав пустил фонарем световой столб. Кароль. В одной рубашке.

- Где ты был? Что шатаешься по ночам? - тихо прикрикнул Вацлав, не в силах сдержать нервы.

- Я в туалете был.

Что ж, похоже на правду. Видимо, так оно и было. Вацлав не издал бы внезапно столь взволнованного возгласа, если бы не то обстоятельство, что он выхватывал Кароля светом своего собственного фонаря. Но, выхватив, он громко, почти неприлично застонал. Он удивил нас этим возгласом. Не меньше, однако, нас удивил непривычно вульгарный и вызывающий тон Кароля.

- Чего вам надо?

Он был готов к драчке. Жених тотчас же погасил фонарь. - Я очень извиняюсь, - раздалось во мраке. - Я только так спросил.

И быстро ушел в темноту.

Я мог не выглядывать из моей комнаты, чтобы стеречь Семяна - мы жили через стену. У него горел свет, но было тихо. Опасаясь, что засну, я предпочитал не ложиться; сел за стол, в моей голове продолжал пульсировать ритм разогнавшегося бега событий, с которым я не мог совладать, поскольку над материальным потоком фактов, как солнечные блики над водоворотом, возносилась сфера мистических акцентов и значений. С часок я посидел, всматриваясь в мерцающий поток, и вдруг заметил бумагу, ожидавшую меня в двери.

“Относительно последней стычки В-К. Как злость выстрелила. К. его чуть не побил!

Они уже знают, что он их видел. В этом причина.

Они уже знают, я им сказал. Сказал, что Вы мне сказали, что Вацлав сказал Вам, что случайно увидел на острове. Что, прогуливаясь, он случайно увидел их (а не меня).

Как нетрудно догадаться, они рассмеялись, т.е. вместе рассмеялись, потому что я сказал это обоим сразу, а они были вместе, и должны были рассмеяться... потому что вместе и к тому же в моем присутствии! Теперь они ЗАФИКСИРОВАНЫ в качестве смеющихся мучителей В. Это истинно в той мере, в какой они вместе, в паре, как пара - ведь Вы видели за ужином, что она как таковая, т.е. рассматриваемая отдельно, остается верной своему жениху. А когда они вдвоем, то смеются над ним.

А теперь НОЖ.

Нож создает связь С (Семяна) - С1 (Скузьяк).

Из чего следует: (СС1)-В. Через А, через убийство Амелии.

Ну, какова алхимия! Как все соединилось! И хотя соединения пока еще нечетки, но уже видно, что существует СКЛОННОСТЬ в данном направлении... И подумать только, что я не знал,

что сделать со Скузьяком - а тут он сам сейчас влезает этим НОЖОМ. Но, осторожно! Чтобы не спугнуть! Не надо форсировать... не надо навязываться, давайте плыть по течению, как будто ничего не случилось, но каждый раз пользоваться любыми возможностями, приближающими нас к нашей цели.

Надо участвовать в подпольной акции Ипа. Не подавая виду, что наша подпольная акция - другая. Держите себя так, как будто Вы участвуете в борьбе народа, в АК, в дилемме Польша-Германия, как будто речь идет именно об этом... а на самом деле главное для нас, это чтобы

ГЕНЬКА С КАРОЛЕМ.

Но этого нельзя обнаруживать. Это нельзя выдавать никому. Об этом ни гу-гу. Никому. Даже себе. Это не надо внушать - предлагать. Тихо! Пусть все идет само собой...

Здесь нужны смелость и настойчивость, потому что мы должны тихо настаивать на своем, даже если оно и покажется сладострастным свинством. Свинство перестанет быть свинством, если мы будем его отстаивать! Мы должны идти вперед напролом, а если мы дадим поблажку, то свинство нас затопит. Не дайте себя отвлечь от нашего дела - не предайте! Возврата нет.

Кланяюсь. С уважением. По прочтении - сжечь”.

“По прочтении - сжечь” - приказывал он. Но уже было написано: “Главное - это чтобы ГЕНЬКА С КАРОЛЕМ”... Кому это адресовывалось? Мне? Или Ей, природе?

Кто-то постучал в дверь.

- Войдите.

Вошел Вацлав.

- Можно с Вами поговорить?

Я предложил ему стул, он сел. Я же сел на кровать.

- Прошу прощения, я знаю, Вы устали. Но только что я пришел к мысли, что не смогу глаз сомкнуть, если не поговорю с Вами. Не как раньше, по-другому. Откровеннее. Я надеюсь, Вы не обидетесь. Вы догадываетесь, о чем идет речь. О... о том, что было на острове.

- Я не мог бы Вам много...

- Знаю. Знаю. Простите, что перебиваю. Я знаю, что Вы ничего не знаете. Но я хочу знать, что Вы об этом думаете. Я никак

не могу справиться с моими мыслями. Что Вы об этом думаете? Что Вы - думаете?

- Я? А что я могу думать? Я лишь посвятил Вас, считая своим дол...

- Разумеется. Я Вам очень признателен. Просто не знаю, как и благодарить. Но хотелось бы знать Вашу точку зрения. Может так: я сначала представлю свою точку зрения. По-моему, здесь ничего такого нет. Ничего важного - потому что они знают друг друга с детства и... Здесь больше глупости, чем... Впрочем, в их возрасте! Наверняка в прошлые годы между ними что-нибудь... было... может что-нибудь полудетское, знаете, приставания и ухаживание, и это вылилось со временем в несколько специфическую форму - странную форму, а? И теперь они время от времени возвращаются к прежнему. Такая, знаете, проклевывающаяся, намекающаяся чувственность. А кроме того, не исключен и некоторый оптический обман, ведь мы смотрели издалека, из-за кустов. В том, что касается чувств Гени, я не сомневаюсь. Не имею права. Не имею оснований. Знаю, что она любит меня. Как вообще я могу сравнивать нашу любовь с этим ребячеством. Бессмыслица!

Тело! Он сидел прямо передо мной. Тело! Он был в халате - в нем он держал свое упитанное, взлелеянное, пухлое и белесое, туалетное и халатное тело! Сидел с этим своим телом как с чемоданом, или даже с несессером. Тело! Я, взбешенный телом и тем самым телесный, иронически всматривался и всюю насмеялся, чуть ли не посвистывая. Ни грана сочувствия. Тело!

- Вы можете мне верить или не верить, но я бы не волновался по этому поводу... Разве что... одна вещь меня беспокоит. Не знаю, может это обман зрения... Поэтому я хотел бы Вас спросить. Заранее прошу прощения, если сказанное покажется Вам несколько... невероятным. Признаюсь, даже не знаю как и сказать. То, чем они занимаются... Вы понимаете, это было довольно странно. Ведь *не так делается!*

Он замолчал и сглотнул слюну, и застыдил, что сглотнул.

- Вы так считаете?

- Ну да, явно что-то ненормальное. Понимаете, если бы они целовались - но как обычно... Если бы он, скажем, повалил ее - но как обычно. Даже если бы он обычно овладел ею на моих глазах. Все это меня бы меньше... смутило... чем эта... странность... странность этих движений...

Он взял меня за руку. Посмотрел мне в глаза. Меня перекосило от отвращения и я возненавидел его.

- Скажите мне откровенно, я прав? Может я не разглядел как следует? Может эта странность - во мне? Сам не знаю. Скажите, пожалуйста!

Тело!

Тщательно скрывая легкомысленную, но безжалостную озлобленность, я сказал - собственно, я ничего такого не сказал - но это "ничего" подлило масло в огонь: - Трудно сказать... В общем-то, да... До некоторой степени...

- Но я не знаю, как к этому отнестись? Может это что-то существенное? И насколько у них далеко зашло? Скажите мне, пожалуйста, не считаете ли Вы, что она и он?...

- Что?

- Простите! Я имею в виду sex-appeal. То, что у нас называется sex-appeal. Когда я увидел их вместе в первый раз... год назад... мне сразу бросилось в глаза. Sex-appeal. Влечение. Половое влечение. Он и она. Но тогда я еще серьезно не думал о Гене. А потом, когда она разбудила во мне чувства, то ее прошлое отодвинулось на второй план и потеряло смысл в сравнении с моим чувством, и я перестал обращать внимание. Ведь ребячество! И только сейчас...

Он вздохнул.

- Сейчас я боюсь, что виденное, возможно, даже хуже всего того, что я в состоянии вообразить.

Он встал.

- Бросились на землю... не так, как должны были бы броситься. И тут же встали - тоже не так. И ушли - тоже не так... Что это? Что это значит? Это делается не так!

Он сел.

- Что? Что? В чем здесь дело?

Он посмотрел.

- Как это перевертывает все представления! Скажите же! Скажите же наконец хоть что-нибудь! Не бросайте меня одного со всем этим! - он тускло улыбнулся. - Простите ради Бога.

Стало быть, и он искал моего общества и предпочитал не оставаться "во всем этом один" - воистину, я имел успех! Но в противоположность Фридрику, он умолял, чтобы я не подтверждал его безумия и с замиранием сердца ждал моего возражения, отодвига-

отодвигающего все в царство химеры. От меня зависело успокоить его... Тело! Если бы он говорил со мной только как душа! Но тело! И эта моя легкость! Теперь для того, чтобы навсегда ввергнуть его в ад, мне не нужно лезть из кожи вон, достаточно пробурчать несколько невнятных слов: "Признаться... Видимо... Трудно сказать... Возможно..." И я сказал. А он ответил:

- Она любит меня и я наверняка знаю, что она меня любит, она меня любит! - защищался он несмотря ни на что.

- Любит? Не сомневаюсь. Но не кажется ли Вам, что любовь между ними - неестественна. Ей нужна любовь с Вами, а не с ним. Тело!

Он долго ничего не говорил. Сидел тихо. Я тоже сидел и молчал. На нас спустилась тишина. Фридерик? Он что, спит? А Семян? А Юзек в кладовке? Что он? Спит ли? Дом был подобен повозке, запряженной множеством коней, каждый из которых тянул в свою сторону.

Он смущенно улыбнулся.

- Действительно, досадно, - сказал. - Недавно я мать потерял. А теперь...

Он задумался.

- Ей Богу, не знаю как извиняться перед Вами за мой ночной визит. Одному было невмочь. Я Вам еще кое-что хочу сказать, если Вы позволите. Мне очень важно было выговориться. То, что я скажу, будет... В общем, послушайте. Меня самого иногда удивляет, что она... питает ко мне какие-то чувства. Мои чувства - это совсем другое дело. Я чувствую по отношению к ней то, что чувствую, ибо она создана для любви, она для любви, чтоб ее любили. Но вот что она могла полюбить во мне? Мое чувство, мою любовь к ней? Нет, не только, она и *меня самого* тоже любит - но почему? И что она любит во мне? Вы ведь сами видите, что я из себя представляю. У меня нет иллюзий, я сам себе не слишком нравлюсь и, честное слово, не знаю, не могу понять, что она во мне усмотрела, и, признаюсь даже - это шокирует меня, и если в чем я и мог бы ее упрекнуть, то как раз в том... что она так ласкова со мной. Верите ли, в момент вершины экстаза меня коробит именно ее экстаз, то, что она впадает в экстаз со мной. Я никогда не чувствовал себя с нею свободно, это для меня всегда было какой-то милостыней, уступкой мне, я даже должен был опуститься до

цинизма, чтобы использовать эту предоставляемую мне “льготу”, это целительное начало природы. Ну да ладно. И все-таки она меня любит. Это факт. Заслуженно или незаслуженно, льгота или нет, но она меня любит.

- Разумеется. Любит.

- Нет, Вы подождите! Я знаю, что Вы хотите сказать: происшедшее там - из другой оперы, и к любви отношения не имеет. В том-то и дело! Именно потому то, с чем я столкнулся... варварски аморально, исключительно изощренно в своей злобности - трудно понять, по какому дьявольскому наущению могло так произойти. Если бы она изменяла мне с другим мужчиной...

- А то - моя невеста путается с каким-то там, - он внезапно сменил тон и посмотрел на меня. - Что это значит? Чем мне защищаться? Что мне делать?

- Путается с кем-то не из... - добавил он, - и таким странным способом... исключительным... необычным... который задевает меня, пробирает, знаете, я чувствую этот вкус, улавливаю его... Поверите ли, я на основании того, что мы видели, мысленно реконструировал все, что между ними могло быть, всю гамму их отношений. И это так... эротически гениально, что даже не знаю, как они дошли до этого! Это как во сне! Кто это придумал? Он или она? Если она - то она гениальный художник!

Он помолчал.

- И знаете, что мне кажется? Что она ему не отдавалась. И это ужаснее, чем если бы они сожительствовали друг с другом. Безумие так думать, а? Но с другой стороны! Ведь если бы она отдалась ему, то я мог бы защищаться, а так... не могу... и возможно, что не отдаваясь ему, она принадлежит ему еще больше. Ибо все, что происходит между ними, происходит иначе, иначе! Это какое-то другое! Другое!

О! Лишь одного он не знал. А именно: виденное им на острове делалось для Фридерика и самим Фридериком - было своего рода ублюдочным творением, зачатым и рожденным ими с Фридериком. И какое удовлетворение - держать его в неведении, его, не имеющего понятия о том, что тот, кому он изливает душу, находится на противоположной стороне, вместе с уничтожающей его стихией. Во всяком случае, это была не моя стихия (она - слишком молода для меня). Во всяком случае, я был не их, а его приятелем

и, разрушая его, я, собственно говоря, разрушал самого себя. Но что за удивительная легкость!

- Это все война, - сказал он. - Это все война. Но почему я должен воевать со щенками? Один мою мать убил, а другой... Нет, это слишком, немножко чересчур. Это уже крайность. Хотите знать, что я буду делать?

Я не ответил, и он повторил, акцентируя каждое слово:

- Вы хотите знать, что я буду делать?

- Я Вас слушаю. Говорите.

- Я не уступлю ни на йоту.

- Понятно.

- Не позволю соблазнить ни ее, ни себя.

- Как Вы это себе представляете?

- Я сумею настоять на своем и сохранить все свое. Я люблю ее.

Она любит меня. Только это важно. Все остальное должно уйти на второй план, должно потерять смысл, потому что я так хочу. Я сумею захотеть. Знаете, а я, собственно говоря, не верю в Бога. Моя мать была верующей, я - нет. Но я хочу, чтобы Бог был. Хочу - и это важнее, чем простая убежденность в его существовании. И теперь я сумею захотеть и встану на защиту своих истин, своей нравственности. Я призову Геню к порядку. До сих пор я не говорил с ней об этом, но завтра же поговорю и призову к порядку.

- И что же Вы ей скажете?

- Я сам веду себя прилично и ее заставлю вести себя прилично.

Я веду себя уважительно - я уважаю ее и заставляю ее уважать меня. Я так поведу себя по отношению к ней, что она не сможет отказать мне в своем чувстве и своей верности. Я верю, что уважение, почтение, понимание, - что все это обязывает. И по отношению к этому молокососу я тоже поведу себя как надо. Сейчас вот только он вывел меня из равновесия - этого больше не повторится.

- Вы хотите строить дальнейшие отношения на... уважении?

- Вы буквально читаете мои мысли! Я их призову к "уважительному" поведению!

- Да, но "уважительность" берет начало от "важности". Важный - это тот, кто занимается самым важным. Но что является самым важным? Для Вас может быть самое важное одно, а для них - другое. Каждый выбирает по своему разумению и мерит на свой аршин.

- Как это? Важный - я, а не они. Как они могут быть важными, если все это ребячество - чепуха - ерунда. Глупость!

- А если для них ребячество важнее?

- Что? Для них важнее должно быть то, что важно для меня. Что они могут знать? Я лучше знаю! Я их заставлю! Ведь не станете же Вы возражать, что я весомее, чем они, что мои соображения должны иметь решающее значение.

- Минутку. Я думал, что Вы считаете себя более важным из-за своих принципов... а теперь выходит, что ваши принципы весомее, потому что весомее Вы. Лично Вы. Как индивид. Как старший.

- Что в лоб, что по лбу! - воскликнул он. - Одно и то же! Простите великодушно. Эти излияния в столь поздний час. Большое спасибо.

Он вышел. Я со смеху покатывался. Потеха! Заглотал крючок и мечется, как рыба!

Ну и шутку же с ним сыграла наша парочка!

Терзался? Терзался? Ну да, терзался, но это было жирновато-утомленно-лысоватое терзание...

Очарование было на другой стороне. Поэтому и я был "по другую сторону баррикады". Все, что оттуда - пленительно и... способно покорить... очаровать... Тело.

Этот бык только делал вид, что стоит на страже нравственности, а на самом деле он пер на них всей своей тушей. Пер на них всем своим весом. Навязывал им свою нравственность по единственной причине, что нравственность была "его" - и была весомее, взрослее развитей... эта нравственность мужчины. Силой навязывал!

Ну и бык! Я едва его переносил. Разве что... я сам не лучше, тоже вроде него? Ведь я - тоже мужчина... Вот о чем я думал, когда снова раздался стук в дверь. Я был уверен, что вернулся Вацлав - но то был Семян! Я раскашлялся прямо ему в лицо - чего не ожидал от себя!

- Простите за беспокойство, но я слышал голоса и знал, что Вы не спите. Можно попросить воды?

Он пил медленно, мелкими глотками, на меня не смотрел. Без галстука, в расстегнутой рубашке, помятый - волосы, хоть и напомаженные, торчали - он ежеминутно запуская в них пальцы. Опожнил стакан, но с уходом медлил. Стоял и теребил волосы.

- Какое хитросплетение! - пробурчал он. - Просто не верится!... Он встал поодаль, как будто меня здесь не было. А я умышленно хранил молчание. Он говорил вполголоса, будто и не мне вовсе.

- Мне нужна помощь.

- Чем могу быть полезным?

- Вы ведь знаете, что у меня сильнейший нервный срыв? - спросил он отрешенно, словно речь шла не о нем.

- Признаться... Не понимаю...

- Все же Вы должны быть *au courant*, - засмеялся он. - Вы знаете, кто я. И что у меня срыв.

Он поправлял волосы и ждал моего ответа. Он мог ждать без конца, потому что задумался, или скорее сосредоточился на какой-то мысли, не думая ни о чем конкретном. Решив узнать, чего он хочет, я сказал ему, что я действительно *au courant*...

- Вы - симпатичный человек... Я там, рядом, уже больше не мог... в одиночестве... - и показал пальцем на свою комнату. - Как бы это сказать? Я решил, что надо к кому-нибудь обратиться. Вот решил - к Вам. Может потому, что Вы мне симпатичны, а может потому, что живем через стену... Я не могу дальше оставаться один. Не могу и все тут! Разрешите, присяду.

Он сел, движения его были как после болезни - осторожные, как будто он не вполне владел конечностями и ему приходилось заранее обдумывать каждый жест. - Я хотел бы знать, - сказал он, - тут что-то затевается против меня?

- С чего Вы взяли? - спросил я.

Он решил рассмеяться, а потом сказал: - Простите, я бы хотел начистоту... но прежде всего я хотел бы объясниться, в каком качестве я к Вам явился. Я должен Вам вкратце изложить мою биографию. Не откажите выслушать. Хотя, впрочем, Вы должны были много обо мне слышать. Вы слышали обо мне как о человеке смелом, даже, можно сказать, опасном... Ну да... Но совсем недавно меня охватило... Как сглазили. Такая вот штука. Неделю назад. Понимаете, сидел я при свете лампы, и вдруг мне приходит в голову такой вопрос: почему ты до сих пор не поскользнулся? А вдруг завтра ты поскользнешься и загремишь?

- Но ведь такие мысли должны были Вас посетить не однажды?

- Разумеется, не раз! Но на этот раз на этом дело не кончилось - ибо мне в голову сразу же пришла другая мысль, что я, дескать,

не должен так думать, потому что это могло бы меня ослабить, открыть, черт побери, сделать доступным опасности. Вот я и подумал, что лучше так не думать. А как только об этом подумал, то уж не мог отогнать от себя мысль, и так меня это схватило, что теперь я постоянно, постоянно должен думать, что я поскользнусь и что я не должен об этом думать, потому что поскользнусь, и опять все по новой. Понимаете, как меня схватило!

- Нервы?

- Нет, это не нервы. А знаете что? Это превращение. Превращение смелости в страх. Такое лечению не подлежит.

Он закурил. Затянулся, выдохнул. - Еще три недели назад у меня была цель, задание, я боролся, передо мной был объект, плохой ли, хороший, но был... Теперь ничего нет. Все с меня спало, как, простите, штаны. Теперь я только и думаю, чтобы со мной чего не случилось. Я прав. Тот, кто за себя боится, всегда прав! Хуже всего, что я прав, прав только теперь! Но чего от меня хотите вы? Я здесь уже пятый день сижу. Прошу коней - не дают. Держите меня как в тюрьме. Что вы хотите сделать со мной? Я в этой комнате наверху места себе не нахожу... Чего вы хотите?

- Да Вы успокойтесь. Это все нервы.

- Хотите меня прикончить?

- Ну это слишком.

- Не такой уж я глупый. Да, я провалился... Но беда в том, что я им открылся со своими страхами, что они уже знают. Пока я не боялся, они меня не опасались. А теперь, когда я боюсь, я стал представлять для них опасность. Понимаю. Мне нельзя верить. Но я обращаюсь к Вам как к человеку. Я принял такое решение: встать, прийти к вам и поговорить начистоту. Это мой последний шанс. Я пришел к Вам просто потому, что у человека в моей ситуации нет иного выхода. Вы только послушайте меня, здесь какой-то порочный круг. Вы боитесь меня, потому что я боюсь вас, я боюсь вас, потому что вы боитесь меня. Я могу из него выбраться только прыжком, и поэтому - бац - являюсь к Вам ночью, хоть мы и не знакомы... Вы - интеллигентный человек, писатель, так поймите меня, протяните руку, помогите выбраться отсюда.

- Что я должен сделать?

- Пусть они позволят мне уехать. Разойтись с ними. Я только о том и мечтаю. Чтоб разойтись с ними. Выйти из игры. Я бы

пешком ушел, но ведь вы того и гляди схватите меня где-нибудь в чистом поле и... Вы убедите их, чтоб они мне позволили уехать, что я больше никому ничего не сделаю, что мне все уже во где, что не могу больше. Я хочу, чтоб меня оставили в покое. В покое. И как только мы расцепимся, проблемы сразу исчезнут. Прошу вас, сделайте это, я Вас прошу, потому что, понимаете, не могу больше... Или вот что: помогите мне убежать. Я к Вам обращаюсь, потому что не могу в одиночку противостоять вам, как изгой, подайте мне руку, не оставляйте меня в такую минуту. Пусть мы не знакомы, но я Вас выбрал. Я к Вам обращаюсь. Зачем вы хотите меня преследовать, если я уже безопасен, - все, баста! Всему конец.

Неожиданное "но" в личности этого человека, вдруг начавшего трястись... что сказать ему? Я еще был полон Вацлавом, а тут этот человек, изрыгающий "хватит, хватит, хватит"! и молящий о пощаде. Как вспышкой, передо мною вдруг озарилась вся фатальность проблемы: я не мог оттолкнуть его, ибо теперь его смерть усиливалась его дрожащей жизнью. Он пришел ко мне, стал близким и, вследствие этого, огромным, а его жизнь и смерть громоздились теперь передо мной, устремленные в небо. Но вместе с тем, появившись, он отрывал меня от Вацлава и возвращал службе, нашей операции под предводительством Иполита, и становился всего лишь объектом нашей активности... и вот в качестве объекта он был выброшен, исключен из нашего числа, и я не мог ни принять его, ни договориться с ним, ни даже поговорить с ним серьезно, я должен был сохранять дистанцию и, не подпуская его к себе, прибегать к маневру, к политике... поэтому на какое-то время дух мой стал на дыбы, словно конь перед непреодолимой преградой... потому что он взывал к моей человечности и приближался ко мне как к человеку, а я не имел права видеть в нем человека. Что я мог ему ответить? Главное - не подпускать его к себе, не позволить, чтобы он пронял меня! - Понимаете, - сказал я ему, - идет война. Страна оккупирована. Оставлять ряды в этих условиях - непозволительная роскошь, каждый друг друга должен подстраховывать, и Вы об этом знаете.

- Это значит, что... Вы действительно хотите... со мной поговорить?

Он сделал паузу, как бы любясь молчанием, которое разделяло нас все больше и больше. - С Вас, - спросил он, - никогда с Вас штаны не спадали?



Я снова не ответил, еще больше увеличивая дистанцию. - Слышите, - сказал он страдальчески, - с меня все упало, я без всего. Поговорим без обиняков. Если уж я прихожу к Вам ночью, как незнакомец к незнакомцу, то поговорим без всего этого, согласны?

Он умолк и стал снова ждать, что я скажу. А я ничего не говорил.

- Мне все равно, какого мнения Вы обо мне, - добавил он апатично. - Но я выбрал именно Вас - либо как своего спасителя, либо как губителя. Что предпочитаете?

Тогда я неприкрыто соврал ему - неприкрыто как для меня, так и для него - и этим окончательно выбросил его из нашей среды: - Я ничего не знаю относительно угрозы вам. Это экзальтация. Нервы.

Это его как подкосило. Он ничего не ответил - но и не двигался, не уходил, оставаясь... безразличным. Я, похоже, отнял у него возможность уйти. Мне подумалось, что противостояние может длиться часами, что он так и не двинется, да и зачем ему было двигаться - он останется... отягощая меня своим присутствием. Непонятно было, что с ним делать - а он не мог мне помочь, потому что я его отторгнул, выбросил, оставшись перед ним без него - один... Как будто он был у меня в руках. И между мной и ним не было ничего, кроме безразличия, холодной неприветливости, отвращения, он был мне чужд, отвратителен! Собака, лошадь, курица, даже червяк были мне более симпатичны, чем этот мужчина в годах, преждевременно состарившийся, вся жизнь которого была написана у него на лбу - мужчина не переносит мужчины! Нет ничего более отвратительного для мужчины, чем другой мужчина - здесь, ясное дело, речь идет о мужчинах в возрасте, с написанной на лбу биографией. Нет, он не привлекал меня! Не был в состоянии снискать мое расположение. Не мог покорить меня. Не мог нравиться! Он отталкивал меня как своим духовным содержанием, так и телесной формой - подобно Вацлаву, только еще больше - отталкивал меня, как я отталкивал его, и мы готовы были столкнуться рогами, как два старых тура - а то, что и я своей поношенностью был ему отвратителен, рождало во мне еще большее к нему отвращение. Вацлав - а теперь вот и он - оба мерзкие! И я с ними! Мужчина может вытерпеть другого мужчину, только отказываясь от себя, лишь жертвуя собой ради чего-то - ради чести, идеала, народа, борьбы... Но мужчина как таковой - это кошмар!

Но ведь это он меня выбрал, это он обратился ко мне - и теперь не отступал. Стоял передо мною. Я кашлянул, и кашель сообщил мне, что положение становилось все труднее. Его смерть - хоть и отталкивающая - была сейчас в шаге от меня, как нечто неотвратимое.

Я мечтал только об одном - чтобы он ушел. С мыслями я соберусь потом, но сначала пусть он уйдет. Почему мне было не сказать, что я согласен, и что помогу ему? Ведь это меня ни к чему не обязывало, ведь я всегда мог отступить от данного мною слова хитрым маневром - то есть если бы я решился его погубить и обо всем рассказал бы Иполиту - более того, в интересах нашего дела, в интересах нашей группы было бы даже полезно втереться к нему в доверие и манипулировать им. Это если бы я решил погубить его... Что стоит наврать тому, кого собираются убить?

- Послушайте. Первым делом надо взять себя в руки. Это самое важное. Спускайтесь завтра к обеду. И скажите, что у Вас был нервный кризис, что он уже проходит, что скоро Вы снова будете в форме. Вы только сделайте вид, что все прошло. Я тоже со своей стороны поговорю с Иполитом и постараюсь как-нибудь устроить Ваш отъезд. А теперь возвращайтесь к себе, сюда могут прийти...

Говоря это, я не имел понятия, о чем говорю. Правда это или вранье? Помощь или предательство? Потом разберемся, а теперь пусть уходит! Он встал и выпрямился, а я не заметил в нем ни проблеска надежды, ничто, абсолютно ничто в нем не дрогнуло, он не пытался ни благодарить, ни хотя бы сойтись во взглядах... зная заранее, что все зря и что ему остается только быть, быть таким, каков он есть, существовать этим своим неблагодарным, постылым существованием - прекращение которого оказалось бы еще более отвратительным. Своей жизнью он лишь шантажировал... о, как в этом он отличался от Кароля!

Кароль!

После его ухода я сел писать письмо Фридрику. Это был рапорт - реляция о двух ночных посещениях. А по сути - документ, в котором я недвусмысленно соглашался на совместные действия. Давал письменное согласие. Вступал в диалог.

На следующий день Семян вышел к обеду.

Я встал поздно и спустился как раз когда садились к столу - и вот тогда показался Семян, гладко выбритый, напомаженный и благоуханный, а из кармашка выглядывал носовой платок. Это было появление трупа - ведь мы его умерщвляли беспрестанно в течение двух дней. Однако труп с кавалерийской грацией поцеловал даме ручки и, поприветствовав всех, сообщил, что "уже начинает проходить недомогание, которое его чуть не...", и что ему стало лучше - что ему надоело киснуть одному наверху, "когда вся семья в сборе". Иполит собственноручно пододвинул ему стул, быстро поставили приборы, вернулось - как будто ничего и не было - наше к нему почтение, и он уселся - такой же значительный и подавляющий своим превосходством, каким он предстал перед нами в первый вечер. Подали суп. Он попросил водки. Все это стоило ему - трупу - приличных усилий: говорить, есть, пить, и все выдиралось насилием над его всемогущим нежеланием, вырывалось лишь силой страха. "Аппетит у меня пока еще не того... но супчика отведаю". "Я бы водочки сейчас опрокинул, если позволите".

Обед... под его неясными очертаниями скрывалась динамика, он изобиловал необузданными крещендо, был пронизан противоречивыми чувствами, смазан, как текст, вписанный в другой текст... Вацлав на своем месте подле Гени - видимо, разговорился с ней и "подмял авторитетом", поскольку оба ежеминутно оказывали друг другу знаки внимания, она облагородилась и он облагородился - оба благородные. Что касается Фридерика - то он, как всегда разговорчивый, компанейский, явно был отодвинут на задний план Семяном, который непонятно как завладел ситуацией... да-да, еще больше, чем когда он явился в первый раз, мы были послушны ему и внутренне напряжены в ожидании его волеизъявлений, самых незначительных желаний, начинавшихся в нем просьбой и оканчивавшихся в нас приказом. Я же, знавший, что это его убожество со страху одевается в былую, исчезнувшую властность, смотрел на происходящее как на фарс! Поначалу все маскировалось добродушием офицера с восточных окраин, чуть-чуть казака, чуть-чуть забияки - но потом у него через все поры

полезли сумрачное настроение, угрюмость, и это его холодное апатичное безразличие, которое я заметил в нем еще вчера. Он становился все угрюмее и отвратительнее. В нем должен был завязываться невыносимый узел, когда он со страху входил в роль прежнего Семяна, которым он уже не был, которого он боялся больше, чем нас, с которым он уже не мог справиться, в роль того, прошлого, “более опасного” Семяна, сутью которого было приказывать людям и пользоваться ими, умерщвлять человека при помощи человека. “С вашего позволения, вот этот лимончик” - звучало вполне добродушно, с мягкими интонациями восточных окраин, даже слегка по-русски, но, отмеченное где-то в глубине непочтением к существованию других, начинало выпускать когти и, чувствуя это, он боялся, а по мере роста его страха росла исходящая от него опасность. Я знал, что Фридерик должен был тоже почувствовать это одновременное нарастание в одном лице опасности и испуга. Но игра Семяна не стала бы неудержимой, если бы с ним не сыгрался Кароль, сидевший на другом конце стола, и не поддержал бы его властности всем своим существом.

Кароль ел суп, мазал хлеб маслом - но Семян моментально возвысился над ним, как и в первый раз. Парень снова оказался под господином. Его руки стали ловкими, как у солдата. Все его невыросшее существо сразу и легко поддалось Семяну, поддалось и отдалось - и если он ел, то лишь затем, чтобы служить ему, если мазал хлеб, то с его разрешения, а голова его сразу подчинилась своими коротко остриженными и мягко клубившимися надо лбом волосами. Он ничем не показывал этого - он просто стал таким - как будто его изменило другое освещение. Семян, возможно, и не осознавал, но между ним и пареньком сразу же установились какие-то отношения, и его тьма, эта неприязненная туча, пропитанная властностью (правда, теперь - только одним ее видом) начала искать Кароля и сгущаться над ним. Этому способствовал Вацлав, благородный Вацлав, сидевший рядом с Геней... справедливый Вацлав, требующий любви и добродетели... он смотрел, как вожак темнел парнем, а парень - вожаком.

Он - Вацлав - обязан был почувствовать, что все оборачивается против того уважения, которое он защищал и которое защищало его - ибо между парнем и вожаком создавалось не что иное, как пренебрежение, и в первую очередь - пренебрежение смертью.

Разве парень со всеми своими с потрохами не отдавался вожаку только лишь потому, что тот не боялся ни умереть, ни убить, что и делало его господином над другими людьми? А следом за таким пренебрежением жизнью и смертью шли все прочие возможные девальвации, целые океаны обесценения, и мальчишеская способность пренебрегать сплавлилась воедино с угрюмым властным безрассудством другого - они подкрепляли друг друга, потому что не боялись ни смерти, ни боли, один - потому что еще мальчик, другой - потому что вожак. Вопрос обострился и вырос, потому что искусственно вызываемые явления более неуправляемы, а Семян всего лишь строил из себя вожака, причем со страху, чтобы спастись. И этот липовый вожак, преобразавшийся чрез подростка в вожака настоящего, душил его, угнетал, терроризировал. Фридерик должен был улавливать (я-то знал) резкий рост напряжения в тройке - Семян, Кароль, Вацлав - предвещавший возможность взрыва... в то время, как она, Геня, спокойно склонялась над тарелкой.

Семян ел... чтобы показать, что он уже может есть, как все... и пробовал очаровать этим своим степным шармом, который был однако отравлен его трупным холодом и который, достигая Кароля, моментально превращался в насилие и кровь. Фридерик все это видел. И тогда вот что произошло: Кароль попросил стакан, и Геня подала ему - и, возможно, этот момент перехода стакана из рук в руки был немного, самую малость, затянут, могло показаться, что она на долю секунды опоздала оторвать руку. Могло быть, могло, но было ли? Незначительная улика опустилась на Вацлава дубиной - он сделался серым - а Фридерик скользнул по ним равнодушным взглядом.

Подали компот. Семян замолк. Теперь он сидел все более и более неприязненный, как будто у него закончились любезности и как будто он уже окончательно отказался от попыток понравиться, завидев перед собой настезь распахнутые ворота ужаса. Он был холоден. Геня начала играть вилкой, и так получилось, что Кароль тоже дотронулся до своей вилки - собственно говоря, было неизвестно, играет он ею или только дотрагивается, могло это быть чисто случайным, ведь вилка была у него под рукой - однако Вацлав снова стал пепельного цвета - неужели это случайность? Но ведь, конечно, это могло быть случайностью - причем такая ерунда, что почти совсем незаметно. Впрочем, не было также исключено... а

вдруг как раз эта мелочь допускала их флирт, ах, легкий, легонький, столь микроскопический, что (девушка) могла предаваться ему с (мальчиком), не нарушая своей добродетели перед женихом - впрочем, это было совершенно неуловимо... И разве не эта легкость прельщала их тем, что даже самое незначительное движение их рук бьет по Вацлаву как удар - может они не могли удержаться от игры, которая, будучи почти ничем, была одновременно - в Вацлаве - жутким погромом. Семян допил компот. Если Кароль и в самом деле раздраживал Вацлава, ах, может неосознанно даже для него самого, то по крайней мере не нарушал этим своей верности Семяну, другими словами, он забавлялся, как готовый умереть солдат, легкомысленно. Но и это было отмечено странной развязностью, проистекающей из ненатуральности, потому что поигрывание вилками было лишь продолжением представления на острове, новый флирт между ними был таким же "театральным", как и прежний. Таким образом, я оказался за столом между двумя мистификациями, еще более напряженными, чем все то, на что была способна действительность. Ненастоящий вожак и ненастоящая любовь.

Обед закончился. Стали выходить из-за стола.

Семян подошел к Каролю:

- Эй, ты... щенок... - сказал он.

- Чего надо? - ответил ошарашенный Кароль.

Офицер обратился к Иполиту неприятно холодный блеклый взгляд. - Поговорим? - процедил он сквозь зубы.

Я хотел присутствовать при их разговоре, но он сдержал меня отрывистым "Без Вас"... Что это? Приказ? Он что, забыл что ли наш разговор ночью? Но я уступил его пожеланию и остался на веранде, а он с Иполитом удалился в сад. Геня была рядом с Вацлавом и взяла его под руку, как будто между ними ничего такого не было, и она снова верна ему, но при этом стоявший у открытой двери Кароль оперся на нее рукой (его рука - на двери, ее рука - на Вацлаве). И тогда сказал жених невесте: "Пойдем, пройдемся", на что она ему эхом ответила: "Пойдем". Они пошли аллеей, а Кароль остался как не поддающаяся пониманию шутка... Не отрывая глаз от молодых и Кароля, Фридерик пробурчал: "Издательство!" На что он получил в ответ мою еле заметную улыбку... адресованную только ему.

Четверть часа спустя Иполит вернулся и пригласил в кабинет.
- С ним надо кончать, - сказал он. - Сегодня же ночью надо все решить. Требует!

И опустившись на софу, повторил самому себе, чувственно закрывая глаза: - Требует!

Оказалось, что Семян снова потребовал коней - но на сей раз это была не просьба - о, нет, это было нечто такое, от чего Ип долгое время не мог прийти в себя. - Господа, да он просто жулик! Это убийца! Ему понадобились кони, а я сказал, что сегодня у меня нет, может завтра... и тогда он пальцами сжал мне руку, захватил мою руку пальцами и сжал, говорю я вам, ну прямо как убийца... и сказал, что если до завтра, до 10 утра коней не будет, то...

Так надавил! - сказал он испуганно. - Сегодня же ночью надо все сделать, потому что завтра я буду обязан дать ему коней.

И тихонько повторил:

- Буду обязан.

Этого я не ожидал. Видимо, Семян не выдержал в той роли, которую мы ему вчера придумали, и вместо того, чтобы поговорить рассудительно, успокаивающе, он разговаривал в приказном тоне... видимо, на него напал и затерроризировал экс-Семян, тот, опасный, которого он вырвал из себя во время обеда, и оттого в нем родилась угроза, приказ, давление, жестокость (которым он не мог противостоять, потому что боялся их больше, чем кто бы то ни было)... Довольно того, что он снова стал грозным, но по крайней мере то было хорошо, что я уже не чувствовал себя, как тогда ночью в комнате, единственным ответственным за него, однако передал дело Фридрику.

Иполит встал. Ну так что, господа, как сделаем? Кто? Он достал четыре спички и обломил головку одной. Я посмотрел на Фридрика - ждал какого-нибудь знака - может, рассказать о моем ночном разговоре с Семяном? Но он был ужасно бледен. Сглотнул слюну.

- Извините, - сказал он, - Я не уверен, что...

- Что? - спросил Иполит.

- Смерть. - выпалил Фридерик. Он смотрел в сторону. - У-би-ть его?

- А что? Ведь есть приказ.

- У-би-ть, - повторил он. Ни на кого не смотрел. Был один на

один с этим словом. Никого, только он и “у-би-ть”. Нет, не могла соврать его меловая бледность: он знал, что такое убивать. Знал – в данный момент – до конца – Я... это... нет... – сказал и сделал пальцами как-то в сторону, в сторону, в сторону, куда-то от себя... Потом он посмотрел на Вацлава.

Казалось, что на его бледности появился адрес – и хотя он не успел еще ответить, я уже доподлинно знал, что он вовсе не надломился, а продолжает управлять ходом событий, маневрировать – не упуская из виду Гени и Кароля – в их направлении! Так, значит, что? Он боялся? Он их преследовал?

- И Вы тоже нет! – обратился он прямо к Вацлаву.

- Я?

- Как вы это сделаете... ножом? – ведь надо-то ножом, потому что из револьвера – слишком громко – как Вы сможете это сделать ножом?... Вы? Вы – да ведь Вы – католик, ведь Вас воспитала такая мать! Я только спрашиваю, как Вы с этим управитесь?

Он путался в словах, но они были до конца пережиты, поддержаны уставившимся на Вацлава кричавшим “нет” лицом. Несомненно – “он знал, что говорил”. Знал, что означает “убить”, и, будучи не в силах противостоять, находился на грани срыва... Нет, это не было ни игрой, ни тактикой, в этот миг он был настоящим!

- Вы дезертируете? – холодно спросил Иполит, но получил в ответ глупую и беспомощную улыбку.

Вацлав слотнул слюну, как будто его заставили съесть что-то несъедобное. Я допускаю, что он подходил к делу, как и я, т.е. по-военному, и это убийство было для него одним из многих, еще одним – хоть и омерзительным, но тем не менее обычным и даже необходимым, и неизбежным – и так было до тех пор, пока это убийство не достали из массы прочих убийств и не поставили перед ним отдельно, как невероятное Убийство как таковое! Он тоже побледнел. К тому же мать! И нож! Нож, похожий на тот, которым его мать... значит, пришлось бы убивать ножом, вынутым из матери, измерить то же самое движение и повторить то же самое действие на теле Семяна... Но, может быть, под изборозженным морщинами лбом он спутал мать с Генькой, и не мать, а Генька стала решающим элементом. Он должен был увидеть себя в роли Скузяка, наносящего удар... но какую тогда, какую позицию занять по отношению к Гене с Каролем, как противостоять их соеди-

нению, Гени в объятиях (мальчика), подрастающей Гени в его объятиях, бессовестно обмальчишенной Гени?... Убить Семяна, как Скузяк, но в кого же тогда он превратится? В Скузяка? Что он противопоставит этой несовершеннолетней силе? Если бы Фридерик не выделил и не сделал значительным Убийство... но теперь это было уже Убийство, и удар ножом метил в его собственное достоинство, в честь, в добродетель, во все то, что он использовал в борьбе со Скузяком за мать, и с Каролом - за Геню.

Видимо, по этой причине он тупо, как будто констатируя нечто уже известное, сообщил Иполиту:

- Я не могу...

Тогда Фридерик обратился ко мне чуть ли не триумфально, тоном, заключавшим в себе ответ:

- А Вы? Вы - сможете убить?

Боже мой! Так это, значит, только тактика! Вот, оказывается, во что он метил, прикидываясь испуганным и заставляя нас отказываться. С ума сойти! Значит, этот его бледный, потный, дрожащий, доведенный в нем до предела страх был лишь конем, на котором он скакал... напрямик к молодым коленям и рукам! Он использовал свой испуг в эротических целях! Вот он - верх шарлатанства, невероятная подлость, нечто совершенно неприемлемое и невыносимое! Этот лихой наездник оседлал самого себя, как коня! Однако его гонка захватила меня, и я почувствовал, что должен скакать вместе с ним. Хотя, впрочем, ясное дело, убивать я не хотел, и был счастлив, что смог выкарабкаться - дала трещину наша дисциплина и сплоченность. И я ответил: - Нет.

- Бардак, - вульгарно отреагировал Иполит. - Хватит морочить голову. В таком случае я сам это сделаю. Без помощников.

- Вы? - удивился Фридерик - Вы?

- Я.

- Нет.

- Почему?...

- Ннет...

- Послушайте, - сказал Иполит, - возьмите себя в руки. Ведь нельзя же быть свиньей. Надо иметь хоть какое-то чувство долга. Это долг, дорогой мой! Это служба!

- Так значит из чувства долга Вы хотите у-би-ть невинного человека?

- Это приказ. Нами получен приказ. Это - операция, милостивый государь! Я не буду выделяться из строя, все должны вместе! Так надо! Это и есть ответственность! Вы что же, хотите живым его выпустить?

- Исключено, - согласился Фридерик. - Я знаю, что это исключено.

Иполит вытаращил глаза. Похоже, он ожидал, что Фридерик ответит “да, отпустите его”? На это, что ли, рассчитывал? Если он и тешил себя скрытой надеждой, то ответ Фридерика отрезал пути к отступлению.

- Так, чего же Вы хотите?

- Я понимаю, само собой... необходимость... долг... приказ... Невозможно, нет... Но ведь Вы... Вы не станете ре-за-ть... Неет... Вы не можете!

Наткнувшись на скромное, шепотом произнесенное “неет”, Иполит сел. Это “несет” знало, что значит убить, - и это знание теперь направлялось прямо на него, громоздя гору трудностей. Замкнутый в своих телесах, он, как через окно, посматривал на нас, тарасьсь. “Обычная” ликвидация Семяна уже не входила в расчет после трех наших полных отращения отказов. Под давлением нашего чувства гадливости отращение взяло верх. И он больше не мог позволить себе мелочиться: не будучи ни слишком глубокой, ни слишком пронизательной личностью, он все-таки был человеком определенной среды, определенной сферы, и когда мы стали глубокими, он не смог оставаться мелким хотя бы из компанейских соображений. В определенных случаях нельзя быть “менее глубоким”, как и “менее утонченным”, ибо это развенчивает человека в глазах общества. Итак, приличие заставляло его быть глубоким, исчерпывать вместе с нами до дна смысл слова “убить”, он увидел это так же, как и мы - как нечто чудовищное. И так же, как мы, он почувствовал себя бессильным. Убивать собственными руками? Нет, нет, нет! Но в таком случае оставалось только одно - “не убивать” - однако “не убивать” означало - отступить, предать, струсить, не выполнить приказа! Он развел руками. Теперь он находился между двумя мерзостями - и одна из них должна была стать его мерзостью.

- Ну так что? - спросил он.

- Пусть Кароль это сделает.

Кароль! Вот к чему он клонил все время - ах он лиса! Ах он хитрец! Оседывая самого себя, как коня!

- Кароль?

- Ну конечно. Он сделает. Все как Вы ему велите.

Он говорил об этом как о чем-то чрезвычайно легком - в его подаче трудность исчезла. Как будто речь шла о том, чтобы послать Кароля в Островец с мелким поручением. Непонятно почему, но изменение в тоне казалось обоснованным. Иполит заколебался.

- Что же, мы теперь должны все свалить на него?

- А на кого? Мы этого не сделаем, такое не для нас... а сделать надо, другого выхода нет! Скажите ему. Если ему сказать, он сделает. Для него это не проблема. Почему бы ему не сделать? Вы ему только прикажите.

- Разумеется, если я ему прикажу, то он сделает... Но как же так? А? Выходит, вроде он того... вместо нас?

Вацлав не выдержал:

- Вы не учитываете, что дело рискованное... ответственное. Негоже им заслоняться, перекладывать риск на него, так нельзя! Так не делают!

- Риск мы можем взять на себя. Если что обнаружится, мы скажем, что сделали мы. В чем, собственно, дело состоит? В том, чтобы кто-то вместо нас взял нож и всадил его - ему-то это легче сделать, чем нам.

- Да погодите Вы, мы не имеем права использовать его хотя бы только потому, что ему всего шестнадцать лет, впутывать его... Выгораживаться им...

Его охватила паника. Впутывать Кароля в то убийство, совершить которое он был не в состоянии, Кароля, эксплуатируя его молодость, Кароля, потому что он еще щенок... но в том-то и была загвоздка, что это ослабляло его по отношению к парню... он же должен был быть сильным по отношению к парню! Он начал ходить по комнате. - Это аморально! - рявкнул он злобно и покраснел, как уличенный в самом сокроверном. Зато Ип постепенно начал осваиваться с мыслью.

- Может оно... и впрямь, лучше всего... ведь от ответственности никто не уклоняется. Речь лишь о том, чтобы не испортить... самим фактом... Работа явно не для нас. Это для него.

И успокоился, как будто его коснулась волшебная палочка -

как будто в итоге чудесным образом возникало единственное и естественное решение. Он признал, что все соответствует законам естества, что никто и не собирался уклоняться. Просто он был по части отдавания приказов, а Кароль - по части их выполнения.

К нему вернулись покой и благоразумие. Он стал аристократичным.

- Как же это мне в голову не приходило. Ну конечно!

Довольно оригинальная картина: двое мужчин, один из которых пристыжен тем, что другому вернуло достоинство. Одного это "использование несовершеннолетнего" покрывало бесчестьем, а второго - преисполняло гордостью, и тогда первый как будто становился менее мужским, а второй - более мужским. Но Фридерик - какой гений! Что сумел впутать Кароля... что сумел все дело свести к нему... благодаря чему намеченная смерть вдруг разогрелась не только Каролем, но и Генькой, их руками, их ногами - и запланированный труп зацвел запрещенной девчоночье-мальчишеской чувственностью, неуклюжей и грубоватой. Пахнуло жаром - смерть уже стала смертью любовной. И все - и эта смерть, и наш страх, и отвращение, и наше бессилие - существовали лишь ради того, чтобы молодая рука и слишком молодая рука протянулись к ней... Я уже уходил в это не как в убийство, а как в приключение их неразвившихся, слепых тел. Наслаждение!

Но в то же время была здесь и едкая ирония, и даже какой-то привкус поражения - что мы, взрослые, прибегали к помощи мальчика, который мог сделать то, чего не могли сделать мы - разве убийство похоже на вишню, висящую на тонкой веточке и доступную только самому легкому?... Легкость! Неожиданно все устремилось в одном направлении - Фридерик, я, Иполит, потянулись к несовершеннолетнему как к какой-то тайной алхимии, приносящей облегчение.

И тогда Вацлав согласился на Кароля.

Если бы он возразил, то за дело пришлось бы взяться ему самому, поскольку мы в расчет не входили. А во-вторых, видимо, что-то его смутило - в нем разыграл католицизм и внезапно ему показалось, что Кароль в роли убийцы будет столь же отвратительным в глазах Гени, что и он, Вацлав как убийца - ошибка, проистекающая из того, что он слишком усердно нюхал цветы душой, а не носом, слишком верил в красоту добродетели и в безобразии греха.

Он забывал, что убийство для Кароля может иметь другой вкус, чем для него. И ухватившись за эту иллюзию, он согласился - а, впрочем, он не мог бы не согласиться, если не хотел порвать с нами и оказаться вне игры, в столь сомнительных обстоятельствах.

Опасаясь нового изменения планов, Фридерик пошел поскорее разыскать Кароля - а я с ним. Дома Кароля не было. Мы увидели Геньку, выбиравшую белье из комода, но не она была нам нужна. Наша нервозность возросла. Где же Кароль? Не разговаривая, как чужие, мы все суматошнее искали его.

Он был в конюшне, осматривал коней - мы позвали его - и он подошел, улыбаясь. Я прекрасно помню его улыбку, потому что когда мы его подозревали, я вдруг понял всю сногшибательность нашего предложения. Ведь он любил Семяна. Был предан ему. Как же тогда его принудить к подобным вещам? Но его улыбка сразу перенесла нас в другую страну, туда, где все было дружелюбно и благожелательно. Все еще ребенок, он уже осознавал свои преимущества, он понимал, что если мы чего-то и хотим от него, так это - его молодости; тогда он пошел, слегка насмешливый, готовый поиграть. Наш приход наполнял его счастьем, потому что показывал, как далеко он зашел в фамиллярности с нами. И странное дело - эта игра, эта улыбающаяся легкость были лучшей прелюдией к предстоявшей жестокости.

- Семян предал, - скупое проинформировал Фридерик. - Есть доказательства.

- Ну, - сказал Кароль.

- Надо его убрать, сегодня же, ночью. Сделаем?

- Я?

- Ты что, боишься?

- Нет. - Он стал около дышла, на котором висела подпруга.

Абсолютно ни в чем не отражалась его верность Семяну. Как только он услышал об убийстве, стал неразговорчивым и может даже немного застыдил. Замкнулся и напрягся. Казалось, что он не станет протестовать. Я подумал, что для него убить Семяна или убить по приказу Семяна - одно и то же, ибо то, что соединяло их, было смертью, все равно чьей, но смертью. Он по отношению к Семяну был слепым в своем послушании солдатом, но послушным и солдатом он оставался и тогда, когда по нашему приказу выступал против Семяна. Было видно, что его ослепление вожакон пе-

пероделось в моментальную, молчашую способность убивать. Он не выказывал удивления.

Разве что (мальчик) посматривал на нас. Что-то загадочное было в его взгляде (как будто он спрашивал: о ком речь, о Семяне... или обо мне?). Но ничего не говорил. Он оставался тактичным.

Ошеломленные этой невероятной легкостью (как будто вводящей нас в совершенно другое измерение) мы пошли с ним к Иполиту, который дал дополнительные инструкции, что, мол, надо пойти ночью с ножом - и чтоб никакого шума. К Ипу вернулось равновесие, и он отдавал приказания как настоящий офицер, короче, был на своем месте.

- А если он не откроет дверь? Ведь он запирается на ключ.

- Найдите способ, чтобы открыл.

Кароль удалился.

И то, что он ушел, возмутило меня и взбесило. Куда он ушел? К себе? Что означало - "к себе"? Что это было, эта его сфера, где одинаково легко умирать и убивать? Мы натолкнулись в нем на готовность, послушание, свидетельствовавшие о том, что он подходит - ведь так гладко пошло! А как шикарно он удалился, тихо и послушно... и я не мог сомневаться, что к ней, к Гене, простирает он свои руки, в которые мы только что вложили нож. Геня! Не было ни малейшего сомнения, что теперь он, в качестве мальчика с ножом, мальчика убивающего, был ближе к тому, чтобы покорить ее и овладеть ею - если бы не Иполит, задержавший нас для дальнейшего обсуждения, мы бы вышли вслед за ним, чтобы проследить, что он будет делать дальше. Однако кабинет Иполита мы смогли покинуть лишь спустя некоторое время, и выйти в сад: за ним и за ней - и уже находились в прихожей, когда из столовой до нас далетел приглушенный, неожиданно оборвавшийся голос Вацлава - что-то там произошло! Вернулись. Точь-в-точь сцена на острове. Вацлав в двух шагах от Гени; что произошло - неизвестно, но что-то произошло.

Кароль стоял немного поодаль, около буфета.

Увидев нас, Вацлав объяснил:

- Я дал ей пощечину.

И вышел.

Тогда заговорила она:

- Дерется!

- Дерется, - повторил Кароль.

Они смеялись. Издевались. Зло, но весело. Впрочем - не слишком - так только, подначивали друг друга. Сколько же грации было в их подначках! И им скорее всего нравилось, что он "дерется", как будто они находили в этом выход своей энергии.

- Какая муха его укусила? - спросил Фридерик. - Что это он?

- С чего бы? - сказала она. Забавно так, кокетливо подмигнула, и мы сразу поняли, что дело связано с Каролем. Это было чудесно, очаровательно, что она даже не взглянула в его сторону, зная, что нет в том нужды - довольно было того, что стала кокетничать, ибо понимала, что нам может нравиться только "с" Каролем. Как же легко мы теперь могли объясняться - и я видел, что оба они были уверены в нашем благорасположении. Лукавые, втихаря расшалившиеся и прекрасно осведомленные, что интересуют нас. Этого уже нельзя было скрыть.

Нетрудно догадаться, что Вацлав не сдержался - они, верно, снова задели его каким-нибудь почти что неуловимым взглядом или жестом... ах, уж эти их детские вылазки! Фридерик неожиданно спросил ее:

- Кароль ничего тебе не говорил?

- Что?

- Что сегодня ночью... Семяна...

Он сделал потешный жест, имитирующий перерезание горла, и это действительно было бы потешно, если бы потеха не была в нем чем-то столь серьезным. Он потешался всерьез. Уселся. Она ничего не знала, оказывается, Кароль ее не посвятил в дело. А потому он вкратце рассказал ей о планируемой "ликвидации" и что исполнитель - Кароль. Он говорил так, как будто речь шла о совершенно обычной вещи. Они (поскольку и Кароль тоже) слушали - как бы это сказать - не оказывая сопротивления. Они не могли слушать по-другому, так как должны были нам нравиться, и это затрудняло их реакцию. Разве что, когда он кончил, ни она не ответила, ни он - на их половине воцарилось молчание, неизвестно, что означавшее. Но (мальчик), там, у буфета, стал угрюмым, да и она помрачнела.

Фридерик объяснял: - Главная трудность состоит в том, что Семян ночью может не открыть дверь. Будет бояться. Вы могли бы пойти вдвоем. Ты бы постучала под каким-нибудь предлогом. Тебе

он откроет. Ему в голову не придет не отворить тебе. Скажешь, например, что у тебя для него письмо. А когда он откроет, ты отойдешь, а Кароль влезет... это, вероятно, самое подходящее... как считаете?

Он предлагал без видимого давления, “так как-то”, что, впрочем, имело свои основания, ведь этот план был сильно натянут, не было никакой уверенности, что Семян так сразу и откроет ей дверь, и он едва лишь прикрывал истинный смысл этого предложения; состоявший в том, чтобы втянуть в дело Геню, чтобы они вдвоем... Он все организовал прямо как сцену на острове. Меня ошеломила не столько идея, сколько тот способ, каким она претворялась в жизнь: он предложил это неожиданно, как бы проходя, невзначай и воспользовался тем моментом, когда они особенно были склонны отнестись к нам милостливо, вступить с нами в союз, и даже просто очаровать нас - вдвоем, вдвоем! Было очевидно, что Фридерик делал ставку на “добрую волю” этой пары, что они согласятся без особых возражений потрафить ему - а стало быть, он снова рассчитывал на “легкость”, на ту самую легкость, которая в Кароле уже проявилась. Он просто хотел, чтобы они раздавили этого червя “вместе”... И вот теперь эротическое, чувственное, любовное начало скрыть стало практически невозможно - оно выпирало! И мне вдруг показалось, что два облика одного дела борются друг с другом на наших глазах, поскольку, с одной стороны, предложение было довольно страшным, так как речь шла о том, чтобы и девушку вовлечь в грех, в убийство... но, с другой стороны, предложение было “упойтельным и будоражающим”, поскольку речь шла о том, чтобы они “вместе”...

Что перетянет? Поскольку они не сразу ответили, времени было достаточно, чтобы вопрос прокрутился у меня в голове. Одновременно я увидел со всей ясностью, что так как они стоят перед нами, они *по отношению друг к другу* все еще не испытывали влечения, не были нежны друг с другом, были резки - но несмотря на это, их очень смутил тот факт, что мы восхищались ими и ожидали и от них упоения, а это в свою очередь заставляло их быть покорными. Они больше не могли идти против той красоты, которую мы в них открывали. Покорность, в сущности, устраивала их, поскольку они и существовали для того, чтобы подчиняться. Это было одно из тех “совершаемых над самим собой” действ, которые

так свойственны молодости, действ, с помощью которых молодость определяет себя и которые одурманивают ее до такой степени, что почти теряется их объективное, внешнее значение. Не Семян, и не его смерть были для них самым важным - а они сами. (Девушка) ограничилась ответом:

- А почему бы и нет? Можно сделать.

Кароль вдруг рассмеялся, довольно глупо:

- Получится - сделаем, не получится - не сделаем.

Я понял, что глупость ему необходима.

- Ладно. Значит, ты постучишь и потом отвалишь, а я его долбану. Наверно так, только неизвестно, откроет ли.

Сейчас она тоже была глупой. Она засмеялась: - Не бойсь, если я постучу, откроет.

- Разумеется, все это между нами, - сказал Фридерик.

- Не волнуйтесь!

Разговор на этом закончился - такие разговоры нельзя затягивать. Я вышел на веранду, оттуда - в сад, хотелось слегка передохнуть - уж очень быстро все понеслось. Темнело. Цвета теряли стеклянистый покров блеска, зелень и красное перестали колоть глаза - тенистое отдохновение цвета на пороге ночи. Что кроется в ночи? Всего лишь... то же самое растаптывание червя, только червь уже не Вацлав, а Семян. Я не был вполне уверен, сохраняется ли наша договоренность, меня все сильнее и сильнее грел и раскалял угрюмый огонь мрака, но я все больше выбивался, обескураженный и даже раздосадованный, ибо все происходившее представлялось слишком фантастическим, слишком произвольным и не вполне правдивым - это было своего рода забавой, да, с нашей стороны это было действительно "игрой с огнем". Оказавшись в кустах, один, я окончательно потерял нить событий... Затем я заметил, что приближается Вацлав: - Я хочу объясниться с Вами! Прошу меня понять! Я бы ее не ударил, но это было свинством, прямо-таки, свинством, скажу я Вам!

- А что собственно...?

- Свинство с ее стороны! Грубое свинство, хоть и тонко поданное... на сей раз обманом зрения не было, о нет... Тонко поданное грубое свинство! Мы разговаривали в столовой. Вошел он. Любownik. Я сразу почувствовал, что разговаривая со мной, она обращается к нему.

- К нему обращается?

- К нему, но не словами, а... понимаете, всем существом. Вся как есть. Вроде бы разговаривает со мной, а в то же время подцепила его и ему отдалась. При мне. Разговаривая со мной. Верите ли? Это было нечто... Я видел, что, разговаривая со мной, она - принадлежит ему, и так... целиком, как будто меня при этом здесь нет. Вот я и дал ей пощечину. Что мне теперь делать? Скажите мне, что я теперь должен делать?

- А замять как-нибудь не удастся?

- Но ведь я ее ударил! Поставил точку над "и". Ударил! Сейчас уже все определенно установлено и подтверждено. Я ударил! Сам не знаю, как все получилось... Знаете что? Я думаю, что если бы я не согласился с его назначением на эту... ликвидацию... я бы ее не ударил.

- Почему?

Он скользнул по мне взглядом.

- Потому что я виноват перед ним. Я дал ему возможность заменить меня. Я потерял моральное право и потому - ударил. Бью, потому что мои муки больше ничего не значат. Они не достойны уважения. Лишены чести. Вот почему я бью, бью, бью... а его я не просто побил бы - я бы его убил!

- Что Вы такое говорите!

- Убил бы, не дрогнув... Подумаешь! Убить... такого? Что червя раздавить! Ерунда! Ерунда! Правда, с другой стороны, убить такого... Скандал! Стыд! Гораздо труднее, чем со взрослым. Просто невозможно! Убийство может иметь место лишь в отношениях между взрослыми. А если бы я ей перерезал горло?... Допустим! Вы не беспокойтесь. Я это так, шутки ради. Ведь это все шутки! Надо мной шутят, а я что, пошутить не могу? Боже праведный, избавь меня от той шутки, в которую я вляпался! Боже, мой Боже, единственное мое спасенье! Так что я хотел сказать? А, да, я должен убить... но Семьяна... я это должен сделать, еще есть время, надо торопиться... еще есть время, чтобы вырвать это убийство из рук молокососа... потому что, пока я сваливаю это дело на него, я буду перед ним в виноватых ходить, в виноватых!

Он задумался.

- Слишком поздно. Заговорили Вы меня. Как я теперь отберу у него поручение? Теперь уже известно, что я пружину к тому, чтобы

получить задание не из-за моей верности долгу, а лишь затем, чтобы не дать ему ее - чтобы не потерять над ней морального превосходства. Вся моя нравственность лишь для одного: чтобы обладать ею!

Он пожал плечами:

- Не могу сориентироваться, что мне делать. Боюсь, что мне уже больше ничего не остается делать.

Он высказал еще несколько достойных размышления сентенций: "Я опустошен! Как же я опустошен! Боже мой! Меня как будто раздели! А в моем возрасте я не могу быть раздетым, голым! Нагота - это для молодых!"

И дальше:

"Она изменяла не только мне. Она предавала мужское начало. Мужчин вообще. Потому что она изменяла мне не с мужчиной. Да и женщина ли она? Ах да, вот что еще я Вам скажу: она спекулирует на том, что она еще не женщина".

"Они спекулируют на каком-то своем своеобразии, на чем-то весьма спе-ци-фи-чес-ком, о существовании чего я до сих пор не знал..."

Дальше:

"Я лишь спрашиваю, откуда это в них? Могу только повторить, что уже говорил: они сами не могли до такого додуматься. Того, что было на острове. Того, что сейчас со мной вытворяют... этих провокаций... Уж слишком изощренно. Надеюсь, Вы меня понимаете: не могли они сами такое придумать, потому что слишком изощренно. Так откуда же они это взяли? Из книг? Черт его знает!"

*

Низом лился густеющий соус, сдерживающий взор, и хотя кроны деревьев все еще плескались в перистом веселом небе, стволы уже стали неясными, отгалкивающими взгляд. Я глянул под кирпич. Письмо.

"Поговорите, пожалуйста, с Семяном".

"Скажите ему, что ночью вы с Геней выведете его на поле, где будет ждать Кароль с брочкой. Что Геня постучится к нему ночью, чтобы проводить. Он поверит. Он знает, что Кароль принадлежит ему, что Генька принадлежит Каролю! Страстно поверит! Это самый лучший способ заставить его открыть дверь, когда она постучится. Это важно. Не пренебрегите!"

“Прошу помнить: назад дороги нет. Отступить можно только в свинство”.

“Скузяк - а? С ним-то что? А? Ума не приложу. Нельзя его оставлять в стороне, они должны это сделать втроем... Но как?”

“Осторожно! Не надо налегать. Лучше деликатно, с чувством, чтобы не раздражать, не нарываться на лишнее, как это пока - тьфу-тьфу - удавалось: главное - не испортить. Берегите себя. Будьте осторожны!”

*

Я пошел к Семяну.

Постучал - узнав, что это я, он открыл дверь и тут же бросился обратно на кровать. Сколько времени он так лежал? В носках - начищенные ботинки валялись на полу среди кучи окурков. Он курил одну сигарету за другой. Тонкая в запястье, длинная рука, на пальце кольцо. Он не выказывал желания разговаривать. Лежал на спине, уставившись в потолок. Я сказал, что пришел его предостеречь: чтоб он не питал иллюзий. Иполит не даст ему коней.

Молчание.

- Ни завтра, ни послезавтра. Более того, Ваши опасения, что живым Вам отсюда не выбраться, возможно, небезосновательны.

Молчание.

- Поэтому я хочу предложить Вам... план бегства.

Молчание.

- Я хочу Вам помочь.

Нет ответа.

Он лежал бревном. Я подумал, что он боится, но то был не страх, а злость. Злая злость. Лежал и зло злился - вот и все. Он был язвительен. Это потому (подумал я), что я знал тайну его слабости. Я знал его слабость, поэтому она преобразилась в злость.

Я изложил план. Предупредил, что Геня постучит и проводит его в поле.

- Б.....

- У Вас есть деньги?

- Есть.

- Вот и хорошо. Приготовьтесь - сразу после полуночи.

- Б.....

- Это словечко не слишком Вам поможет.

- Б.....

- Да не будьте Вы так вульгарны. А то нам еще расхочется.

- Б.....

С этим я и оставил его. Он принимал нашу помощь, позволял нам спасти его, но не благодарил. Распластанный на кровати, высокий, упругий, он все еще олицетворял собою властолюбие и власть - господин, повелитель - но насиловать он больше не мог. Иссякла его мощь. И он знал, что я это знаю. Если еще недавно ему, грозному, способному навязывать себя силой, не было необходимости стараться привлечь чью-нибудь любовь, то сейчас он лежал передо мною в своей безудержной мужской агрессивности, правда, уже лишенной когтей и вынужденной искать сочувствия... и знал, что в этом своем мужестве он несимпатичен, неприятен... ногой в носке он почесал другую ногу... поднял ногу и пошевелил пальцами, это был в высшей степени эгоистический жест, ему было наплевать, понравится он мне или нет... уж я-то точно ему не нравился... он топил меня в океанах отвращения, его аж тошнило... меня тоже. Я вышел. Свообразный мужской цинизм отравлял меня, как курево, в столовой я наткнулся на Иполита и меня прямо-таки отбросило, я был на волосок от того, чтобы меня вырвало, да-да, на волосок, на одним из тех волосков, которые вырастали на руках и у них, и у меня. Сейчас я не мог перенести Мужчины!

Их - мужчин - в доме было пятеро. Иполит, Семян, Вацлав, Фридерик и я. Брр... Ничто в животном мире не достигает такого безобразия - может ли конь, или собака вступать в соперничество в такой развязной форме, с таким цинизмом формы? Увы! Увы! Человек после тридцати входит в безобразии. *Вся красота была на другой стороне, на стороне молодых.* Я, мужчина, не мог искать прибежища в моих сотоварищах, мужчинах, потому что они отталкивали меня. И толкали меня к тем, другим!

*

Пани Мария стояла на веранде.

- Где все? - спросила она - Куда запропали?

- Не знаю... Я был наверху.

- А Геня? Вы не видели Геню?

- Может, она в парниках.

Она заперевирала пальцами. - Не создалось ли у Вас такого

впечатления... Вацлав показался мне расстроенным. Какой-то он подавленный. Может что-то между ними не так? Наверное, что-нибудь не в порядке. Мне это начинает не нравиться, я должна поговорить с Вацлавом, или может с Геней... не знаю... Боже правый!

Она была взволнована.

- Я ничего не знаю. А насчет того, что подавленный... так он мать потерял.

- Вы думаете, что это из-за матери?

- Разумеется. Мать - это мать!

- Да-да, конечно. Я тоже думаю, что это из-за матери. Мать потерять! Ему даже Геня ее не заменит! Мать - это мать! Мать! - и она заиграла пальцами по воздуху. Это совершенно успокоило ее, как будто слово "мать" было столь мощным, что даже умаляло значение слова "Геня", как будто оно было высшей святынней!... Мать! А ведь и она тоже была матерью. И уже ничем больше не была, как только матерью! Это существо из прошедшего времени, которое теперь было только матерью, посмотрело на меня выцветшим взглядом ушедших времен и исчезло, унося с собой благоговение к матери - я знал, что можно не опасаться ее противодействия: будучи матерью, она ничего не могла сделать во времени настоящем. Заиграли, удаляясь, ее былые прелести.

*

С приближением ночи и с тем, что возвещало ее приход - зажиганием ламп, закрыванием ставней, накрыванием ужина - мне становилось все хуже и, будучи не в силах найти себе место, я слонялся. Со все большей четкостью прорисовывалась сущность моего с Фридриком предательства: мы предали мужское начало с (мальчиком плюс девочкой). Ходя по дому, я заглянул в гостиную, где было довольно темно, и увидел сидевшего на диване Вацлава. Я вошел и сел в кресло, впрочем, достаточно далеко, у противоположной стены. Мои намерения были неопределенны. Смутны. Отчаянная попытка - а может, получится решительным усилием преодолеть отвращение, связать себя с ним в мужском начале. Но отвращение выросло до недостижимых высот - разбуженное моим приходом и расположением моего тела вблизи его тела, преисполненное его ко мне неприязнью... неприязнью, которая, делая меня отвратительным, делала отвратительным мое отвращение к нему.

И vice versa. Я знал, что в этих условиях и речи быть не могло о том, чтобы хоть один из нас засиял теми великолепиями, которые нам, несмотря ни на что, были доступны - я имею в виду великолепия добродетели, ума, преданности, геройства, благородства, которые мы могли продемонстрировать, и которые были в нас in potentia - однако отращивание было слишком всемогущим. Но разве мы не могли его сломать, насильно? Насилие! Насилие! Или мы не мужчины? Мужчина - это тот, кто насилует, навязывает себя силой. Мужчина - это тот, кто царствует! Мужчина не спрашивает, нравится он или нет, он заботится только о собственном удовольствии, его небо должно решать, что прекрасно, а что уродливо - для него и только для него! Мужчина существует для себя и ни для кого больше!

Искру такого насилия я, видимо, и пытался высечь из нас... На данный момент дело выглядело так, что и он, и я были импотентами, потому что мы не были сами собой, мы существовали не для себя, а для другого, более молодого чувствования - и это топило нас в уродстве. Но если бы я смог в этой гостиной хотя бы на мгновение стать существом для него, для Вацлава - а он для меня - если бы мы смогли стать мужчиной для мужчины! Неужели это не преумножило бы в нас мужественности? Неужели один другого не принудил бы мужественностью к мужественности? Вот такие были мои калькуляции, производимые остатками отчаявшейся и иступленной надежды... поскольку насилие, коим и есть мужчина, должно сначала зародиться в мужественности, между мужчинами... и пусть бы само мое присутствие при нем сумело закрыть нас в этом герметическом кругу... огромное значение я придавал тому, что темнота делала более уязвимой нашу ахиллесову пяту - тело. Я думал, что, используя ослабление телесного начала, мы сможем соединиться и умножиться, довольно мощно станем мужчинами, дабы не брезговать друг другом - ведь собой-то никто не брезгует; достаточно быть всего лишь самим собой, чтобы не брезговать! Таковы были мои отчаянные намерения. Но он оставался недвижимым... я также... и мы не могли друг с другом начать, нам не хватало начала, и в самом деле, неизвестно было, как начать...

Неожиданно в гостиной появилась Геня.

Не заметив меня, она подошла к Вацлаву и, тихая, села рядом с ним. Как бы предлагая помириться. Наверняка она была (мне

хорошенько не было видно) любезной. Умиротворяющей. Учтливой. Кроткой. Может, беспомощной. Растерянной. Что это? Что это? Неужели и ей... все это... приелось... а может быть, она испугалась, захотела выйти из нашей игры и искала опоры, спасенья в женихе? Учтиво так уселась подле него, без единого слова, отдавая инициативу в его руки, что должно было означать: "я твоя, сделай же теперь с нами что-нибудь". Вацлав не дрогнул, пальцем даже не пошевелил.

Как истукан, недвижимый. Я никак не мог понять, какие чувства в нем бурлят? Гордость? Ревность? Обида? А может, он просто ничего не испытывал и не знал, что с ней делать - а мне кричать хотелось, чтобы он по крайней мере обнял ее что ли, чтобы руку на нее положил, ведь от этого могло зависеть спасенье! Последняя надежда! Его рука обрела бы на ней свою мужественность, а я подскочил бы с моими руками и дело как-нибудь да пошло бы! Насилие - насилие в этой гостиной? Но ничего. Время шло. Он не двигался. И это было подобно самоубийству - провал - провал - провал - тогда девушка встала, удалилась... а за ней и я.

*

Подали ужин. Присутствие пани Марии свело наш разговор к ничего не значащим фразам. После ужина я опять не знал, куда деться, могло показаться, что в предшествующие убийству часы надо много чего сделать, а тем временем никто из нас ничем не занимался, все разбежались по своим углам... может быть потому что предстоящая акция имела столь доверительный и столь решительный характер. Фридерик? Где Фридерик? Он тоже куда-то пропал и его исчезновение меня как будто ослепило, или как будто мне на глаза надели повязку, я не знал что и как и должен был найти его, немедленно, тут же - тогда я начал поиски. Я вышел во двор. Собирался дождь, жаркая влага в воздухе, лоскуты туч, различимые на беззвездном небе, временами налетал ветер, кружил по саду, и утихал. Я вышел в сад чуть ли не ощупью, вернее, угадывая тропинки, с той смелостью, какую диктует шаг в невидимое, и разве что время от времени знакомый силуэт дерева или куста возвещали, что, дескать, все в порядке и что я нахожусь именно в том месте, где и собирался быть. Но я обнаружил, что абсолютно не готов к этой неизменности сада, что она меня скорее удивляет... меня бы меньше удивило, если бы впотьмах сад вывер-

нулся наизнанку. Эта мысль меня расколыхала, как лодку в открытом море, и я понял, что потерял из виду берег. Фридрика не было. Я побежал на острова, беготня лишила меня самообладания и каждое выскакивающее передо мной дерево, каждый куст были атакующей меня фантазмагорией - ибо были такими, какими и были, а *могли бы быть* и другими. Фридерик? Фридерик? Мне его явно не хватало. Без него все было неполным. Куда он скрылся? Что делал? Когда я возвращался домой, чтобы еще там поискать, я наткнулся на него в кустах перед кухней. Он свистнул по-хулигански. Кажется, он был не слишком доволен моим приходом, и возможно - даже немного был пристыжен.

- Что Вы тут делаете? - спросил я.

- Голову ломаю.

- Над чем?

- Над этим.

Он показал на окно кладовки. Одновременно он показал мне что-то на раскрытой ладони. Ключ от кладовки. - Теперь можно и поговорить, - сказал он свободно и громко. - Письма больше не нужны. Она уже, Вы знаете, ну... эта... природа... не подложит нам свиньи, потому что дела зашли слишком далеко, ситуация уже определилась... Нечего миндальничать!... - Он говорил как-то странно. Из него исходило что-то особенное. Невинность? Святость? Чистота? И, по всей видимости, он перестал бояться. Сломал веточку, бросил ее на землю - в другое время он раза три подумал бы, бросить или не бросить... - Я взял с собой этот ключ, - добавил он, - чтобы принудить себя к какому-нибудь решению. Относительно этого... Скузяка.

- И что? Придумали?

- Разумеется.

- Мне можно знать?

- Пока что... еще нет... Вы сами увидите в нужный момент. А впрочем. Вам я расскажу. Извольте!

Он показал вторую руку - с ножом, длинным таким, кухонным ножом. - Как, опять? - спросил я, неприятно пораженный. И тут неожиданно, впервые со всей ясностью я понял, что имею дело с сумасшедшим.

- Ничего лучше я не мог придумать, - признался он, как бы оправдываясь. - Но этого вполне достаточно. *Ибо если молодой*

убивает старшего, то здесь старший убьет молодого - уловили смысл? Это создает целостность. Это их соединит, всю тройку. Нож. Я уже давно знал, что если их что-то и соединяет, так это нож и кровь. Разумеется, все надо сделать одновременно, - добавил он. - Когда Кароль воткнет свой нож в Семяна, я воткну свой в Юзяа... ааа!

Ничего себе идея! Сумасшедший! Большой - помешанный - как же он будет резать?!... А ведь его помешательство где-то, в другом измерении, было, собственно говоря, чем-то чрезвычайно естественным и даже само собой разумеющимся, сумасшедший был прав: такое можно было сделать, оно соединило бы их "в одно целое"... Причем, чем более кровавой и страшной была нелепица, тем сильнее она соединяла их... Но и этого, как будто, было мало: отдающая больницей нездоровая мысль, нервная и одичавшая, отвратительная мысль интеллектуала, пахнула, как цветущий куст, душным ароматом - столь захватывающей она была! Это меня покорило! Но с другой, с "их" стороны - это кровавое усиление убивающей молодости и это соединение при помощи ножа (мальчиков с девочкой). По сути дела, было безразлично, какая жестокость свершится - ими или над ними - любая жестокость, как острый соус, усиливала их вкус! Хоть и влажный, хоть и пасмурный, и с этим чудовищным безумцем, но погруженный во тьму, сад наполнился и захлебнулся волшебством, - а когда я глубоко вдохнул его свежесть, то внезапно окунулся в сказочно-горькую пронзительно-обольстительную стихию. Снова все, все, все стало молодым и чувственным, даже мы! И все-таки... нет, я не мог согласиться! Здесь он явно перебрал! Недопустимо - невозможно - зарезать парня в кладовке - нет, нет, нет... Он рассмеялся.

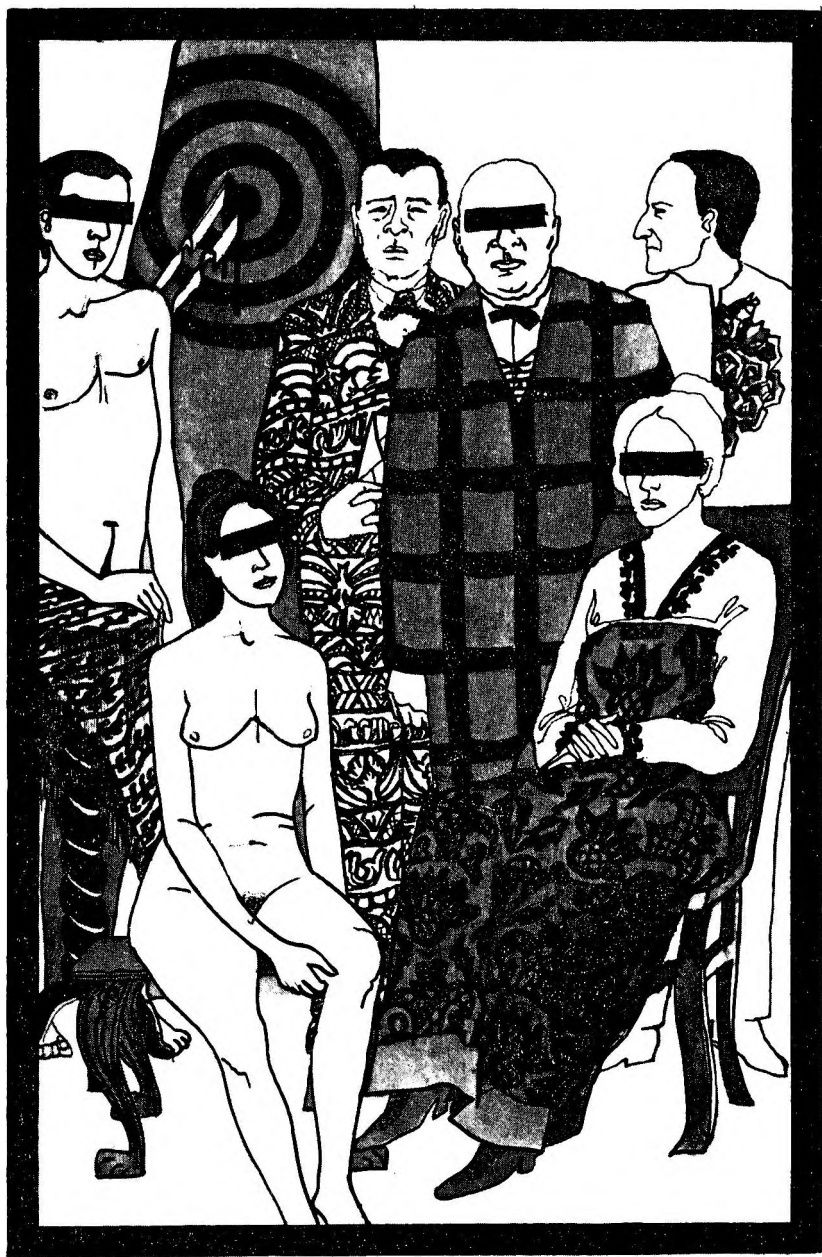
- Да не волнуйтесь Вы! Я всего лишь хотел проверить, доверяете ли Вы моим двум извилинам. Ну рассудите сами! Чего только в голову не придет... от раздражения. Ничего я не придумал с этим Скузяком. Глупость все это!

Действительно, глупость. Он сам признал; глупость была подана мне как на тарелке, и мне стало неприятно, что я позволил себя провести. Мы вернулись в дом.

Рассказать осталось совсем немного. Собственно говоря, все пошло гладко и шло до самого конца все более и более гладко, до конца, который... как бы это сказать, превзошел все наши ожидания. Все было просто... меня аж смех разбирал, что такая гнетущая трудность разрешается такой окрыляющей простотой.

Моя роль снова состояла в том, чтобы следить за комнатой Семяна. Я лег на кровать, руки под голову, и стал прислушиваться - мы вошли в ночь, и дом, казалось, уснул. Я все ждал скрипа ступенек под ногами парочки убийц, впрочем, пока еще слишком рано, оставалось минут пятнадцать. Тишина. Во дворе на часах стоял Ип. Внизу, у входа - Фридерик. Наконец, ровно в пол-первого где-то внизу заскрипели ступеньки под их ногами, наверняка необутыми. Голыми? А может в носках?

Незабываемые минуты! Снова раздался осторожный скрип ступеней. К чему так красться - было бы естественней, если бы она свободно вбежала наверх, это только он должен скрываться, впрочем, неудивительно, что их заразила конспирация... да и нервы их были напряжены. Внутренним взором я почти что видел, как они идут по ступеням, она - впереди, он - за ней, пытаюсь произвести как можно меньше скрипа. Мне стало горестно. Не было ли это совместное продвижение украдкой лишь никчемным суррогатом другого продвижения, во сто раз более желанного, в котором она была бы целью этих крадущихся шагов?... а впрочем, их цель в этот момент - не столько Семян, сколько его убийство - была не менее чувственной, грешной и жаркой от любви, а их тихое приближение - не менее напряженным... Ах! Еще раз скрипнуло! Приближалась молодость. Было невыразимо сладостно, ибо под их стопами ужасное деяние превращалось в деяние цветущее, подобное свежему дуновению... только вот... какова же она, эта крадущаяся молодость: чистая, действительно свежая, простая, естественная и невинная? Нет, она существовала "для старших", и если эти двое влезли в авантюру, то сделали это для нас, услужливо, чтобы нам понравиться, чтобы пофлиртовать с нами... и моя зрелость, направленная на их молодость, должна была встретиться на теле Семяна с их молодостью, направленной на нашу зрелость - а, каково rendez-vous!



Но в том и состояло счастье - и гордость - какая гордость! - и более того, что-то вроде водки - что они в стоворе с нами, по нашему наущению и, видимо, по какой-то необходимости служить нам, так себя подставляли - и так подкрадывались! - шли на такое преступление! Восхитительно! Неслыханно! В этом заключалась одна из наиболее захватывающих красот мира! Лежа на кровати, я просто с ума сходил от мысли, что мы с Фридериком стали вдохновением для их ног - ах, снова скрипнуло, теперь уже значительно ближе, и затихло, воцарилась тишина, и я подумал, что может они не выдержали, кто знает, может, увлеченные этим своим тайным движением, они свернули с пути, ведущего к цели, обратились друг к другу и теперь, в объятиях забыли обо всем, добравшись до запретных тел! Впотьмах. На ступенях. Едва сдерживая дыхание. Что ж, вполне возможно. Разве что... разве что... ах, нет, вот новый скрип говорит, что тщетны надежды, что ничего не изменилось и они ступают по лестнице - и тогда оказалось, что моя надежда совершенно, ну просто-таки совершенно нереальна, вообще не входила в расчет, не вписывалась в стиль их поведения. Они слишком молоды. Слишком. Слишком молоды для этого! А значит, они должны были прийти к Семяну и убить. Тогда, однако (ибо снова на ступеньках стало тихо), я подумал, а может им не хватило смелости, может она схватила его за руку и тянет вниз, а вдруг они неожиданно представили громадную тяжесть задания, всю его давящую массу, это "убить". Ну, вдруг все поняли и испугались? Нет! Никогда! Исключено. По тем же самым причинам. Их эта пропасть привлекала, притягивала потому, что они не могли ее перепрыгнуть - их легкость стремилась к самым ярким предприятиям потому, что они переделывали все во что-то другое - их приближение к преступлению было как раз разбиванием преступления в прах, совершая его, они его разрушали.

Скрип. Их чудесная нелегальность, легко крадущийся (мальчишеско-девичий) грех... и я почти что видел их ноги, слаженные тайной, раскрытые губы, слышал запретное дыхание. Я подумал о Фридерике, ловившем те же самые отголоски внизу, в прихожей, где ему было определено место; я подумал о Вацлаве, увидел их всех вместе с Иполитом, с пани Марией, с Семяном, который, видимо, как и я, лежал на кровати, и я вдохнул вкус девственного преступления, юного греха... Тук, тук, тук.

Тук, тук, тук.

Стук. Это она стучала в дверь Семяна.

Здесь, собственно говоря, и кончается мой рассказ. Финал был слишком... гладким и слишком... молниеносным, слишком... до легкости простым, чтобы описать его достаточно правдоподобно. Ограничусь фактами.

Я услышал ее голос: "Это я". В замке Семяна повернулся ключ, открылась дверь, затем - удар и падение тела, которое, видимо, плашмя упало на пол. Мне показалось, что парень для верности еще пару раз пырнул ножом. Я выскочил в коридор. Кароль зажег лампу. Семян лежал на полу, когда мы повернули его, показалась кровь.

- Все в порядке, - сказал Кароль.

Но вот лицо... странно повязанное платком, как будто болели зубы... это был не Семян... лишь через несколько секунд мы поняли, что это - Вацлав!

Вместо Семяна на полу лежал мертвый Вацлав. Однако был мертв и Семян - но на кровати - он лежал на кровати с ножевой раной в боку, уткнувшись носом в подушку.

Мы зажгли свет. Я смотрел на все это, полный каких-то страшных сомнений. Это... это не казалось на сто процентов реальным. Слишком складно - слишком просто! Не знаю, достаточно ли ясно я говорю, но я не хочу сказать, что на самом деле так не могло быть, поскольку в этом исходе проглядывалась какая-то подозрительная сыгранность... как в сказке, как в сказке... А произошло наверняка вот что: сразу же после ужина Вацлав проник в комнату Семяна через двери, соединяющие их комнаты. Убил его. Тихо. Потом ждал прихода Гени с Каролем и открыл двери. Чтобы они его убили. Тихо. Для верности погасил свет и обвязал лицо платком - чтобы его не узнали сразу.

Ужас моего раздвоения: трагическая грубость этих трупов, их кровавая правда была слишком тяжелым плодом слишком гибкого дерева! Эти два безжизненных тела - и эти двое убийц! Как будто предельно смертельная идея была просверлена насквозь легкомысленностью...

Мы вышли из комнаты в коридор. Они озирались. Молча.

Мы слышали, что кто-то бежит по лестнице. Фридерик. Увидев Вацлава, он остановился. Махнул нам рукой - непонятно, что

это означало. Достал из кармана нож, подержал его в воздухе и бросил на землю... Нож был в крови.

- Юзек, - сказал он. - Здесь Юзек.

Он был невинный! Невинный! Он просто-таки лучился невинной наивностью! Я посмотрел на нашу парочку. Они улыбались. Как это бывает у молодежи, когда ей трудно выйти из щекотливой ситуации. И какое-то мгновение они и мы, застигнутые катастрофой, смотрели друг другу в глаза.

Из гневника





* * *

Статья Лехоня “Польская литература и литература в Польше” в “Вядомосьцях”.

Насколько это может быть искренне? Эти выводы приводятся еще раз (ах, уже который раз!) в качестве доказательства, что мы стоим наравне с лучшими мировыми литературами - равны, но нас недооценивают! Он пишет (а скорее говорит, поскольку это был доклад, сделанный в Нью-Йорке для тамошних поляков):

“Наши ученые-словесники из-за того, что они слишком заняты преимущественно только польским, не смогли выполнить задачи найти для нашей литературы достойное ее место среди других, найти мировой уровень для наших шедевров... Только великий поэт, мастер своего собственного языка... мог бы дать своим соотечественникам понятие об уровне наших поэтов, равным самым великим в мире, убедить их, что это поэзия, выкованная из металла той же самой высшей пробы, что и поэзия Данте, Расина и Шекспира.”

И так далее. Из того же самого металла? Это, видимо, не слишком удалось и Лехоню. Поскольку сам материал, из которого сделана наша литература, - другой. Сравнить Мицкевича с Данте или с Шекспиром то же самое, что сравнить фрукт с вареньем, натуральный продукт с продуктом переработанным, луг, поля и

деревню с кафедрой или городом, сельскую душу с душой городской, окруженной людьми, а не природой, начиненной знаниями о мире рода человеческого. Так был ли Мицкевич меньше Данте? Если уж мы пустились в подобные измерения, то скажем, что он смотрел на мир с плавных польских возвышенностей, в то время, как Данте был поднят на вершину громадной горы (сложенной из людей), с которой открываются другие перспективы. Данте, может, и не был “более великим”, но был выше поставлен: потому он и выше.

Но довольно об этом. Меня здесь больше занимает старосветскость метода и бесконечные перепевы этого бодряческого стиля. Когда Лехонь с гордостью упоминает, что Лотреамон “ссылался на Мицкевича”, усталая мысль моя достает из прошлого массу гордых открытий, подобных этому. Сколько же раз то один, то другой, может, Гжимала, или Дембицкий, показывали *urbi et orbi*, что и мы не лаптем щи хлебаем, поскольку “Томас Манн счел “Небожественную” великим произведением” или “Камо грядеши” было переведено на все языки”. Таким вот сахаром мы уже давно себя подбадриваем. Но я хотел бы дождаться той минуты, когда конь народа зубами схватит Лехоней за сладкую руку.

Я понимаю Лехоня и его начинание. Это прежде всего патриотическая обязанность, если принять во внимание исторический момент его вынужденного пребывания на чужбине. Это роль польского писателя. А во-вторых, он наверняка в определенной мере верит в то, что пишет, повторяю - “в определенной мере”, поскольку это истины того рода, что требуют много доброй воли, и естественно, в том, что касается “конструктивности” - это выступление абсолютно конструктивно и на сто процентов позитивно.

Хорошо. Однако мое отношение к данному вопросу другое. Как-то случилось мне участвовать в одном из тех собраний, посвященных взаимному польскому подбадриванию и поднятию духа... где, отпев “Роту” и отплясав краковяк, приступили к слушанию докладчика, который славил народ, ибо “мы дали Шопена”, потому что “у нас есть Кюри-Склодовская” и Вавель, а также - Словацкий, Мицкевич и, кроме того, мы были оплотом христианства, а Конституция Третьего Мая была очень передовой... Докладчик объяснял себе и собравшимся, что мы - великий народ, но это, возможно, уже не возбуждало энтузиазма у слушателей (которым

был известен этот ритуал - они принимали в нем участие как в богослужении, от которого не приходится ждать сюрпризов), но тем не менее, было принято со своего рода удовлетворением, поскольку тем самым был отдан патриотический долг. Я же ощущал этот обряд как исчадие ада, это национальное богослужение становилось чем-то сатанински-издевательским и злобно-гротескным. Поскольку, возвеличивая Мицкевича, принижали себя - и таким восхвалением Шопена показывали как раз то, что не доросли до Шопена - а любуясь собственной культурой, обнажали свой примитивизм.

Гении! К черту этих гениев! Меня так и подмывало сказать собравшимся: Какое мне дело до Мицкевича? Вы - для меня важнее Мицкевича. И ни я, ни кто другой не будет судить о польском народе по Мицкевичу или Шопену, а по тому, что делается и о чем говорится здесь, в этом зале. Даже если бы вы оказались столь бедными на величие, что самым большим вашим художником был бы Тетмайер или Конопницкая, но если бы вы смогли говорить о них со свободой людей духовно свободных, с умеренностью и трезвостью людей зрелых, если бы слова ваши охватывали горизонт не захолюстья, а мира... тогда бы даже Тетмайер стал бы вам поводом для славы. Но дела обстоят так, что Шопен с Мицкевичем служат вам только для подчеркивания вашей незначительности, потому что вы с детской наивностью трясете перед носом уставшей от вас заграницы этими полонезами лишь затем, чтобы поддержать подточенное чувство собственного достоинства и добавить себе значимости. Вы как тот бедняк, который хвалится, что у его бабки был фольварк и что она бывала в Париже. Вы - бедные родственники мира, пытающиеся понравиться себе и другим.

Однако, самым плохим и мучительным, самым унижительным и болезненным было не это. Самым страшным было то, что жизнь, современный ум посвящались покойникам. Ибо это торжественное собрание можно было определить как взаимное одурманивание поляками друг друга во имя Мицкевича... и никто из присутствовавших не был столь неумным, как это собрание, которое они составляли и которое зияло скверной, претенциозной, фальшивой фразеологией. Впрочем, собрание знало о том, что это глупо - глупо, потому что касается вопросов, которых ни мыслью, ни чувством не охватить - и отсюда это уважение, эта поспешная покор-

ность перед фразой, это восхищение Искусством, этот условный и заученный язык, это отсутствие честности и искренности. Здесь декламировали. Но собрание было отмечено скованностью, искусственностью и фальшью еще и потому, что в нем приняла участие Польша, а по отношению к Польше поляк не умеет вести себя, она его смущает и отнимает естественность, вгоняет в робость до такой степени, что у него ничего не “выходит” как надо, ввергает его в судорожное состояние - а он слишком хочет Ей помочь, слишком желает Ее возвысить. Заметьте, что по отношению к Богу (в костеле) поляки ведут себя нормально и правильно, а по отношению к Польше - теряются, это то, к чему они еще не привыкли.

Вспоминаю чай в одном аргентинском доме, где мой знакомый поляк начал говорить о Польше - и снова, само собой, в разговор вплелся Мицкевич, Костюшко, вместе с королем Собеским и битвой под Веной. Иностранцы вежливо слушали жаркие доводы и принимали к сведению, что “Ницше и Достоевский имели польские корни”, что “у нас две Нобелевские премии по литературе”. Я подумал, что если бы кто-то подобным образом стал хвалить сам себя или свою семью, то это было бы в высшей степени бестактно. Я подумал, что этот аукцион гениев и героев с другими народами, аукцион заслуг и культурных достижений, весьма неудобен с точки зрения пропагандистской тактики, поскольку мы с нашим полуфранцузским Шопеном и не вполне исконно-польским Коперником не можем противостоять итальянской, немецкой, английской, русской конкуренции, стало быть, эта точка зрения обрекает нас как раз на второсортность. Иностранцы, однако, не переставали терпеливо слушать, как слушают тех, кто претендует на аристократизм, кто ежеминутно вспоминает, что его прадед был ливским кастеляном. И выслушивали они это с тем большей скукой, что это их абсолютно не касалось, поскольку сами они, как народ молодой и, к счастью, лишенный гениев, в этом конкурсе не участвовали. Но слушали снисходительно и даже с симпатией, поскольку в конце концов проникались ситуацией *del pobro polaco*, а он, зайдясь в своей роли, все не умолкал.

Однако мое положение как польского литератора становилось все более неприличным. По крайней мере, я не горю желанием представлять хоть что-нибудь, кроме себя самого, но эту представительскую функцию нам навязывает мир вопреки нашей воле, и

не моя вина, что для этих аргентинцев я был представителем современной польской литературы. Передо мной стоял выбор: ратифицировать этот стиль, стиль бедного родственника, или его ликвидировать - при этом ликвидация должна была бы произойти за счет всех более или менее выгодных для нас сведений, какие были сообщены, и это было бы наверняка ущербом для наших польских интересов. Не что иное, как именно национальное достоинство, не позволило мне произвести какие бы то ни было калькуляции, поскольку я человек с несомненно обостренным чувством собственного достоинства, а такой человек, даже если бы он не был связан с народом узами обычного патриотизма, всегда будет стоять на страже достоинства народа, хотя бы только потому, что он не может оторваться от народа, и по отношению к остальному миру он поляк - отсюда всякого рода принижение народа принижает и его лично по отношению к людям. Эти чувства, как бы обязательные для нас и от нас независимые, стократ сильнее всех заученных и банальных симпатий.

Когда нами овладевает такое чувство, которое сильнее нас, мы начинаем действовать как слепые и эти моменты важны для художника, поскольку тогда формируется плацдарм формы, определяется позиция по отношению к животрепещущей проблеме. И что же я сказал? Я отдавал себе отчет в том, что лишь радикальная смена тона может принести освобождение. Значит, я постараюсь, чтобы в моем голосе появилось пренебрежение, и я начал говорить так, как будто я не придаю большого значения достижениям народа, чье прошлое менее ценно, чем будущее, как будто самым важным законом является закон настоящего момента, закон максимальной духовной свободы в данный момент. Выпячивая иностранные корни в крови Шопенов, Мицкевичей, Коперников (чтобы не подумали, что я хочу что-то скрыть, что что-то может у меня забрать свободу движения), я сказал, что не стоит слишком серьезно относиться к метафоре, что якобы мы, поляки, "дали" их, поскольку они всего лишь родились среди нас. Ну что общего с Шопеном у пани Ковальской? Или может быть то, что Шопен написал баллады, хоть на шепотку увеличивает весомость пана Повальского? Разве битва под Веной может прибавить хоть на грамм славы пану Зембицкому из Радома? Нет, мы не являемся (говорил я) непосредственными наследниками ни прошлого вели-

чия, ни ничтожности - ни разума, ни глупости - ни добродетели, ни греха - и каждый отвечает лишь за самого себя, каждый является собой.

И здесь мне показалось, что я недостаточно глубок и что (если то, что я говорю, должно привести к определенному итогу) следовало бы взглянуть на вещи шире. Потому, признаваясь, что в определенном смысле, в больших достижениях народа, в произведениях его творцов проявляются специфические добродетели, свойственные данной общности, и те напряжение, энергия, очарование, которые роятся в массе и представляют собой ее выражение - я ударил по самому принципу национальной самовлюбленности. Я сказал, что если воистину зрелый народ должен сдержанно оценивать собственные заслуги, то народ воистину живой должен научиться легкому отношению, он обязательно должен быть выше в отношении всего, что не является сегодня актуальным его делом и современным созиданием.

“Деструктивность” или “конструктивность”? Ясное дело, эти два слова были настолько разрушительны, что подкапывались под трудолюбиво возведенное здание “пропаганды”, и даже могли ввести во искушение иностранцев. Но какое наслаждение говорить не для кого-то, а для себя! Когда каждое слово сильнее утверждается в тебе, придает тебе внутренние силы, спасает от тысячи робких калькуляций, когда говоришь не как раб результата, а как свободный человек!

Et quasi cursores, vitae lampada tradunt.

Но лишь в самом конце моей филиппики я нашел мысль, которая мне показалась - в атмосфере этой смутной цивилизации - самой ценной. А именно: ничто свое не может импонировать человеку; если нам импонирует наше величие или наше прошлое, то это доказывает, что они пока еще не вошли в нашу плоть и кровь.

* * *

Большая часть немногочисленной почты, полученной мною ех ге “Транс-Атлантика”, не выражает ни протеста по поводу “оскорбления самых святых чувств”, ни является полемикой или комментарием. Нет. Лишь два мощных вопроса не дают покоя читателям: как я смею писать слова с большой буквы посреди предложения? Как я смею употреблять слово г....?

Что остается думать об интеллектуальном и любом другом уровне человека, который до сих пор не знает, что слово меняется в соответствии с обстоятельствами его употребления - что даже слово "роза" может потерять аромат, когда его произносят уста претенциозной эстетки, а даже слово "г...." может стать свидетельством прекрасного воспитания, если им пользуется осознающая свои цели дисциплина?

Но они хотят читать дословно. Если кто-то употребляет возвышенные слова - то это человек благородный, если крепкие - то это человек сильный, если вульгарные - то вульгарный. И эта тупая дословность свирепствует и в высших кругах общества. Так как же после этого мечтать о польской литературе в широком смысле слова?

* * *

Милош - громадная сила. Это писатель с ясно очерченной задачей, призванный ускорить наш темп, чтобы мы успели за эпохой, и с замечательным талантом, прекрасно приспособленным к выполнению этого своего предназначения. У него есть нечто такое, что ценится на вес золота, что я назвал бы "волей реальности" и вместе с тем ощущение точек жуткого нашего кризиса. Он принадлежит к тем немногим, чьи слова исполнены значения (единственное, что может его погубить, это спешка).

Но этот писатель сделался за последнее время специалистом по Стране, а после и - по коммунизму. Точно так же, как я отделил Милоша Восточного от Милоша Западного, может быть, следовало бы сделать различие между Милошем - "абсолютным" писателем и Милошем - писателем текущего момента. И как раз Милош Западный (то есть, тот, что во имя Запада осуждает Восток) является Милошем меньшего калибра и преходящим. Западному Милошу можно сделать ряд упреков, касающихся непосредственно всего того крыла современной литературы, которое живет одной лишь проблемой - коммунизм.

Первый упрек таков: они слишком усердствуют. Не в том смысле, что преувеличивают опасность, а в том, что придают этому миру черты почти что демонической исключительности, чего-то небывалого и к тому же удивительного. Этот подход несовме-

стим со зрелостью, которая, зная суть жизни, не позволит ее событиям удивить себя. Революции, войны, катаклизмы - что может значить эта пена по сравнению с фундаментальной угрозой существованию? Вы говорите, что до сих пор не было ничего подобного? Вы забываете, что в ближайшей больнице творятся не меньшие жестокости. Вы говорите, что гибнут миллионы? Вы забываете, что миллионы гибнут постоянно, без минуты перерыва, от сотворения мира. Вас пугает и поражает та угроза, потому что ваше воображение уснуло и вы забываете, что мы сталкиваемся с адом на каждом шагу.

Это важно, ибо действительно осудить коммунизм можно только с позиций самой строгой и глубокой экзистенции, и никогда с позиций поверхностной и сглаженной жизни, жизни мещанской. Вас охватывает свойственное художникам желание сделать картину более яркой, придать ей наибольшую выразительность. Поэтому ваша литература является возвеличиванием коммунизма и вы строите в своем воображении явление столь мощное и столь исключительное, что еще чуть-чуть, и вы падете пред ним на колени.

Поэтому я спрашиваю, не больше ли соответствовало бы истории и нашему знанию о мире и человеке, если бы вы рассмотрели этот мир за занавесом не как новый, невиданный, демонический мир, а как нарушение и искажение мира обычного; и если бы вы не теряли истинных пропорций между этими конвульсиями взбалмученной поверхности и неустанной и глубокой жизнью, идущей под поверхностью?

Второй упрек: сводя все к этой единственной антиномии между Востоком и Западом, вы должны - и это неизбежно - подчиниться схемам, которые вы сами и создаете. И тем более, что нельзя различить, что в вас стремление к правде, а что - стремление к психической мобилизации в этой борьбе. Я не хочу этим сказать, что вы ведете пропаганду - я хочу сказать, что в вас говорят глубинные коллективные инстинкты, которые сегодня велят людям сосредоточиваться лишь на одном вопросе, готовиться лишь к одной битве. Вы плывете по течению массовых представлений, которое уже выработало свой язык, свои понятия, картины и мифы, и это течение уносит вас дальше, чем вы того желаете. Сколько в Милоше от Оруэлла? Сколько в Оруэлле от Кестлера? Сколько в них обоих из этих тысяч и тысяч слов, которые изо дня в день

производят печатные машинки и печатные станки, что во всяком случае не является делом американского доллара, а проистекает из самой нашей природы, которая требует для себя определенного мира? Бесконечность и богатство жизни вы резюмируете для себя в нескольких темах и оперируете упрощенной концепцией мира, концепцией, о которой вы прекрасно знаете, что она - временная.

Ценность же чистого искусства состоит в том, что оно ломает схемы.

А третий упрек еще хуже: кому вы хотите служить? Личности или массе? Если коммунизм это нечто такое, что подчиняет человека коллективу, то самым действенным способом борьбы против коммунизма является усиление личности в противоположность массе. А если еще вдобавок понять, что политика, что проходная и рассчитанная на определенный эффект литература желают создать коллективную силу, способную к борьбе [...], и что задача серьезного искусства в другом - оно либо останется навсегда тем, чем было испокон веку, то есть голосом личности, выразителем человека в единственном числе, либо исчезнет. В этом смысле одна страница Монтеня, одно стихотворение Верлена, одно предложение Пруста более "антикоммунистичны", чем тот хор обвинителей, который вы из себя составили, ибо они свободны - они освобождают.

И наконец, четвертый упрек: по настоящему дерзновенное творчество (поскольку эти упреки касаются не всех подряд, а лишь создателей с высокими претензиями, тех, кто не отказывается от имени артиста) должно опережать свое время, быть искусством завтрашнего дня. Как примирить эту капитальную задачу с актуальностью, то есть с днем сегодняшним? Художники горды, что последние годы неизмеримо расширили их представления о человеке - в такой степени, что по сравнению с этим недавно умершие авторы кажутся наивными - но все эти правды и полуправды были даны им единственно затем, чтобы они их преодолели и обнаружили другие, скрывающиеся за ними. Искусство, кроме того, должно быть разрушителем сегодняшних понятий во имя понятий появляющихся. Но эти новые, появляющиеся вкусы, завтрашние чувства, ожидающие нас духовные состояния, концепции, эмоции - как же они могут появиться из-под пера, которое стремится лишь к консолидации сегодняшних взглядов, сегодняшних противоре-

чий? Помещенные Милошем в “Культуре” замечания о моей пьесе дают неплохую иллюстрацию этого. Он заметил в “Венчании” то, что “своевременно” - отчаяние и стон вследствие унижения человеческого достоинства и неожиданного краха цивилизации - но не заметил, как далеко наслаждение и игра таятся за этим сегодняшним фасадом, готовые в любую минуту возвысить человека над его неудачами.

Мы постепенно начинаем пересыщаться сегодняшними чувствами. Наша симфония приближается к тому моменту, когда вступает баритон и: братья, бросьте свои песни, пусть зазвучат другие тона! Но песнь будущего не родится под тем пером, которое слишком связано с настоящим временем.

Было бы глупо, если бы я предъявлял претензии людям, которые при виде пожара забили в колокол. Не к этому я стремился. Но я говорю: пусть каждый делает то, к чему он призван, к чему у него есть способности. Литература крупного калибра должна стрелять далеко и беспокоиться прежде всего о том, чтобы ничто не ограничивало ее радиуса действия. Если вы хотите, чтобы снаряд залетел далеко, вы должны ствол орудия направить вверх.

* * *

Р.Г. прочел мне письмо, полученное от польки, о котором он говорит, что направлено оно мне. Я переписал из него следующие выдержки:

“Действительно, я не хочу знать, ничего, ничего, ничего, я хочу только верить. Я верю в безошибочность моей веры и в правильность моих принципов. Здоровый человек не хочет подцепить бациллу, а я не хочу вдыхать мыслительный миазм, способный подорвать мою веру, которая мне необходима в жизни, и даже есть сама моя жизнь...”

“Верить можно только если хочется верить или если в себе воспитываешь веру, а кто умышленно подвергает свою веру испытанию, чтобы проверить, выдержит ли она испытание, тот уже не верит в веру. Да, надо верить. Надо верить в то, что надо верить. Надо иметь веру в веру! В себе самом надо полюбить веру”.

“Вера без веры в веру не сильна, и никому не может дать удовлетворения”.

Я прочел это в Фрей Мочо. С интересом спрашивает, так ли рьян католицизм в Польше, как и прежде, и является ли Польша *siempre fidelis*? Я сказал, что сегодняшняя Польша как сухарь, который с треском разламывается на две части: на верующих и на неверующих. Вернувшись домой, я подумал, что вышеприведенные отрывки следует рассмотреть. Эта “вера в веру”, столь сильный упор на акт воли, создающий веру, этот выход из веры в сферы, где она возникает - вот что действительно меня волнует.

Кроме того: какую позицию мне занять по отношению к католицизму? Я не имею в виду мою чисто художественную работу, поскольку в ней не выбирают ни позиций, ни подходов, искусство создается само по себе - я имею в виду мою литературу в ее общественном аспекте, в разных там статьях, фельетонах... Я совершенно один перед этой проблемой, потому что наша мысль, парализованная в 1939 году, не двинулась с тех пор ни на шаг вперед в области этих фундаментальных вопросов. Мы ничего не можем продумать, потому что мы не свободны в своем мышлении. Наша мысль так сильно прикована к нашей ситуации и так захвачена капитализмом, что может работать только или против него, или с ним - и *avant la lettre* мы прикованы к его колеснице, он нас победил, связывая нас с собой, хоть мы рады видимости свободы. Поэтому и о капитализме сегодня можно думать лишь как о силе, способной сопротивляться, а Бог превратился в пистолет, из которого мы жаждем застрелить Маркса. Это святая тайна, которая склоняет головы испытанных масонов, которая из низких светских фельетонов прогнала антиклерикальный анекдот, диктует поэту Лехонию взволнованные строфы, обращенные к Богородице, социалистически-атеистическим профессорам возвращает трогательную невинность времени первого причастия и вообще творит чудеса, какие до сих пор и не снились философам. Но... что это, триумф Бога или Маркса? Если бы я был Марксом, то я бы гордился, но если бы я был Богом, то как абсолюту, мне было бы слегка не по себе. Фарисеи! Если вам стал необходим католицизм, то станьте немного серьезнее и попытайтесь немного сблизиться с ним. Пусть этот общий фронт не будет лишь политикой. Просто я за то, чтобы все, что происходит в нашей духовной жизни, происходило как можно глубже и порядочнее. Пришло время, когда атеисты должны искать нового соглашения с Церковью.

Но поставленный принципиально, вопрос тут же становится так пугающе трудным, что, честное слово, опускаются руки. Как можно договориться с тем, кто верит, хочет верить и не допускает для себя никакой другой мысли, кроме той, догмат которой он не заносит в список запрещенных? Неужели существует какой-то общий язык между мной, идущим от Монтеня и Рабле, и той самозабвенной в своей вере корреспонденткой? Что бы я ни сказал, она все применит к своей доктрине. У нее все решено, поскольку она знает истину в конечной инстанции о мироздании, что придает ее человечеству совершенно иной - и с моей точки зрения весьма странный характер. Чтобы прийти к согласию с ней, я должен был бы разбить эти ее истины в конечной инстанции - но чем убедительнее я стану для нее, тем в большей степени я буду сатанинским и тем плотнее она заткнет уши. Ей нельзя допускать сомнения, а мои доводы станут как раз питательной средой для ее *credo quia absurdum*.

Здесь проступает страшная аналогия. Когда разговариваешь с коммунистом - нет ли впечатления, что говоришь с "верующим"? Для коммуниста тоже все определено, по крайней мере в нынешней фазе диалектического процесса, он обладает истиной, он знает. И более того, верит, и еще более того, хочет верить. Ты его уже переубедил, да он не переубеждается, потому что он верен Партии: Партия лучше знает, Партия знает за него. Тебе не показалось, когда твои слова отскакивают от этой герметичности, как от стенки горох, что истинный водораздел проходит между верующим и неверующим, и что этот континент веры охватывает такие непримиримые церкви, как католицизм, коммунизм, нацизм, фашизм... Вот в эту минуту ты чувствуешь над собой опасность колоссальной Святой Инквизиции.

* * *

Я появился на танцевальном вечере (это было на Новый год) в 2 часа ночи, неся в себе, кроме индейки, много водки и вина. Я договорился встретиться здесь со знакомыми - но их не было - вот и ходил я по разным залам - сел в садике, где неожиданно публика разбилась по парам и начала танцевать.

Это произошло из-за музыки, которой, однако, с моего места почти не было слышно и которая доходила до меня лишь глухим

отзвуком ударных или несколькими тонами задорной мелодии, сразу же пропадающей после первых признаков существования. А неземному призыву звучащих фрагментов, всегда возникающих в строгой последовательности, всегда сосредоточенных вокруг какой-то недоступной для меня фразы, здесь соответствовал такой забавный ритм тел, и такой резкий, потешный, до упаду расплясавшийся - к тому же более ощутимый, более реальный, чем та далекая аллюзия, - что, казалось, не музыка вызывает танец, а танец - музыку. Складывалось явное впечатление, что как будто ритм здесь внизу, слишком назойливый, выдирает там, наверху, очертания подтверждающего звука.

Но что за танец! Танец животов, танец развеселившихся лысин, танец увядших лиц, танец отмечавшей праздник утомленной трудом будничности, танец серости и бесформенности. Это не значит, что эта публика была хуже какой-то другой, но были это преимущественно пожилые люди и, в конце концов, это были обычные люди вместе со своей неизбежной нищетой - и эта нищета бесстыдным образом кичилась собой в конвульсиях, которые, будучи лишены музыки, выглядели чем-то оскорбительно-бессовестным, паразитально языческим и дико развязным... Казалось, они решили силой завоевать и присвоить Красоту, Шутку, Элегантность, Веселье и вот, пустив в пляс все свои дефекты и всю свою обыденность, они вместе создавали расплясавшуюся, развеселившуюся форму... на которую они и права-то не имели, которая, по сути дела, была узурпацией. Но это безумное домогательство очарования, доходящее до максимального напряжения, неожиданно выдирало эти признаки жизни мелодии, эти несколько счастливых тонов, которые, нисходя на танец, освящали его в течение одного мгновения - после чего снова наступало дикое, темное, глухое, безбожное сотрудничество трясущихся, самих собой охваченных тел.

А стало быть, танец создавал музыку, танец силой брал мелодию и делал это вопреки своему несовершенству! Эта мысль глубоко меня взволновала - поскольку из всех мыслей в мире именно она была для нас сегодня самой важной, самой близкой нам [...] К этой идее - что танец создает музыку - человечество шло по всем своим путям, она стала вдохновением и целью моего времени, к ней и я стремился по спирали, все теснее и теснее смыкая круги.

Но в этот самый момент я был уничтожен. Поскольку отдал себе отчет в том, что я обрел эту мысль лишь ради ее пафоса!

* * *

Я мог бы выдвинуть против коммунизма определенные претензии интеллектуального характера.

Эта философия по многим причинам не убеждает меня - но прежде всего потому, что, в моем понимании, коммунизм - это не столько философская или этическая проблема, сколько проблема техническая. Вы говорите, что для того, чтобы дух начал правильно действовать, должны быть удовлетворены потребности тела? Вы утверждаете, что всем надо обеспечить минимум благосостояния? А где гарантия, что ваша система сможет обеспечить благосостояние? [...] - может быть она - в ваших рассуждениях, где говорится обо всем, но не о технической стороне функционирования системы? Если коммунизм - это материализм и через изменение материальных условий жизни он хочет оказать воздействие на дух, то чего же вы талдычите о духе и так мало говорите о том, каким образом станет возможным это преодоление материи? Та дискуссия, которая должна была идти между специалистами по производству и организации, была переведена на путь рассуждений, как будто речь идет о какой-то обычной философии. Но до тех пор, пока не будет выяснена техническая возможность коммунизма, все прочие решения представляют собой лишь мечту.

Но даже если черным по белому из ваших калькуляций следовало бы, что ваша система удвоит или утроит количество продукта на душу населения, освобождая человека из нищеты, то я лично не мог бы проверить правильность этих вычислений - поскольку эта техническая задача требует технических знаний о мире, а знанием таким, не будучи специалистом, я не обладаю. А потому единственное, что я могу сделать, это поверить вам - но равным образом я мог бы поверить и другим специалистам, вычисления которых доказывают нечто совершенно противоположное. Так что же мне теперь, на этих основаниях строить свое участие в революции, разрушающей всю существовавшую до сих пор организацию, созданную для овладения природой? И вдобавок ко всему - не поперхнувшись проглотить все то насилие, которое сопровождает эти начинания?

В интеллектуальном плане у меня есть много других аргументов против коммунизма.

Но не было бы правильной, с точки зрения моей собственной политики, если бы я об этом не писал и даже не задумывался бы над этим? Художник, позволяющий увести себя на поля умственных спекуляций, - пропащий человек. Мы, люди искусства, в последнее время слишком покорно позволяли философам и прочим ученым водить себя за нос. Мы не умеем держаться достаточно самостоятельно. Чрезмерное уважение к высказываемой наукой истине закрыло от нас нашу собственную истину - в своем слишком страстном желании понять действительность мы забыли, что наше дело - понимание действительности, а не ее выражение, что мы, искусство, и есть действительность. Искусство - это факт, а не привязанный к факту комментарий. Не наше дело объяснять, оправдывать, систематизировать, доказывать. Мы являемся словом, которое констатирует: это у меня болит - это меня восхищает - это мне нравится - это я ненавижу - этого я жажду - этого я не хочу... Наука всегда останется чем-то абстрактным, а наш голос - это голос полнокровного человека, это индивидуальный голос. Нам важна не идея, а личность. Мы реализуемся не в сфере понятий, а в сфере личностей. Мы есть и должны остаться личностями, наша роль состоит в том, чтобы в мире, становящимся все более и более абстрактным, не перестало звучать живое человеческое слово. Поэтому мне кажется, что литература в этом столетии слишком уж отдалась профессорам и что мы, художники, должны будем устроить скандал, чтобы прервать эти отношения - должны будем по отношению к науке вести себя весьма дерзко и бессовестно, чтобы у нас прошла охота к нездоровому флирту с научными формулами разума. Наш собственный, индивидуальный разум, нашу личную жизнь и наши чувства надо будет в самой острой форме противопоставить лабораторным истинам.

Поэтому может быть мне лучше не пытаться понять марксизм и дать тому явлению проникнуть в меня настолько, насколько оно носится в воздухе, которым я дышу.

Но такое интеллектуальное бегство означало бы тогда, что я как конкретная личность не в силах противостоять ему. Поэтому

я скорее всего должен буду войти в это чуждое мне царство, но в качестве завоевателя, навязывающего свой закон. Я должен сказать так: меня мало касаются аргументы и контраргументы, этот контрданс, в котором мудрецы теряются точно так же, как и последний профан. Но обладая непосредственным ощущением человека, я смотрю в ваши лица, когда вы говорите, и вижу, как теория искривляет их. Я не призван к констатации правильности ваших истин - меня одно беспокоит: чтобы ваша истина не превратила бы ваши лица в морды, чтобы под ее влиянием вы не стали отвратительными, ненавистными и непереносимыми. Я не собираюсь контролировать идеи, а могу лишь непосредственно зафиксировать, как идея воздействует на личность. Художник - это тот, кто говорит: этот человек умно рассуждает, но сам он глупец. Или: уста этого человека источают чистую нравственность, но опасайтесь его, поскольку сам он, не в силах удовлетворить собственную нравственность, становится подлецом.

Исключительно ценно, считаю я, что идея не существует во всей своей полноте, если ее отрывать от человека. Нет других идей, кроме воплощенных. Нет слова, которое не было бы телом.

* * *

Да! Быть острым, разумным, зрелым, быть “художником”, “мыслителем”, “стилистом” только до определенной степени и не быть никогда слишком и именно это “не слишком” превращать в силу, равную всем очень, очень, очень интенсивным силам. Перед лицом гигантских явлений сохранять собственную, человеческую меру. Быть в культуре всего лишь селянином, всего лишь поляком, и даже селянином и поляком быть не чересчур. Быть свободным, но даже и в свободе не терять чувства меры.

В этом состоит вся трудность.

Ибо, если бы я вошел в культуру как чистый варвар, абсолютный анархист, совершенный примитив или идеальный селянин, или классический поляк, вы сразу же заплодировали бы. Вы бы признали, что я неплохой производитель примитива в чистом виде.

Но тогда бы я был точно таким же производителем, как и все они - те, для кого продукт становится важнее их самих. Все, что в плане стиля чисто, - это подделка.

Настоящий бой в культуре (о котором так мало слышно), как мне кажется, идет не между враждебными истинами, или между различными стилями жизни. Если кальвинист противопоставляет свое мировоззрение католику, то это - два мировоззрения. Не самой важной представляется и другая антиномия: культура - дикость, знание - незнание, ясность - темнота, конечно, можно бы сказать, что все это - явления, взаимно дополняющие друг друга. Но вот самый важный, наиболее драматический и болезненный спор, это тот, который ведут в нас два основных стремления: одно, жаждущее формы, вида, дефиниции, и второе - защищающееся от вида, не желающее формы. Человечество так устроено, что постоянно должно определять себя и постоянно уклоняться от собственных дефиниций. Действительность не является чем-то таким, что можно без остатка заключить в форму. Форма не совпадает с сущностью жизни. Но любая мысль, которая хотела бы определить эту недостаточность форм, тоже становится формой и тем самым лишь подтверждает наше стремление к форме.

А потому вся эта наша диалектика - философская, этическая - происходит на фоне беспредельности, имя которой - недоформа, которая ни темнота, ни свет, а, собственно говоря, - мешанина всего, фермент, беспорядок, нечистота и случайность. Противостоит Сартру не священник, а молочник, аптекарь, ребенок аптекаря и жена столяра, граждане опосредующей сферы, сферы недооформленности и недооцененности, которая всегда - нечто непредвиденное, сюрприз. Впрочем, Сартр и в себе самом найдет себе противника из этой же сферы, которого можно будет назвать "недо-Сартром". А их правота (правда, истина) состоит в том, что ни одна мысль, ни одна форма вообще не сможет объять бытия и чем более всеобъемлющая эта мысль или форма, тем более она живая.

Не переоцениваю ли я себя? Честное слово, я предпочел бы передать кому-нибудь другому неблагодарную и рискованную роль комментатора собственных сомнительных достижений, но в том-то и дело, что в тех условиях, в которых я сейчас нахожусь, никто за меня этого не сделает. Даже мой неочтенный сторонник Еленьский. Утверждаю, что на собственном дворе я много нашел, чтобы этот конфликт с формой стал осязаемым.

В моих произведениях я показал человека, распятого на прокрустовом ложе формы, нашел собственный язык для выявления

его голода на форму и его антипатии к форме, с помощью специфической перспективы я попытался вытащить на свет божий ту дистанцию, которая существует между ним и его формой. И показал, думаю, не скучно, а, точнее говоря, забавно, то есть по-человечески, живо, как между нами возникает форма, как она нас создает. Я выявил ту сферу “межличностного”, которая оказывается для людей решающей, и придал ей черты созидательной силы. Я приблизился в искусстве, возможно, больше, чем остальные авторы к определенному видению человека - человека, истинной стихией которого является не природа, а люди, человека, не только помещенного в людях, но и ими нагруженного, воодушевленного.

Я старался показать, что последней инстанцией для человека является человек, а не какая-либо абсолютная ценность, и я пытался достичь этого самого трудного царства влюбленной в себя незрелости, где создается наша неофициальная и даже нелегальная мифология. Я подчеркнул мощь репрессивных сил, скрытых в человечестве, и поэзию насилия, поднимаемого низшим против высшего.

А одновременно я связал этот ареал переживаний с моей основой - с Польшей - и позволил себе нашептывать польской интеллигенции, что истинная ее задача состоит не в соревновании с Западом в созидании формы, а в обнажении самого отношения человека к форме и, следовательно, к культуре. Что в этом деле будем сильнее, более суверенны и последовательны.

И, видимо, я сумел показать на своем собственном примере, что осознание своего собственного “недо” - недообразования, недоразвитости, недозрелости - не только не ослабляет, но делает сильнее; что оно может даже стать зачатком жизненности и развития - подобно тому как на почве искусства этот (я бы сказал, апатичный, легкомысленный) подход к форме может обеспечить обновление и расширение набора средств художественного выражения; пропагандируя везде, где только возможно, тот принцип, что человек выше своих произведений, я несу свободу, столь нужную сегодня нашей исковерканой душе.

Неужели в самом деле, вы, знатоки, так близоруки, что вам все надо подсовывать под нос? Не в состоянии ничего понять? Когда я бываю среди этих ученых, я могу поклясться, что я нахожусь среди птиц. Перестаньте меня клевать. Перестаньте меня щипать.

Перестаньте гакать и крякать! Перестаньте с индюшачьей спесью брюзжать, что эта мысль уже известна, а то - уже было сказано. Я не подписывал контракта на изготовление никем не слышанных идей. Лишь некоторые идеи, из тех, что носятся в воздухе, которым мы все дышим, сплелись во мне в определенное и неповторимое гомбровичское чувство - и это чувство - я.

* * *

С глубочайшим смирением я, червь, признаюсь, что вчера во сне ко мне явился Дух и вручил мне Программу, состоящую из пяти пунктов:

1. Вернуть польской литературе - безнадежно плоской и раскисшей, слабенькой и боязливой - веру в себя, основательность и гордость, размах и полет.

2. Опереть ее сильно на "я", сделать из "я" ее суверенность и силу, ввести, наконец, в польский язык это "я"... но подчеркнуть ее зависимость от мира...

3. Перевести ее на самые современные пути и не потихоньку, а скачком, вот так, просто из прошлого в будущее (поскольку *les extrêmes se touchent*). Ввести ее в самую трудную проблематику, в самые болезненные переломные хитросплетения... но научить ее легкости и пренебрежительности, и тому, как соблюдать дистанцию.

Научить презирать идею и культ личности.

4. Изменить ее отношение к форме.

5. Европеизировать - но вместе с тем использовать все возможности, чтобы противопоставить ее Европе.

А внизу виднелась ироническая надпись: "не для пса колбаса!"

* * *

В Польше рухнула башня слишком аристократической культуры, и там все, кроме фабричных труб, в нынешнем и последующем поколениях станет карликовым - так что же, из-за этого и нам, польской интеллигенции в изгнании, тоже поджиматься? Вот странно, но истинно: хоть и висим в пустоте, хоть и представляем вымирающий класс, "надстройку", лишенную "базиса", хоть все меньше и меньше будет людей, способных нас понять, мы и в

дальнейшем обязаны мыслить не упрощенно и примитивно, а в соответствии с нашим уровнем - именно так, как будто в нашем положении ничего не изменилось. Мы обязаны делать это просто потому, что это в нас естественно и что никто не должен быть глупее, чем он есть на самом деле. Мы должны осуществиться до конца, высказаться от "а" до "я", поскольку право существовать имеют лишь те явления, которые способны к абсолютной жизни.

* * *

Я хорошо знаю, какой я хотел бы видеть польскую культуру в будущем. Вот в чем, однако, вопрос: а не распространяю ли я на народ ту программу, которая является лишь моей личной потребностью? Но вот эта программа: слабость сегодняшнего поляка состоит в том, что он слишком однозначен и слишком односторонен, а потому и все усилия должны быть направлены на обогащение его вторым полюсом - дополнением его другим поляком, совершенно - окончательно - отличным.

Я уже писал в другом месте об этом нашем alter ego, которое изо всех сил требует права голоса. История заставляет нас возвращать в себе лишь определенные стороны нашей натуры и мы чрезмерны в том, что мы есть - мы чрезмерно, крайне стилизованы. И это тем более, что чувствуя наличие в себе других возможностей, мы жаждем их насильно уничтожить. Как, например, представляется вопрос нашей мужественности? Поляку (в отличие от представителей латинской расы) недостаточно, что он лишь в определенной степени мужчина, он хочет быть мужчиной больше, чем он есть на самом деле, можно сказать - он навязывает себе мужчину, является искоренителем собственной женственности. И если учесть, что история всегда заставляла нас вести военный и воинственный образ жизни, то это психическое насилие становится понятным. Таким образом, боязнь женственности приводит к тому, что наши решения становятся жесткими и оборачиваются против нас, в нас обозначается неумелость тех, кто опасается, что не окажется на высоте своего положения, мы слишком "хотим быть" такими, а не другими, вследствие чего мы слишком мало "являемся".

Если мы присмотримся к другим нашим национальным чертам

(любовь к родине, вера, благородство, честь...), то во всех них мы увидим это перерастание, причиной которого является то, что созданный нами самими тип поляка обязан заглушать и уничтожать тот тип, каким мы могли бы быть, существующий в нас как антиномия. Но отсюда вытекает, что поляк обделил самого себя ровно наполовину, причем даже та половина, за которой признается право голоса, не может проявить себя естественным образом. Мне кажется, что именно сейчас пришло время привести в движение эту нашу вторую личность - сейчас не только потому, что мы обязательно должны стать свободнее, гибче по отношению к миру, но еще и потому, что операция эта требует безмерной духовной свободы, которая стала для нас, находящихся за пределами страны, возможной, однако, прежде всего потому, что это та единственная процедура, которая на самом деле способна вдохнуть в нас новые жизненные силы, открыть перед нами новые просторы.

Мы откроем этого второго поляка, когда восстанем против самих себя. А потому, *дух противоречия* должен стать доминантой нашего развития. Мы будем должны на долгие годы отдаться духу противоречия, искать в себе именно то, чего не хотим, от чего содрогаясь. Литература? Литература у нас как раз должна быть противоположна той, которая до сих пор у нас писалась, мы должны искать новый путь, находясь в оппозиции к Мицкевичу и всем духовным царям. Эта литература не должна укреплять поляка в его нынешнем представлении о себе, а как раз вырывать его из этой клетки, показывать ему то, чем он до сих пор не осмеливался быть. История? Надо, чтобы мы стали разрушителями собственной истории, опираясь лишь на нашу действительность - поскольку именно история является нашим наследственным отягощением, навязывает нам искусственное представление о себе, заставляет нас уподобляться исторической дедукции вместо того, чтобы жить собственной действительностью. Но самое болезненное - это напасть в себе на польский стиль, на польскую красоту, создавать новую мифологию и новый обычай из другого нашего полушария, из другого полюса - так расширить и обогатить нашу красоту, чтобы поляк мог нравиться себе в двух противоречивых образах - в качестве того, кто он есть в данный момент, и в качестве того, кто разрушает в себе того, кем он сейчас является.

Сегодня уже, по крайней мере, речь не идет о том, чтобы

выжить в том наследстве, которое мы получили от поколений, а о том, чтобы это наследство в себе преодолеть. Плоха та польская культура, которая только привязывает и приковывает, достойна уважения и творческая и живая та, которая одновременно и привязывает и в то же время освобождает.

* * *

Опять какая-то женщина (почему-то чаще всего женщины; но эта была женщиной-врагом, боровшимся против меня) обвиняет меня в эгоизме. Она пишет: *“Вы для меня не эксцентричны, а эгоцентричны. Это просто фаза развития (vide Байрон, Уайлд, Жид) - одни из нее переходят в следующую фазу, которая может оказаться еще более драматичной, а другие - никуда не переходят, только остаются в своем ego. Это тоже трагедия, но трагедия личная. Не входит ни в Пантеон, ни в историю”*.

Словеса? Рассудим здраво: требовать от человека, чтобы он не занимался собой, не беспокоился о себе и, короче говоря, не считал себя самим собой, может лишь ненормальный. Эта женщина требовала, чтобы я забыл о том, что я - это я, однако ей прекрасно известно, что когда у меня будет приступ слепой кишки, то кричать буду я, а не она.

Колоссальный нажим, какой сегодня оказывается на нас со всех сторон - с тем, чтобы мы оказались от своего собственного существования - как и каждый постулат, не поддающийся реализации, ведет лишь к искривлению и фальсификации жизни. Кто-то, столь нечестный по отношению к самому себе, что может сказать: чужая боль мне важнее, чем моя собственная, сразу же впадает в эту “простоту”, являющуюся матерью пустословия и всех общих фраз и всего, что слишком часто возвышает. Что касается меня - нет, никогда, никогда в жизни. Я есмь.

Особенно художник - если его можно обвести вокруг пальца и он поддастся этому агрессивному этикету - он пропал. Не дайте запугать себя. Слово “я” настолько фундаментально и первородно, оно наполнено в высшей степени ощутимой и потому в высшей степени честной действительностью, оно - верный путеводитель и суровый пробный камень, и вместо того, чтобы им пренебрегать, следовало бы пасть перед ним на колени. Думаю, что я пока еще недостаточно фанатичен в моей озабоченности собой, и что из-за

страха перед людьми я пока еще не смог отдаться этому заданию-призванию со вполне категорической беспощадностью и продвигнуть это дело достаточно далеко. Я - самая важная и, видимо, естественная моя проблема: я единственный из всех моих героев, который меня действительно волнует.

Приступить к созиданию себя и сделать из Гомбровича героя - типа Гамлета или Дон Кихота - ? - ! -

* * *

Этот португалец, жених Dede, спросил как-то, откуда во мне берется столько презрения к женщинам, и все его тут же поддержали.

Презрение? С чего вы взяли? Я их скорее обожаю... Разве что, до сих пор я не мог показать, чем она является для меня в духовной иерархии, врагом или союзником. А это означает, что половина человечества от меня ускользает.

Как просто не упоминать о женщинах! Как будто они не существуют! Я вижу вокруг массу людей в юбках, с длинными волосами, с тонким голосом, и, несмотря на это, так воспринимаю слово "человек", как будто оно не раздваивается на мужчину и женщину, как впрочем и в других словах не замечаю раздвоения, которое в них вносит пол.

Я ответил португальцу, что если вообще может идти речь о моем презрении, то лишь на почве искусства... так, если и случается мне их презирать, то потому, что они плохи, ужасны в качестве жриц прекрасного, провозвестниц молодости. Здесь меня зло берет, потому что меня не просто раздражают, но и оскорбляют эти плохие артистки. Артистки, да, ибо очарование является их призванием, эстетика - их профессией, они родились для того, чтобы восхищать, они являются чем-то вроде искусства. Но что это за халтура! Что за жульничество! Бедная красота! И бедная молодость! Вы оказались в женщине затем, чтобы пропасть, она, по сути дела, ваша скорая на расправу губительница. Смотри, эта девушка молода и прекрасна лишь с одной целью, - чтобы стать матерью! Разве прекрасное, разве молодость не должны быть чем-то бескорыстным, ничему не служащим, великолепным даром природы, венцом?... но в женщине это очарование служит плодоношению,

его изнанка подшита беременностью, пеленками, его высшее воплощение приводит к появлению ребенка и это означает конец поэзии. Парень едва лишь коснется девушки, очарованный ею и собой вместе с ней, как уже становится отцом, она - матерью, - а стало быть, девушка это такое создание, которое, казалось бы, несет в себе молодость, а практически служит ликвидации молодости.

Мы, смертные, не можем смириться со смертью и с тем, чтобы молодость и красота были лишь производной, передаваемой из рук в руки, и не перестаем бунтовать против грубого коварства природы. Но здесь речь не о пустых протестах. Речь идет о том, что это убийственное отношение женщины к собственному девическому шарму проявляется ежеминутно, и отсюда проистекает то ее свойство, что она не ощущает по-настоящему молодости и красоты и чувствует их меньше, чем мужчина. Посмотрите на эту девушку! Как же она романтична... но этот романтизм кончится контрактом у алтаря с этим толстеющим адвокатом, эта поэзия должна быть узаконена, эта любовь начнет функционировать с разрешения духовной и светской власти. Как же она эстетична... но нет ни лысого, ни пузатого, ни туберкулезника, который был бы для нее достаточно отвратительным; она без труда отдаст красоту уродству и вот мы видим ее в триумфе рядом с чудовищем, или, что еще хуже, с одним из мужчин, являющихся воплощением мелкой пакостности. Эта красота, которая не брезгует! Прекрасная, но лишенная чувства прекрасного. И та легкость, с которой ошибается вкус женщины и ее интуиция при выборе мужчины, производит впечатление какой-то загадочной слепоты, и вместе с тем - глупости; она влюбляется в мужчину потому, что он такой благовоспитанный, или такой "утонченный", второстепенные социальные, салонные ценности окажутся для нее важнее аполлоновских форм тела, духа, да, она любит носки, а не ногу, усики, а не лицо, покрой пиджака, а не торс. Ее сводит с ума грязный лиризм графомана, восхищает дешевый пафос глупца, увлекает шик франта, она не умеет разоблачать, позволяет обманывать себя, потому что и сама обманывает. И влюбится только в мужчину своего "круга", потому что она чувствует не естественную красоту человеческого рода, а лишь ту, вторичную, являющуюся созданием среды - ох уж эти любительницы майоров, прислужницы генералов, специалистки

по части купцов, графов, докторов. Женщина! Ты - воплощенная антипоэзия!

Но и в собственной поэзии она разбирается столько же, сколько и в мужской, и в этом она равным образом, а может быть еще больше бездарна. Если бы эти графоманки, эти скверные художницы своей собственной красы, бездарные ваятельницы своей формы знали хоть что-нибудь о законах красоты, никогда в жизни они не сотворили бы с собой того, что они творят. Законы, о которых я говорю, известны каждому художнику, они гласят:

1. Художник не должен совать людям под нос свое произведение, крича: Это прекрасно! Восхищайтесь этим, потому что это восхитительно. Тактичное и ненахальное, прекрасное в области искусства должно проявляться как бы исподволь, на границе другого стремления.

(Но она назойливо потчует свою красоту часами совершенствования перед зеркалом). Она не знает, что такое такт. Ежеминутно она обманывается в своей жажде нравиться - а потому она не царица, а рабыня. И вместо того, чтобы показать себя богиней, достойной вождения, она выступает как неуклюжесть, пытающаяся заполучить недоступную ей красоту. Когда юноша играет в мяч для своего удовольствия, ему кажется, что он прекрасен; она же играет в мяч для того, чтобы быть прекрасной, поэтому она играет плохо, но кроме того, эта красота пахнет седьмым потом, так она вымучена! Но это еще не все, потому что она, прихорашиваясь до одурения, всегда, везде, в то же самое время делает мину, что, дескать, мужчины ее нисколько не интересуют. И говорит: Ах, это я только так, для эстетики! Кто поверит столь откровенной лжи?).

2. Прекрасное не может основываться на обмане. (Она жаждет, чтобы мы забыли о ее уродствах. Силится внушить нам, что она не женщина, то есть - не тело, которое, как и все тела, бывает иногда и не прекрасным - которое является смесью прекрасного и уродства, вековечной игрой этих двух элементов (и в этом заключено прекрасное другого, более высокого рода). Никто не в силах освободить определенные телесные функции от нечистоты. Равно как и никто не может полностью вызволить дух из нечистоты. Но она хочет, чтобы мы поверили, что она цветок. Стилизуется под божество, под "чистоту", под невинность. Ну, не комична ли она в этих

абсурдных усилиях? Заранее обреченная на неудачу? Что за маскарад? Что же теперь, из-за того, что она надушена, я должен поверить, что это букет жасмина? Или завидев ее на каблуках полуметровой высоты, - в то, что она стройна? Единственное, что я вижу, так это то, что каблуки не дают ей свободно передвигаться. Так прекрасное стесняет ее, становится для нее параличом - эта ужасная скованность женщины, проявляющаяся в каждом движении, в каждом слове, этот кошмар, что она никогда не может быть свободна по отношению к себе...).

(И в этой роли самки она напроць теряет чувство реальности, обманывает в открытую, полагая, что сумеет заразить своей трусливой и лживой концепцией тела (и духа). Мода! Какая чудовищность! То, что в Париже, называется эlegantностью, все эти линии, силуэты, профили, не являются ли все они самой пошлой мистификацией, исходящей из перестилизации тела? Эта прикрыла свои выдающиеся окорока шарфом и думает, что стала величественной; эта строит из себя пантеру, а эта пытается с помощью сложной шляпки переделать свою чудовищную кожу в Меланхолию. Но тот, кто скрывает (тщетно) дефект, уступает дефекту. Дефект должен быть побежден, побежден истинной ценностью в моральном и физическом смысле. Те уроды, которыми нас пичкают парижские журналы мод, эти создания Диора, Фатха, с выступающим бедром, с обтекаемой линией, с загнутым пальчиком, застывшие в идиотской "изысканности" - это с точки зрения искусства верх омерзения, пошлость, доходящая до обморока, это наивно глупо и бездарно претенциозно, эта безвкусица еще более вызывающая и вульгарна, чем все то, на что стало бы пьяного кучера).

3. Прекрасное должно быть суверенным.

(Девка, простая девка от коровы - приветствую тебя, королева! Почему, ответь, нет в тебе смертельной дрожи, что тебя *не примут!* Ты не боишься, что тебя оттолкнут. Ты знаешь, что не красивость делает тебя желанной, а пол, ты знаешь, что мужчина везде будет жаждать твоей женственности, пусть и не эстетической. А значит, твоя красота не в прислугах у твоего пола; она не боится, не дрожит, не пыжится; она спокойна, естественна, триумфальна... О! Неназойливая, ненахальная! О, изысканная!).

Смертельны грехи женщины “из общества” в ее святине - в эстетике - как раз там, где она должна чувствовать себя как дома. Подумать, что это - вдохновение мужчины, что это наши источники лиризма, что мы должны упиваться вином из этой бочки. Несравненная первородная красота женщины, та, которой наградила ее природа - нет ничего более великолепного или более возвышенного и упоительного, чем то, что мужчина получил молодую подругу, ставшую сразу слугой и госпожой, нет ничего более чудесного, чем та интонация, которую вносит женщина, это пение вторым голосом - загадочное дополнение мужского начала, взгляд на мир в другой плоскости, недоступная нам интерпретация... Почему эта чувственность подвергалась столь ужасной вульгаризации? Однако здесь следует провести одно важное разграничение: ужасна сегодняшняя женственность, а не женщина. Отдельно взятая женщина не ужасна, ужасен стиль, который создавался среди них и которому каждая из них предана. Но кто создает женственность? Мужчина? Наверняка инициатором является мужчина, но потом они уже сами начинают совершенствоваться в общении друг с другом, и искусство обольщения и охмурения, как и все другие виды искусства, растет и развивается механически - уже автоматическое, уже теряющее чувство реальности и чувство меры. Сегодня женщина является женщиной больше, чем она должна ею быть, она нагружена той женственностью, которая сильнее ее самой, она - создание определенных общественных условностей, результат определенной игры, определенным образом подстраивающей друг другу мужчину и женщину - вплоть до того, что этот танец, беспрестанно растущий, становится убийственным.

Но что мне делать с этим? Как себя вести? Я всегда легко нахожу направление с помощью одного и того же компаса. Дистанция по отношению к форме! Подобно тому, как я стремлюсь к “разгрузке” мужчины, я должен постараться “разгрузить” женщину. Что означает “разгрузка” мужчины? Освободить его из-под ярма того мужского стиля, который возникает среди мужчин как усиление мужественности, добиться такого состояния, чтобы почувствовать эту мужественность как нечто искусственное, а свою по отношению к ней покорность как слабость, сделать так, чтобы

он, мужчина, стал свободнее в отношении Мужчины в себе самом. И точно так же надо извлечь женщину из женщины. И здесь, как всегда во всех моих писаниях, моя цель - одна из моих целей - состоит в том, чтобы испортить игру, ибо только когда замолкает музыка и рассыпаются чары, возможно вторжение действительности, только тогда нам становится ясно, что игра - это не действительность, а всего лишь игра. Привести на этот ваш бал незваных гостей, по-иному связать вас друг с другом, заставить, чтобы вы по-другому определяли друг друга, испортить вам танец.

Возможно, и даже наверняка, моя литература экстремальнее и безумнее меня. Не думаю, чтобы тому причиной были какие-то недостатки контроля - это скорее доведение до предельных последствий определенных формальных очарований, которые уже после, в книгах вырастают - но во мне они остаются тем же, чем и были, то есть лишь незначительным отклонением воображения, какой-то легкой "склонностью". Поэтому, говоря конкретнее, я никогда не снисходил и не снизойду до изображения в искусстве обычной любви, обычного очарования, потому что любовь и очарование у меня загнаны в подполье, они сдавлены, стиснуты, потому что в этом деле я сам не обычный, а демонический (гротесковый демонизм!). Показывая опасные сцепления непристойных прелестей, вытаскивая на божий свет компрометирующий лиризм, я хочу пустить вас под откос - это тот камень, который я подкладываю под рельсы вашего поезда - вытащить вас из уклада, в котором вы находитесь, чтобы вы испытали молодость и красоту, но испытали иначе ...

* * *

[...] Психоанализ! Диагнозы! Шаблоны! Я укусил бы за руку того психиатра, которому захотелось бы выпотрошить меня из моей внутренней жизни - не в том дело, чтобы у художника не было комплексов, а в том, чтобы он переработал этот комплекс в культурную ценность. Художник, по Фрейду, это - невротик, который лечится сам - из этого следует, что его не может лечить никто другой. Но как назло благодаря этой скрытой режиссуре, которую не я один открыл в жизни, в то же самое время у меня появилась клиническая картина истерии, соседствующей через стену с моими

чувствами и ставшей почти что предостережением: смотри, ты в шаге от этого! Короче говоря, с помощью моих друзей из балета, прибывших из Аргентины на гастроли, я вошел в среду экстремального, безумного гомосексуализма. Я говорю “экстремально”, поскольку с гомосексуализмом “нормальным” я сталкивался давно, артистический мирок на всех широтах переполнен этой любовью - но здесь передо мной она возникла в ее неистовом до бешенства обличье. Я неохотно касаюсь этой темы. Много воды утечет, прежде чем можно будет об этом говорить, и более того - писать. Нет более оболганной и опьяненной страстью области. Здесь никто и не хочет, и не может оставаться беспристрастным. De gustibus ... Бешенство выворачивающихся наизнанку от омерзения “мужских” мужчин - омужчиненных друг в друге, лелеющих и взращивающих в себе мужское начало - проклятья нравственности (морали), все иронии, сарказмы и гневов культуры, стоящей на страже женской привлекательности - падают на Эфеба, тихонько крадущегося по сумрачной картине нашего официального существования. И эту вещь на высших ступенях развития встречают язвительностью. Там же, ниже, там, в низах, она не воспринимается ни столь трагически, ни саркастически, а самые здоровые и простые парни из народа нередко предаются этому из-за отсутствия женщины - и это, как выясняется, их вовсе не извращает и не мешает позже жениться как положено.

Но то общество, с которым я сейчас встретился, состояло из мужчин, влюбленных в мужчину больше, чем любая женщина, это были putos в состоянии брожения, не знающие ни минуты отдыха, находящиеся в состоянии гонки, “разрываемые мальчишками как собаками”, похожие на моего Гонзало из Транс-Атлантика. Я обедал в том ресторане, где они основали свою штаб-квартиру, и каждый вечер окунался в пучину их безумств, их богослужений, их влюбленной и истерзанной конспирации, их черной магии. Впрочем среди них были превосходные люди с замечательными духовными качествами, на которых я смотрел со страхом, видя в темной глади этих безумных озер отражение моих собственных проблем. Вновь я спрашивал себя, а не являюсь ли я, несмотря ни на что, одним из них? Разве не было возможным, более того, вероятным, что я был таким же, как и они, безумцем, в котором какое-то внутреннее осложнение заглушило физическое влече-

ние? Я уже познал силу скептицизма, с каким они принимали все “уловки”, все, что, по их мнению, было трусливым приукрашиванием грубой правды. А все-таки - нет. А все-таки почему моя влюбленность в молодую, еще не утомленную жизнь, в эту свежесть должна была быть нездоровой? В расцветающую жизнь, то есть в единственную, заслуживающую называться жизнью, поскольку здесь нет срединной фазы, то, что не расцветает, то вянет. Разве она не была предметом скрытой зависти и не менее скрытого обожания всех, как я, обреченных на постоянное умирание, лишенных милости ежедневного преумножения жизненных сил? Разве граница между проходящей и уходящей жизнью не была самой существенной из всех границ? Единственное различие, имевшее место между мной и “нормальными” мужчинами, состояло в том, что я так любил блеск этой богини - молодости - не только в девушке, но и в юноше, что даже молодой был для меня более совершенным ее воплощением, чем молодая... Так, если грех и существовал, то сводился к тому, что Я осмеливался любоваться молодостью независимо от пола и вытаскивал ее из-под господства Эроса; что на пьедестал, на котором они помещали молодую женщину, я отважился поставить мальчика. Здесь становилось ясно, что они, мужчины, соглашались на обожание молодости только в той мере, в какой она им доступна, в какой является чем-то, годным к обладанию... зато та молодость, которая была заключена в их форме, и с которой они не могли соединиться, была для них загадочным образом враждебна.

Враждебна? Смотри (говорил я себе), не впади в сентиментальную глупость, в мечтательство ... Однако я постоянно мог наблюдать проявления доброжелательности Старшего к Молодому и даже нежность. И все-таки! И все-таки! Были и такие факты, которые означали и нечто совершенно противоположное: жестокость. Эта биологическая аристократия, этот цвет человечества почти всегда был ужасно голодный и глядел через ресторанные стекла на старших, которые могли наесться, повеселиться - гонимый во мраке неудовлетворенными инстинктами, терзаемый ненасытной красотой - растоптанный и выкинутый цветок, цветок униженный. Цветок подрастающей молодости, муштруемый офицерами и теми же офицерами посылаемый на смерть, эти войны, являющиеся прежде всего войнами мальчиков, несовершеннолетние войны ...

Это их воспитание в слепой дисциплине, чтобы они смогли обогатиться кровью, когда будет нужно. Все устрашающее превосходство Взрослого - общественное, экономическое, интеллектуальное - осуществляющееся с ужасной жестокостью, и, впрочем, принимаемое теми, кто подчинялся. Поэтому было так, как будто бы голод мальчика, смерть мальчика, боль мальчика были по своей сути менее значимы, чем смерть, боль и голод Взрослых, как будто незначительность щенка обрекала его на муки. И именно эта незначительность, эта щенячья "второсортность" приводила к тому, что молодость была рабом, используемым для тех услуг, что были несколько ниже уже сконсолидировавшихся людей. Я понимал, что все это происходило почти само по себе, просто потому, что с течением лет увеличивался вес и значение личности в обществе, но не возникало ли вместе с тем подозрение, что Взрослый угнетает Молодого для того, чтобы не пасть перед ним на колени? Разве те удушливые испарения стыда, поднимающиеся вокруг этого и ему подобных вопросов, не были достаточным доказательством того, что здесь что-то недосказано и что не все можно объяснить простой игрой социальных сил? И разве эта громоздкая волна запрещенной и позорной, действительно ставящей мужчину на колени перед мальчиком любви не была мезью природы за насилие, совершаемое Старейшими над Подрастающими?

Туманность этих вопросов, их многозначительность и даже произвольность не лишили их в моих глазах важности... как если бы мне заранее было бы известно, что здесь что-то должно соответствовать истине. Но вопрос становился более затруднительным, когда я пытался понять, насколько глубоко в нашей культуре отражена эта оппозиция между восходящей и нисходящей линиями жизни. Что меня волновало? Чего я желал бы? Меня прежде всего волновало то, чтобы роковая граница, разделяющая две не только различные, но и противоположные фазы жизни, была признана и показана. Тем временем все в культуре говорило скорее о желании стереть границу - взрослые вели себя так, как будто они продолжали жить той же самой жизнью, что и молодежь, а не другой. Не скрою, что не только во взрослом, но и в старце есть жизненная сила, но по своей сути это не та же самая сила, поскольку направлена она против смерти. Но именно эти уже умирающие люди имели превосходство, они обладали силой, аккумулятивной ими

в течение их жизни, и они навязывали культуру. Культура была творением старших - творением умирающих.

Мне было достаточно лишь одного мгновенья духовной связи с Ретиро, и язык культуры начинал звучать в ушах фальшиво и никчемно. Истины. Лозунги. Философии. Нравственности. Религии. Кодексы. Но все это было как в другом регистре - выдуманно, сказано, написано людьми, частично уже отошедшими от существования, которым не хватало будущего... тяжелое произведение отягощенных, окостеневшее создание окостеневших... в то время, когда там, в Ретиро, вся эта культура расплывалась в какой-то молодой недостаточности, и становилась “хуже”... “хуже” потому, что тот, кто еще может развиваться, всегда хуже, чем его конечное воплощение. Секретом Ретиро, воистину демоническим, было то, что там ничего не могло найти полного отражения, все должно было быть ниже уровня, в своеобразной начальной фазе, не завершенное, тонущее в низшем ... и все-таки это была самая настоящая живая и достойная восхищения жизнь, самое высокое из доступных нам ее воплощений. Ницшеанство с его жизнеутверждением? Но у Ницше не было ни малейшего чутья в этих вопросах, трудно представить себе что-либо более бумажное и даже более смешное, в еще худшем вкусе, чем его сверхчеловек и его молодая человеческая бестия, нет, неправда, не совершенство, полнота, а как раз недостаточность, более низкое, худшее - свойственное тому, что еще молодо, т.е. живо. Тогда я еще не знал, что о довольно похожие на мои трудности, связанные с желанием воспринимать жизнь во всей ее полноте, в движении, разбивают свои головы экзистенциализмы, получившие известность лишь после войны. Так поймите же мое одиночество и мое внутреннее противоречие, которое становилось трещиной на всем моем артистическом здании: как художник, артист, я был призван стремиться к совершенству - но меня манило несовершенство; я должен был создавать ценности, но в моих глазах приобрело цену несовершенство. Венеру Милосскую, Аполлоны, Парфенон, Сикстинскую капеллу и все фуги Баха я отдавал за одну тривиальную шутку, вылетающую из уст, соединенных братскими узами с унижением, с унижающими устами...

Пришло время кончить эти признания. Ничего из того, о чем я здесь пишу, не было для меня “решено” - все осталось в виде

фермента до дня сегодняшнего. Может, когда-нибудь я расскажу, как в последующие годы новое вторжение в мою жизнь той моей родины, Польши, отдалило меня от Ретиро и частично вернуло меня к другим делам. Если я и должен был освободиться от этого аргентинского опыта, то лишь затем, что, по-моему, важно, чтобы человек, обращающийся к публике, литератор, иногда выводил своего слушателя за фасад формы, в кипящий котел своей частной истории. Что, смешная и даже унижительная? Только дети и добродушные тетки (стародевическая невинность которых, к сожалению, является важным фактором нашего общественного мнения) могут представить себе, что писатель - это существо спокойно возвышенное, благородное духом, поучающее с высот своего "таланта" о том, что есть Добро и Красота. Нет, писатель не сидит на вершинах, а снизу лезет в гору, и кто бы посмел серьезно требовать, чтобы мы на нашей бумаге развязывали все гордые узлы существования? Человек слаб и ограничен. Человек не может быть смелее, чем он есть на самом деле. Рост силы человека может произойти только тогда, когда другой человек поделится с ним своей силой. Поэтому задача литератора состоит в том, чтобы эти проблемы привлекали к себе всеобщее внимание и дошли до людей, - а уж там их как-нибудь решат.

В заключение я хочу добавить, что чувство именно этого бессилия по отношению к проблеме склоняло меня в следующие годы к переходу от теории к людям, к конкретным человеческим личностям. Из туманов Ретиро вышли две задачи, явные, важные, определяющие, смогу ли я в будущем высказываться откровеннее или же буду вынужден прятать себя... Первая из них, ясное дело, - придать первостепенное значение этому второстепенному слову "мальчик", и в добавление ко всем официальным алтарям построить еще один, на котором стоял бы молодой бог худшего, низшего, незначительного во всей своей связанной с дольным мощи. Вот необходимое расширение нашего сознания - ввести, по крайней мере в искусство, по крайней мере в мое искусство, другой полюс становления, назвать человеческий тип, который роднит нас с несовершенством, заставить воздать ему почести! Но здесь возникает вторая задача, ибо даже задеть кончиком пера эту тему было невозможно без предварительного освобождения от "мужского начала", и чтобы иметь право говорить или писать об этом, я должен

был сначала преодолеть в себе страх перед несовершенством в этом отношении, перед женственностью. Ах! Я знал эту мужественность, которую на себя напускали они, мужчины, в своем кругу, подстрекая друг друга к ней, принуждая друг друга в паническом страхе перед женщиной в себе, я знал мужчин, напряженных в стремлении к мужчине, судорожных самцов, обучающих мужественностью. Такой мужчина искусственно культивировал свои черты: был чрезмерен в тяжеловестности, грубости, силе и важности, был тем, кто насилует, кто завоевывает превосходством, а потому - боялся красоты и очарования, - этого орудия слабых - заходилась в мужской чудовищности, становился разнузданным и тривиальным, или глупым и бездарным. Высшим воплощением этого "обучения" были, видимо, те банкеты пьяных офицеров царской гвардии, на которых привязывали веревку к члену, после чего под столом один дергал другого за веревку, а тот, кто первый не выдерживал и вскрикивал, тот платил за ужин. Но дух этой культивируемой мужественности проявлялся во всем, можно сказать - в истории. Я видел, как таких мужчин их паническая мужественность лишала не только чувства меры, но и какой бы то ни было интуиции в общении с миром: там, где следовало быть глубоким, он бросался, толкался, пер напралом. Все становилось в нем чрезмерным: героизм, строгость, мощь, добродетель. Целые народы в таких пароксизмах бросались как бы на шпагу тореадора - в жутком страхе, как бы зрители не приписали им даже самой слабой связи с ewig weibliche... У меня не было никакого сомнения, что этот надутый бык поскачет на меня, когда учует, что я покушаюсь на его бесценные гениталии.

Чтобы предотвратить это, я должен был найти для себя другой путь - кроме мужчины и женщины, но который, однако, не имел бы ничего общего с "третьим полом" - внесексуальный и чисто человеческий путь, с которого можно приступить к проветриванию этих душных и зараженных полом окрестностей. Не быть прежде всего мужчиной, быть человеком, который лишь на втором плане мужчина, не идентифицировать себя с мужским началом, не хотеть этого... И только если бы я таким образом решительно и явно порвал бы с мужским началом, его суд надо мной потерял бы свою силу и я мог бы тогда много рассказать такого, о чем рассказывать не принято.

Но эти проекты остались проектами. В ходе моего дальнейшего пребывания в Аргентине необходимость заработка придавила меня до такой степени, что с тех пор какая бы то ни было реализация в длительной перспективе и в широком масштабе стала технически невозможной. Я не мог сосредоточиться. Бюрократия поглотила меня и задавила своими бумагами, сиречь, своим абсурдом - тогда как настоящая жизнь удалялась от меня, как море в час отлива. Из последних сил я написал "Транс-Атлантик", в котором вы найдете много из рассказанного здесь, а потом я был обречен на поденную литературную работу, такую как этот мой дневник, где ничего не могу вам передать, кроме беглого резюме, убого рассудочного, почти журналистского. Трудно. Но пусть и это будет хоть каким-то следом моего вживания в другую, в скорбную родину, в Аргентину, которую послала мне судьба и от которой я бы уже не смог окончательно оторваться.

* * *

Не без влияния на написание этих воспоминаний остался тот факт, что недавно полиция Буэнос Айреса провела большую чистку в местном Коридонизме. Арестовано несколько сот человек. Но что может полиция перед лицом болезни? Разве она в состоянии арестовать рак? Наложить штраф на тиф?

Лучше было бы обнаружить невидимую бациллу болезни, чем заглушать симптомы. Но кто здесь больной? Только ли больные? Или еще и здоровые? Я не разделяю того узкого взгляда, который усматривает здесь лишь "половое отклонение". Отклонение - да, но имеющее свой корень в том, что вопросы возраста и красоты в "нормальных" людях не достаточно явны и свободны. Эта немота и немощь одна из наших самых тяжелых.

Неужели вы не чувствуете, что здесь и здоровье ваше становится истерическим? Вы смущены, замкнуты.

Поэтому я и хочу говорить. Но я должен сказать: ничего из того, что я говорю, не является категорическим. Все гипотетично... все находится в зависимости - (к чему скрывать?) - от того эффекта, который последует.

Эта черта определяет всю мою писательскую деятельность. Я

пробую играть разные роли. Принимаю разные образы. Придаю моим переживаниям самые разные смыслы - и если какой будет принят людьми, то я сохранюсь в нем.

Это во мне - юношеское. Placet experiri, говаривал Касторп, но допускаю, что это вместе с тем единственный способ проведения идеи, что смысл чьей-нибудь жизни, чьей-нибудь деятельности определяется между данным человеком и другими. Не только я придаю себе смысл. Смысл мне придают и другие. Из соприкосновения этих интерпретаций возникает какой-то третий смысл, который определяет меня.

* * *

Вот сирены, свистульки, ракеты, выстреливающие из бутылок пробки и шум большого города, охваченного большим движением. В эту минуту на землю ступает Новый Год 1955. Одинокий и отчаявшийся, я иду по улице Коррьентес.

Ничего не вижу перед собой, ничего... ни проблеска надежды. Все во мне заканчивается и ничего не хочет начинаться. Итоги? Кто я после стольких напряженных и заполненных трудом лет? Чиновник, сожранный семью часами присутствия, зажатый во всех писательских начинаниях. Ничего не могу писать, кроме этого дневника. Все идет насмарку, потому что ежедневно, в течение семи часов я совершаю убийство собственного времени. Столько сил я вложил в литературу, а она сегодня не в состоянии обеспечить мне минимума материальной независимости, более того - даже минимума личного достоинства. "Писатель"? Подумаешь! На бумаге! А в жизни - ноль, второсортное существо. Если бы судьба наказывала меня за мои грехи, я бы ничего не имел против. Но меня жизнь бьет за добродетели.

Кого здесь винить? Время? Людей? Но сколько других, еще безжалостней раздавленных. Мне не удалось настолько, что в Польше мною помыкали, а сегодня, когда, наконец, и один и другой меня зауважали, для меня не находится места, я бездомный до такой степени, что как будто я вообще живу не на этой земле, а вращаюсь где-то в межпланетном пространстве, как какая-то одинокая планета.



Я прогуливался по эвкалиптовой аллее, когда из-за дерева на меня вышла корова.

Я остановился, и мы смотрели друг другу в глаза.

Ее коровость настолько удивила мою людскость - этот момент, в который наши взгляды встретились, был так неприятен - что я смутился *как человек*, то есть в моем, человеческом качестве. Странное чувство и впервые мною познанное - этот человеческий стыд перед животным. Я позволил ей смотреть на меня и увидеть меня - это нас сравнило - вследствие чего и я стал животным - но странным, даже, сказал бы, непозволительным. Я продолжил прерванную прогулку, но мне стало не по себе... в природе, которая со всех сторон окружала меня и которая как будто... рассматривала меня.



Коровы.

Когда я прохожу мимо стада коров, они поворачивают ко мне свои головы и не спускают глаз до тех пор, пока я не пройду. Так же, как и у Руссовичей в Коррьентес, но тогда я не переживал из-за этого, а вот теперь, из-за "коровы, которая увидела меня", эти взгляды мне кажутся видящими. Травы и злаки! Деревья и поля! Зеленая суть мира! Я погружаюсь в этот простор, как будто отрываюсь от берега, и меня окутывает действительность, состоящая из миллиардов существ. Живая пульсирующая материя! Роскошные заходы солнца, сегодня раскинулись два бело-кофейно-бурых острова с горами и башнями из сверкающих сталактитов, и все - в рубиновой короне. Потом острова слились, создавая залив мистической лазури, столь чистой, что я почти что поверил в Бога - а потом над самым горизонтом наступило сгущение темноты, и посреди бурых выпуклостей, захвативших весь небосклон, осталась лишь одна светящаяся точка, пульсирующее сердце блеска. Осанна! Мне не очень хочется писать об этом, столько заходов уже описано в литературе, особенно в нашей.

Но дело совсем в другом. Корова. Как мне вести себя по отношению к корове?

Природа. Как мне вести себя по отношению к природе?

Иду себе по дороге, вокруг пампа - и чувствую, что во всей этой природе я - иностранец, я в моем обличьи... чужой. Угрожающе иной, отличающееся создание. И я вижу, что польские описания природы, равно как и все прочие, ни на что не годятся в ситуации резкого противостояния моей людскости и природы. Противостояния, требующего разрешения.

Польские описания природы. Столько мастерства в них вложено и какой бездарный результат. Столько уже времени мы нюхаем эти цветы, растворяемся в заходах, погружаем лицо в свежую листву, вдыхаем утренние зори и поем гимны в честь создателя, придумавшего эти чудеса? Но это распластывание, коленипреклонение, широкое и возвышенное нюхание лишь отдаляет нас от самой острой человеческой истины - а именно от того, что человек ненатурален, он антинатурален, антиприроден.

Если тот народ, к которому я принадлежу, когда-нибудь почувствует, что по сути своей он отличается от коня, то только потому, что учение Церкви говорило ему о бессмертной человеческой душе. Но кто создал эту душу? Бог. А коня кто создал? Бог. Тогда конь с человеком сливаются в гармонии первоначала. Различие между ними преодолимо.

Подхожу к концу эвкалиптовой аллеи. Темнеет. Вопрос: будучи лишен Бога, я становлюсь ближе к природе или дальше от нее? Ответ: дальше. И даже то противостояние между мной и природой становится без него неподдающимся восполнению, здесь нет места для апелляции к какому-то высшему суду.

Но даже если бы я уверовал в Бога, то и в этом случае католическая позиция по отношению к природе была бы невозможной для меня, поскольку она противоречила бы всему строю моего сознания, всем моим чувствам - и все из-за взглядов на проблему боли. Католицизм пренебрегал всеми созданиями, кроме человека. Трудно представить себе более олимпийское безразличие к "их" боли - "их", т.е. животных и растений. Человеческая боль для католика имеет смысл - подлежит освобождению, исцелению; поскольку человек наделен свободой воли, то боль - наказание за грехи, а будущая жизнь воздаст за притеснения в жизни настоящей. Но вот конь? Червяк? О них забыли. Эти мучения лишены справедливости - голый факт, зияющий абсолютотм отчания. Опущу сложную диалектику теологических доктрин. Я говорю о рядо-

вом католике, который ходит в блеске справедливости, выделяющей ему все, что полагается, и остается глухим к безмерной бездне той, другой боли - неоправданной. Пусть мучаются! Его это не касается. Ведь у них нет души. Пусть мучаются - все равно бессмысленно. Да, трудно найти науку, которая была бы обеспокоена миром вне человека - и как здесь удивляться, что она нас ввергла в то состояние блаженного неведения и святой наивности по отношению к природе, которое проявляется в голых идиллических описаниях восходящего или заходящего солнца.

* * *

Меня к этим низам, к конфронтации с конем, жуком, растением толкает стремление "обратиться к низкому". Если я пытаюсь высшее сознание поставить в зависимость от низшего в человеческом мире - если я хотел бы связать зрелость незрелостью - разве не обязан я спуститься еще на несколько ступенек по лестнице видов? Охватить весь спектр движения вниз?

Но - какое нежелание... Признаюсь - это меня так утомляет. Не хочется об этом думать. И не люблю, почти не переносу - даже мысленно выходить из человеческого царства. Может быть потому, что слишком уж велики эти царства, окружающие нас? А может это - нежелание покидать свой дом?

Понимать природу, рассматривать ее, исследовать - это одно. Но когда я пытаюсь подойти к ней как к чему-то равному мне общностью охватывающей нас жизни, когда я хочу с животными и растениями быть "на ты" - тогда мною овладевает вялое нежелание, пропадает энтузиазм, и как можно скорее я возвращаюсь в свой человеческий дом и запираю двери на ключ.

Запишем это, ибо, как знать, может именно здесь - одна из наиболее существенных особенностей моей гуманности: во мне появляется какое-то сопротивление, принимающее характер скуки; скуки, когда я хочу понять ту, более низкую жизнь и признать ее.

* * *

Сегодня я "находился в состоянии убивания мух", то есть просто убивал мух плетеной хлопучкой.

В моей комнате неизвестно откуда (потому что на окнах сетки) берутся мухи. Почти что ежедневно я ликвидирую их таким образом. Сегодня я убил около 40. Разумеется, не всех сразу насмерть - некоторые, сильно искромсанные, падают на пол, и время от времени я натываюсь на такую муху, оставленную один на один со смертью. Сразу же добиваю таких. Но иной раз случается, что попадает такая в щель в полу и тогда становится недоступной мне своей болью.

В детстве я мучал животных. Вспоминаю, как в Малошицах я играл с деревенскими ребятами. Мы хлыстами били по лягушкам. Сегодня я боюсь - вот оно, нужное слово! - мук мухи. И этот страх, в свою очередь, ужасает меня, как будто в нем заключено какое-то чудовищное ослабление по отношению к жизни, я действительно боюсь того, что не смогу перенести боли, испытываемой мухой. Вообще с возрастом во мне произошла трагическая и ужасающая эволюция, которой я не хочу скрывать, совсем напротив - я хотел бы ее как можно сильнее подчеркнуть. И я утверждаю, что она свойственна не только мне, но и всему моему поколению.

Отмечу ее отдельные пункты.

1. *Обесценение смерти.* - Смерть становится для меня все менее важной - что человека, что зверя. Мне все труднее понимать тех, для кого лишение жизни является самым большим наказанием. Я не понимаю той мести, которая, неожиданно выстрелив в затылок, радуется - как будто тот что-то почувствовал. К смерти я стал совершенно безразличен (о собственной не говорю).

2. *Интронизация боли.* - Боль становится для меня исходным пунктом экзистенции, принципиальным ощущением, от которого все начинается и к которому все сводится. Экзистенциалисты со своей "жизнью для смерти" меня не устраивают, я бы противопоставил жизнь и смерть.

3. *Боль как боль, боль сама по себе.* - Это самое важное. Это-то изменение в восприятии и является воистину угрожающим и громадным. А состоит оно в том, что все меньше речь идет о том, *кто мучается*... Я думаю, что в настоящее время существуют в этом отношении две школы. Для людей прежней школы боль кого-либо из семьи - самая ужасная после своей собственной; боль сановника важнее боли мужика; боль мужика важнее боли мальчика; боль мальчика важнее боли собаки. Они пребывают в ограниченном

круге боли. Но для людей новой школы боль - это боль, где бы она ни имела места, равно страшна и в человеке, и в мухе, в нас возросло ощущение чистой муки, наш ад стал универсальным. Меня, например, некоторые считают бесчувственным, потому что мне трудно скрыть, что боль даже самых близких мне людей - это не самая близкая моя боль. И вся моя природа нацелена на выявление тех мук - низших.

Эти богобоязненные семьи - я помню их по прежним временам - на деревенском дворе за полдником, ведущие степенную беседу, невинные... а на столе - липучка - мухи в положении более ужасном, чем обреченные на средневековых картинах. Это никому не мешало, потому что в выражении "боль мухи" ударение делалось на слове "муха", а не на слове "боль". А сегодня - достаточно опрыскать комнату, чтобы тучи мелких существ начали подыхать - и это никого не волнует.

Да. Но как тогда совместить это мое открытие всеобщих мук с тем, что я отметил вчера - с каким-то нежеланием признать низший мир, внечеловеческий? Это одна из самых удивительных раздвоенностей, существующих во мне. Меня потрясает мука низшего создания, и все мое естество нацелено на ее выявление. И тем не менее, меня охватывает ледяная скука, сонливость, когда я хочу сравняться с этими созданиями в существовании экзистенции и пытаюсь признать за ними полное право на существование. Может потому эта мысль выглядит утомительной и вялой, что она превосходит мои силы? К чему же привела меня эволюция, изложенная мной выше в трех пунктах - меня и многих таких, как я? Мы стали более подозрительными (менее вразумительными) - и менее уверенными по отношению к природе, чем это было свойственно людям прежде, у которых, следует признать, в этом деле было больше стиля, чем у нас.

* * *

Случилось со мной вчера... [...]. Я бы сказал, что в определенном смысле, под определенным углом зрения ничто не может сравниться с отвратительностью пережитой мною дилеммы... Что я оказался там, где человечность должно было бы стошнить... Могу рассказать. Могу терзаться этим - или не терзаться - это, собственно, от меня не зависит.

Лежал я на солнце, ловко устроившись в горной цепи песка, нанесенного ветром в конец пляжа. Песчаные горы, дюны, с массой перешейков, скатов, долин, обманчивый и сыпучий лабиринт, кое-где поросший трепещущими под неустанным ветром кустами. Меня прикрывала дюжая Jungfrau, с благородными кубическими формами, горделивая - но в десяти сантиметрах от моего носа зарождался вихрь, постоянно секущий Сахару, опалемую солнцем. Какие-то жуки - не знаю их названия - неустанно сновали по этой пустыне с неизвестной целью. Один из них, не дальше чем на расстоянии вытянутой руки, лежал вверх ногами. Его перевернуло ветром. Солнце палило ему брюшко, что наверняка было крайне неприятно, принимая во внимание, что брюшко имело обыкновенные всегда пребывать в тени - лежал, перебирая ножками, и было ясно, что ничего ему больше не остается, как только монотонно и отчаянно перебирать лапками - и уже терял сознание после многих часов, уже подыхал.

Я, великан, недоступный ему своей громадой, делавшей меня для него несуществующим - присматривался к этому маханию ножками... и, протянув руку, спас его от пытки. Он, в одну секунду возвращенный к жизни, двинулся вперед.

Лишь только я сделал это, как несколько дальше увидел такого же жука в таком же положении. И так же махал ножками. Мне не хотелось двигаться... Но почему того спас, а этого - нет?... Почему того... в то время как этот?... ошастливил одного, а второй обречен на муки? Я взял прутик, протянул руку и - спас.

Но только лишь я сделал это, как чуть дальше я заметил такого же жука, в таком же положении, перебиравшего ножками. А солнце жгло ему брюшко.

Разве я обязан превращать мою сиесту в скорую помощь для подыхающих жуков? Но я слишком сроднился с этими жуками, с их чудным беззащитным дрыганием ножками... и вы, вероятно, поймете, если я уж начал их спасать, то у меня не было права произвольно прекратить свою деятельность. Ибо это было бы слишком страшным по отношению к тому третьему жуку - сдержаться как раз на пороге его поражения... слишком жестоко и как-то невозможно, невыполнимо... О! если бы между ним и теми, которых я спас, была бы хоть какая-нибудь *граница*, что-то, что могло бы мне дать право остановиться - но как раз ничего не было,



их разделяло всего лишь 10 см песка, все то же самое песчаное пространство, “чуть-чуть” дальше, действительно, всего “чуть-чуть”. И точно такое же перебирание ножками! Однако, осмотревшись, я заметил “чуть” дальше еще четыре штуки, дрыгавших ножками под палящим солнцем. Делать было нечего: я встал всей своей громадой и спас всех. И все они поползли.

Тогда моему взору открылся жарко-песчано-сверкающий склон соседней гряды, а на нем пять-шесть махающих ножками точек: жуки. Я поспешил с помощью. Принес избавление. И уже так успел прирасти к их муке, так глубоко в ней утоп, что, заметив поодаль новых жуков на равнинах, перешейках, в ущельях, этот островок мучающихся точек, я стал передвигаться по этому песку как одержимый, со своей помощью, с помощью, с помощью! Но я знал, что это не может продолжаться вечно, поскольку не только этот пляж, но и все побережье было усеяно ими, а потому - должен наступить такой момент, когда я скажу “хватит” и должен появиться первый неспасенный жук. Который? Который? Который? Ежеминутно я говорил себе “этот” - и спасал его, будучи не в силах решиться на страшный подлый произвол - почему этот, а почему не этот? Вплоть до того, что во мне произошел надлом, и я неожиданно просто обрубил в себе сочувствие, остановился и равнодушно подумал: “ну, будет”, оглянулся, подумал “жарко” и “надо возвращаться”, собрался и пошел. А жук, тот самый, *на котором я кончил*, остался лежать, помахивая ножками (что, собственно говоря, мне было уже все равно, как будто я потерял охоту к этой игре, но я знал, что это равнодушие навязано мне обстоятельствами, и я нес его в себе, как чужую вещь).

* * *

[...] Количество! Количество! Я должен был отречься от справедливости, от морали, от человечности - поскольку не мог справиться с количеством. Их было слишком много. Прошу прощения! Но это равно утверждению, что нравственность невозможна. Ни больше, ни меньше. Поскольку нравственность должна быть такой же самой по отношению ко всем, в противном случае она становится несправедливой, то есть безнравственной. Но это количество, эта громада количества сконцентрировалась на одной единственной букашке, которую я не спас, на которой я прервал свою дея-

тельность. Почему именно она, а не другая? Почему именно она должна платить за то, что их миллионы?

Мое милосердие, оканчивающееся как раз в этот момент, неизвестно почему именно на этой букашке, на такой же, как и все остальные. Что-то есть невыносимое, неприемлемое в этой неожиданно сконкретизировавшейся бесконечности - почему именно она? - почему она?... В ходе обдумывания этого вопроса мое самочувствие становится каким-то странным, у меня такое впечатление, как будто моя нравственность становится ограниченной... и фрагментарной... и произвольной... и несправедливой... нравственностью, которая (не знаю, ясно ли) по природе своей не целостная, а *зернистая*.

* * *

Эвкалиптовая аллея до самого конца, в сумерках под знаком двух беспокойных мыслей. 1. Что природа перестает быть для нас природой в прежнем значении этого слова (когда она была гармонией и спокойствием). 2. Что человек перестает быть человеком в прежнем значении этого слова (когда я ощущал себя гармонической частичкой природы).

Час заката невероятен... это столь незаметное и в то же время неумолимое ускользание формы... Ему предшествует момент огромной выразительности, как будто форма сопротивляется, не желая отступать - и эта выразительность всегда трагична, яростна, даже самозабвенна. После этой минуты, когда предмет становится собой в высшей степени, конкретный, одинокий и приговоренный сам к себе, лишенный игры светотени, в которой он до сих пор купался, настает растущее неуловимое ослабление, испарение материи, соединяются линии и пятна, вызывая мучительное расплывание. Контур не сопротивляется, очертания, умирая, становятся трудноуловимыми, непонятными, всеобщее отступление, поворот, попадание во все возрастающую зависимость... перед приходом темноты формы еще раз обостряются, наливаются силой, но на сей раз не той силой, что мы видим, а той, что мы о них знаем - это крик, провозглашающий их присутствие, всего лишь теоретический крик... потом все перемешивается, чернота лезет из дыр, сгущается в пространстве и материя становится темнотой. Ничего. Ночь.

Домой я возвращался ощупью. Я шел вперед решительно и твердо, погруженный в невиденье, с полной уверенностью, что я демон, анти-конь, анти-дерево, анти-природа, существо неизвестно откуда, пришелец, иностранец, чужак. Явление не от мира сего. Из другого мира. Мира людей.

Я возвращался, не имея понятия, не затаилась ли поблизости ужасная собака, хватаящая за горло, припирающая к стене... Пока что хватит.

* * *

Быть с природой или быть против природы? Эта мысль - что человек противостоит природе, является чем-то вне ее и находится в оппозиции к ней - вскоре перестанет быть мыслью элитарной. Она дойдет даже до мужика. Пронзит весь род людской, сверху донизу. И что тогда? Когда исчерпаются последние резервы "натуральности", те, что внизу?

* * *

Несколько дней назад я приехал в Тандиль и поселился в гостинице "Континенталь". Тандиль - городок с 70 000 жителей, среди невысоких, утыканных камнями гор, похожих на крепости - а приехал я сюда, потому что весна, и чтобы до конца истребить микробы азиатского гриппа.

Вчера я недорого снял шикарную квартиру, почти что в пригороде, у подножья горы, там, где стоят большие каменные ворота и где парк соединяется с хвойно-эвкалиптовым лесом. В широко распахнутое утреннему солнцу окно вижу в котловине Тандиль, как на тарелке - домик тонет в нежных каскадах пальм, апельсиновых деревьев, сосен, эвкалиптов, глициний, разнообразнейших подстриженных кустов и удивительных кактусов. Эти каскады, ниспадая волнами, подходят к городу, а сзади - высокая стена темных сосен взбирается почти к вершине, на которой стоит замок-кондитерская. Ничего не видел более весеннего и цветущего, расцветшего, рассвеченного. А горы, окружающие город - сухие, голые, скалистые, утыканные огромными камнями, выглядели как цоколи, как доисторические бастионы, платформы и развалины. Амфитеатр.

Передо мною Тандиль - на расстоянии трехсот метров - как на ладони. Это не какой-нибудь там курорт с гостиницами, туристами, это обычный провинциальный город. Я чищу зубы под солнцем, вдыхаю аромат цветов и думаю, как попасть в город, от которого меня отговаривали. “В Тандиле со скуки умрешь”.

Чудесный завтрак в маленькой кофейне, парящей над садами - а ведь вроде ничего особенного: кофе и два яйца, но выкупанные в цветенье! - после чего я вышел в город, и квадраты, прямоугольники ослепительно белых с плоскими крышами домов, резкие провалы, сохнувшее белье, под стеной - мотоцикл, и взрывающаяся зеленью площадь, большая, ровная. Я иду под жарким солнцем и в холодном воздухе весны. Люди. Лица. Это было одно и то же лицо, идущее за чем-то, что-то устраивающее, хлопотливое, неспешное, благородно спокойное... “В Тандиле со скуки умрешь”.

На одном из зданий я увидел табличку: “Нуэва Эра, ежедневная газета”. Зашел. Представился редактору, но говорить мне не хотелось, я был погружен в мечты, и потому отвечал не слишком радостно. Сказал ему, что я un escritor extranjero и спросил, есть ли в Тандиле интеллигентные люди, с которыми стоит познакомиться.

- Что? - отреагировал обиженный редактор. - Интеллигенции у нас хватает! Культурная жизнь богатая, одних только художников около семидесяти. А литераторы? Ну как же, Кортес - наш, это имя, он в столичной прессе публикуется...

Мы позвонили ему, и я договорился на завтра. Остаток дня я провел, бродя по Тандилю. Угол улицы. На углу стоит упитанный владелец чего-то там, в шляпе, рядом - два солдата, чуть дальше - женщина на седьмом месяце и тележка с бакалеей, прикрытой газетами, продавец блаженно спит на лавке. Громкоговоритель поет “Ты взяла меня в плен, черноока...” И я доканчиваю музыкальную фразу: “А в Тандиле со скуки умрешь”. Смуглый господин в высоких ботинках и шапке.

* * *

Тандиль выглядит отсюда, с горы, как окруженный прадавней историей - потрескавшиеся каменные горы. Под солнцем, в деревьях и цветах, я съел роскошный завтрак.

Но чувствую себя неуверенно, меня тревожит эта неизвестная жизнь... Иду в "Centro Popular" - где я условился встретиться с Кортесом. Это приличная библиотека, 20 000 томов, в глубине маленькая комнатка, в которой проходит какой-то культурный вечер, но, когда я подошел, собрание закончилось и Кортес представил меня публике. После пяти минут разговора я уже в курсе: Кортес - коммунист-идеалист, благородный мечтатель, полон благих намерений, доброжелательный, человечный, та пятнадцатилетняя девочка - не девочка, а двадцати с лишним лет жена того молодого человека, тоже обработанного Марксом идеалиста, зато секретарша - католичка, а похожий на Рембранта третий господин - вообще воинствующий католик. Их объединила вера.

Обо мне они никогда не слышали. Что поделаешь - провинция. Но это склоняет меня к осторожности. Я уже знаю, какой придерживаться тактики в этих обстоятельствах - и я не совершу той ошибки, чтобы рекламировать себя, напротив, я веду себя так, как будто я им прекрасно известен, и только тоном, формой обозначаю мою Европу - эта манера вести беседу должна быть пикантной, небрежной, бесцеремонной, с налетом интеллектуального шика. Париж. Это проняло. Говорят: О, Вы были в Париже! Я небрежно: - Подумаешь, такой же город, как и Тандиль, дома, улицы, на углу кафе, все города одинаковы... Это им понравилось - то, что я не кичился Парижем, а принизил Париж, поэтому они во мне увидели парижанина, и я заметил, что Кортес почти искренен, а женщины, хотя пока и недоверчивы, но проявили интерес. И все же... Какое-то в них невнимание, какая-то рассеянность, как будто их занимает еще что-то, и только сейчас я начинаю понимать, что даже если бы сюда, в Тандиль, приехали сами Камю с Сартром, то и они не смогли бы сломить этой упорной думы о чем-то другом, о чем-то здешнем, о чем-то тандильском. Что это? Они неожиданно оживляются. Начинают перебивать друг друга. Но о чем речь? О своих делах, о том, что на последней лекции почти никого не было, что надо людей насильно приводить, что Фулано хоть и приходит, но тут же засыпает, что докторша обиделась ... Они говорят обо всем этом как бы для меня, но по сути дела друг с другом, плачутся, ноют, впрочем, уверенные в моей, писательской, поддержке, что я как писатель в полной мере разделю их горести "работы с людьми" и "работы на ниве", всю эту тандильскую жеромщину. Бррр...

“в Тандиле со скуки умрешь”. Неожиданно Тандиль ворвался в мое сознание, эта прогорклая, пресная, сермяжная суть скромной, ограниченной жизни, за которой они как за коровой, скучно и навека - сконцентрировались в ней на все времена!

- Дайте людям жить! - говорю я.

- Но ведь...

- С чего это вы взяли, что все должны быть интеллигентными и просвещенными?

- В каком смысле?!

- Оставьте хамов в покое!

Было произнесено слова “хам” (bruto) и даже хуже - “чернь” (vulgo) - от чего я стал аристократичней. Это выглядело так, как будто я объявил войну. Я сорвал маску условностей.

Теперь они стали осторожней:

- Вы отрицаете необходимость всеобщего образования?

- Разумеется.

- Но ведь...

- Долой это обучение!

Это было уже слишком. Кортес взял ручку, посмотрел перо на свет, дыхнул. - Мы не понимаем друг друга, - сказал он, как будто опечалившись. А молодой человек на заднем плане пробурчал неприязненно, язвительно:

- Вы, видимо, фашист, а?

* * *

Я в самом деле слишком много сказал. Это было излишне. Но чувствую я себя лучше... эта агрессивность меня укрепила.

А что, если они меня ославят как фашиста? ...

Этого еще не хватало! Надо поговорить с Кортесом - уладить дело.

* * *

Что происходит?

Моя душа иногда формируется смутно, тупо, из нагромождения случайностей. Эта стычка с ними в библиотеке, вроде бы ничего особенного, а подействовало как катализатор. Теперь роли поделились четко. Я аристократ. Я показал себя аристократом. Я

аристократ в Тандиле... ставшем благодаря моему присутствию олицетворением грубой провинциальности.

Однако следует понять, что это лишь набросок ... набросок некоего театра на фоне миллиона других событий, заполняющих мой день, событий, которых я не могу вычислить, событий, в которых данный набросок драмы растворяется как сахар в чае - растворяется до такой степени, что стираются формы, а остается только вкус.

Я пишу это после нового разговора с Кортесом, разговора, который, вместо того, чтобы смягчить, обострил отношения. Я был раздражен ангельским характером коммунистического жреца.

Не буду пересказывать всей беседы. Я сказал ему, что идея равенства противоречит всему строю человеческого рода. Что прекраснее всего в человечестве? Что говорит о его гениальности по отношению к другим видам? Как раз то, что человек не равен человеку, в то время как муравей равен муравью. Вот два великих обмана современности: ложь Церкви, что души у всех одинаковы, и ложь демократии, что все имеют одинаковое право на развитие. Вы полагаете, что эти идеи - триумф духа? Полноте, они берут свое начало в теле, этот взгляд основан по сути на том, что у всех в нас одинаковое тело.

Не возражаю (продолжал я), несомненно оптическое впечатление, что все мы примерно одного роста, у всех у нас идентичные части тела... Но в единообразии этой картины врывается дух, эта специфическая особенность нашего рода, и приводит к тому, что наш вид становится столь дифференцированным, бездонным и головокружительным, что между человеком и человеком возникают различия в сотни раз большие, чем во всем мире животных. У Паскаля или Наполеона с деревенщиной различий больше, чем у коня с червем. Да что я говорю, мужик меньше отличается от коня, чем от Валери или Св. Ансельма. Неграмотный и профессор лишь внешне одинаковы. Директор - это нечто иное по сравнению с рабочим. Неужели Вам самому неизвестно - пусть интуитивно, пусть на обрывках теории - что наши мифы о равенстве, солидарности, братстве не соответствуют нашей истинной ситуации?

Я, признаться, вообще сомневаюсь, можно ли в этих условиях говорить о "человеческом роде" - не слишком ли физическое это понятие?

Кортес смотрел на меня взглядом раненого интеллигента. Я знал, что он думает: фашист! А я обалдевал от блаженства, провозглашая эту Декларацию Неравенства, потому что во мне интеллигентность, превращаясь в резкость, переходила в кровь!

* * *

Посмотри на них, на familias, кружащие на площади воскресной прогулкой. Их круженье! Не верится, что они могут так кружить! Это напоминает стихийное движение планет и отбрасывает нас на миллионы лет в допотопность. Вплоть до того, что само пространство кажется закрученным по-эйнштейновски, когда они, продвигаясь, постоянно возвращаются. Рыхлость их шествия! Лица почтенные, спокойные, мещанские, расщеченные итальянскими, испанскими глазами, и зубами, выглядывающими из дружелюбно оскаблевшихся ртов - и так прогуливается эта благопристойная мелкая буржуазия с женами и детьми...

Солдаты!

Колонна, содрогающаяся от ритмического грохота обутых ног, вступает с улицы Родригеса. Вбивается в площадь, как удар. Кактаклизм. Обрывается прогулка, все бегут смотреть! Площадь как будто внезапно ожила... но каким-то позором! Ха-ха-ха - дайте мне посмеяться - ха-ха-ха-ха! Ворвались ноги, скованные строгим повиновением, и тела, всажённые в военную форму, невольничьи, слитые в едином, навязанном им движении. Ха-ха-ха-ха, господа гуманисты, демократы, социалисты! А все-таки весь общественный порядок, все системы, власть, право, государство и правительство, институты, все опирается на этих рабов, едва вышедших из детского возраста, их приструнили, заставили присягнуть в слепом повиновении (бесподобно ханжество этой принудительно-добровольной присяги!) и обработали так, чтобы они убивали и давали убивать себя. Генерал приказывает майору. Майор приказывает поручику. После чего крепкие руки присягнувших и выдрессированных парней хватают винтовку и начинают палить.

Но все системы - социалистическая или капиталистическая - основаны на рабстве, и вдобавок - на рабстве молодых - господа рационалисты, гуманисты, ха-ха-ха, господа демократы!

Корабельные стволы эвкалиптового леса, растущего по усыпанному камнями склону, как будто прямо из камня - и гора, лес, листья, все окаменевшее, торжественно-каменная тишина завладевает этой стройной и чистой, сухой и прозрачной недвижимостью, освещенной солнечными пятнами. Мы с Кортесом идем по тропинке. Мраморные изваяния представляют историю Голгофы, да и весь этот холм, посвящен Голгофе и называется *Calvario*. Христос под тяжестью креста - бичевание Христа - Христос и Вероника ... весь лесок наполнен истязуемым телом. На лбу одного Христа рукой какого-то приверженца Кортеса написано: *Viva Marx!* Кортес, разумеется, не слишком удручен фигурами Мук Господних, он - материалист, и самозабвенно посвящает меня в иную святость - а именно: в святость коммунистической борьбы с миром за существующий мир; в то, что у человека нет другого выбора, кроме как искоренить мир и "очеловечить" его... если он не хочет остаться навеки комичным и омерзительным его паяцем, отвратительным наростом... Так, - говорит он, - я с вами согласен, человек это анти-природа, у него своя собственная природа, он, по своей натуре, - оппозиционер, поэтому мы не можем избежать противоборства с миром, или мы в нем установим наш человеческий порядок, или навеки останемся патологией и абсурдом бытия. Если бы даже эта борьба не имела шансов на победу, то все равно, лишь она способна воплотить наш гуманизм вместе с его достоинствами и красотой, - все остальное - путь уничтожения... Это кредо восходит к вершине, где царствует огромный распятый Христос, я отсюда, снизу, вижу через эвкалиптовую стройность прибитые гвоздями руки и ноги, делаю заметку в блокноте, что и этот Бог, и этот атеист по сути дела говорят одно и то же...

Мы почти что у самого креста. Смотрю исподлобья на измученное печенью тело, как Прометей (в этом прежде всего состоит крестная пытка, в жуткой боли в печени). Неохотно осознаю всю *неуступчивость* крестного дерева, которое *не в состоянии* облегчить ни на миллиметр муки вьющегося на нем тела и *не может* удивляться мукам, даже тогда, когда они переходят последние границы, становясь чем-то совсем *невозможным* - это заигрывание с абсолютным безразличием пытающего дерева и беспредельным

напором тела, это вечное несоответствие древа и тела открывает мне, как в отблеске, ужас нашего положения - мир у меня раскалывается на тело и крест. Тем временем здесь, рядом со мною, атеистический апостол, Кортес, не перестает провозглашать необходимость другой борьбы за спасение. "Пролетариат!" Исподлобья смотрю я на тело Кортеса, худое, жалкое, нервное, в очках, безобразное и слезящееся, наверняка с больной печенью, истерзанное уродством, так удручающе, так подло отвратительное - что я вижу и его распятым.

Поэтому я, как между двух огней, между этими двумя казнями, из которых одна - божественная, а другая - безбожная. Но обе кричат: бороться с миром, спасти мир - и тогда снова человек смело бросается на все, не в состоянии найти себе место, взбунтовавшись, а универсальная, космическая, всеобъемлющая Идея мощно взрывается... Передо мной, внизу, городок, откуда доносятся звуки автомобильных клаксонов и суетной, ограниченной и близорукой жизни. Ах, рвануть бы с этого возвышенного места туда, вниз! Здесь на горе, между Кортесом и крестом мне не хватает воздуха. Это трагедия, что Кортес привел меня сюда, чтобы возвестить мне другими, т.е. безбожными, устами ту же самую абсолютную, конечную, всеобщую религию, эту математику Всеобъемлющей Справедливости и Всеобщей Чистоты!

А потом на левой ноге Христа я увидел надпись "Здесь были Делия и Кике, весна 1957". Извержение этой надписи в... нет, лучше скажем, вторжение этих свежих, обыкновенных и неутомленных тел... дуновенья, волна обычной человеческой довольной собой жизни... чудесное дыханье святой простоты в сущем... Темнота. Испарение. Занавес. Дым. Что это за религия?

* * *

Религия, кадила которой сразили меня Делией и Кике, когда я оказался на Голгофе, между Христом и Кортесом?

Я сказал Кортесу: - Зачем вы, атеисты, обожествляете идею? Почему не обожествляете людей?

Ведь просто в глаза бросается божественность генерала. Разве его палец не точно такой же, как и палец самого последнего из солдат? И тем не менее одно лишь движение этого пальца посылает на смерть десять тысяч человек - которые пойдут, умрут, не спра-

шивая даже о смысле жертвы. Что более ценное, чем собственная жизнь, может посвятить человек самому высшему божеству? Если человек умирает по приказу другого человека, это значит, что человек может стать Богом для человека. Тот, кто готов перестать жить по приказу командира - почему он не хочет пасть перед ним на колени?

А божественность Председателя? А божественность Директоров или Профессоров? А божественность Собственника или Художника? Служба - рабство - покорное подчинение - исчезновение в другом человеке - полная отдача Высшему - это пронизывает человечество до самого нутра. Ха, вы, атеисты-демократы, хотели, чтобы люди были равны, как растения на грядках, и чтобы они подчинялись Идее. Но на эту горизонтальную картину человечества накатывалась другая, вертикальная... и эти две картины взаимоуничтожаются, не подчиняются общему закону, для них не существует единой теории. Но разве это повод, чтобы исключать из человеческого сознания вертикальное человечество, удовлетворяясь исключительно горизонтальным? Честное слово, не могу вас понять, атеистов. Вы нелогичны... Почему вы закрываете глаза на это богослужение, если оно прекрасно проходит без Бога, и более того - отсутствие Бога является его *conditio sine qua non*? Действительно, я не вижу причины, в силу которой современное метафизическое беспокойство не должно было бы выразиться в обожествлении человека, когда не стало Бога.

Чтобы это произошло, вам достаточно лишь обратить внимание на одну особенность человечества, состоящую в том, что оно должно постоянно формировать, совершенствовать себя. Оно как волна, состоящая из миллиарда хаотических дробинки, но каждое мгновение эта волна приобретает определенную форму. Даже в небольшой группе разговаривающих друг с другом людей вы можете заметить эту закономерность образования той или иной формы, возникающей случайно и независимо от их воли, в силу лишь приспособления друг к другу... это так, как если бы все сразу вместе указывали бы каждому по отдельности его место, его "голос" в оркестре. "Люди" - это то, что в каждый данный момент должно организовываться - однако же эта организация, эта общая форма создается как случайная производная тысячи импульсов, но ее невозможно предвидеть и овладеть ею тем, кто входит в нее состав-

ной частью. Мы как тоны, из которых возникает мелодия, как слова, составляющие предложение, но мы не планируем того, что мы скажем. Это выражение наше падает на нас как гром, как творческая сила, возникающая из нас и нам известная. Там же, где возникает форма, структура, там должно быть Высокое и Низкое - и вот почему в людях происходит возвышение одного за счет других, одного над другими - и это стремление вверх, выбрасывающее одного, пусть даже самое неподобающее и самое несправедливое, будет все-таки непременным условием высшей сферы, поделит его на этажи, из недр черни восстанет более величественное царство, которое станет для низших и ужасной тяжестью, и чудесным взлетом. Почему вы отказываете в доблести этому *случайному* созиданию из нас мира если не богов, то полубогов? Кто вам не дает узреть в этом Божественное начало, возникающее в самих людях, а не сходящее с небес? Разве явление это лишено божественных черт, будучи результатом межчеловеческой силы, то есть высшей и творческой силы по отношению к каждому из нас отдельно? Разве вы не видите, что здесь создается Высокое, и мы не имеем власти над ним? Зачем ваш ум, атеисты, с такой страстью отдался абстракции, теории, идее, рассудку, и не видит, что здесь, перед самым его носом, конкретно, человечество, как фейерверк, выстреливает все новыми богами и все новыми откровениями? Не кажется ли вам это несправедливым, аморальным, а может духовно необоснованным? Но вы забываете, что если бы это умещалось в вашем духе, то это не было бы ни Высшей, ни Созидательной силой.

О, если бы я, наконец, смог, лично я, дать драпака - улизнуть от Идеи - навсегда поселиться в той, другой церкви, сделанной из людей! Если бы я заставил себя признать *такую* божественность - и не беспокоиться больше об абсолютах, а лишь чувствовать над собой, невысоко, всего лишь в метре над головой, такую игру созидательных сил, в нас самих рожденных, как единственный достижимый Олимп - и это любить. В "Венчании" заключено такое богослужение и я не шутя написал в предисловии к этому произведению: здесь человеческий дух любит межчеловеческий дух. И все же! Мне никогда не удавалось покориться - и всегда между межчеловеческим богом и мною вместо молитвы рождался гротеск... Жаль! - откровенно говорю. - Жаль! Поскольку лишь Он -

этот полубог, рожденный из людей, “выше” меня, но только на вершок, будучи как бы первым приобщением к тайне, такой несовершенный, - одним словом, Бог в меру моей ограниченности - мог бы освободить меня от проклятого универсализма, с которым я не могу справиться и вернуться к спасительной конкретности. О, найти свои границы! Ограничиться! Иметь ограниченного Бога!

Горько мне пишется... потому что не верю, что хоть когда-нибудь во мне произойдет этот скачок в ограниченность. Космос и дальше будет меня затягивать. Поэтому все это я пишу не вполне серьезно, а так, как риторику... но ощущаю вокруг себя наличие человеческих натур, отличных от моей, чувствую эту окружающую меня инакость, в которой заключены недоступные мне решения... потому ей это поверяю и пусть она делает с этим что хочет.

* * *

Я снова увидел его! Его! Хама! Увидел во время моего миленького завтрака в кофейне, зависшей над садами. Святой пролетарият! Он (зеленщик, приехавший в тележке) прежде всего был приземистый и задастый, но в то же время - рукастый и толстощекий, коренастый, полнокровный, выхрапевшийся в постелях с бабой и как будто из сортира. Говорю “из сортира”, потому что в нем задница была сильнее, чем рожа, он весь был как бы насажен на задницу. Невероятно сильное стремление в хамство знаменовало его целиком, пристрастившийся к этому, разошедшийся, закоренелый и страшно во всем этом работоспособный и активный, переледывающий в хамство весь мир! И любил себя!

Что с ним делать? Я пил кофе с Бьянкотти, которому ничего не сказал... Что сделать? Если бы низкое всегда было молодым! Всегда моложе! В молодости - спасение низкого, молодость - его естественная и освящающая стихия... нет, очаровывающее низкое для меня не является проблемой... Но очутиться глаза в глаза с мужиком, а не с мальчиком, и быть в состоянии вынести его в его удвоенном уродстве пожилого хама.

Удвоенном? Да оно учетверено, потому что я, смотрящий на него, во всех моих буржуазных нежностях являюсь завершающим дополнением той мерзости, подхожу под нее, как негатив; мы как две обезьяны - возникающие одна из другой... Две пожилые обезь-

яны! Бррр... Знаете ли Вы, как выглядит самая ужасная встреча? Встретиться со львом в пустыне? С тигром в делях? С духом? С чертом? Это была бы идиллия! Хуже, в сотни раз хуже, если бледный интеллигент наткнется на топорного хама, в том случае, когда не хватает молодости, когда эта встреча произойдет во взаимном отвращении, которого никогда не почувствуешь к пожирающему тебя льву; при условии, что эта встреча будет омыта физическим отцветанием; и ты вынужден терпеть этого человека, вместе с собой, с этим неприятным привкусом, в соусе этой идиосинкразии, в проклятии этой карикатуры!

Донимает, мучает этот взрослый хам... не могу оторваться! Его ходячее свинство!

* * *

Гитлер, Гитлер, Гитлер ... Что вдруг некстати подвернулся под руку Гитлер? В суматохе моей жизни, в этом беспорядке событий я давно уже заметил определенную логику нарастания сюжетов. Если какая-то мысль становится доминирующей, то начинают множиться факты, подкрепляющие ее снаружи, а выглядит это так, как будто внешняя действительность начинает сотрудничать с внутренней. Недавно я здесь отметил, что меня называли - ах, ошибочно, конечно! - фашистом. И вот сейчас, когда я случайно забрел в незнакомую мне часть Тандиля, в barrio Ривадавия, мне в глаза бросились намалеванные мелом на стене, на камнях, надписи "LOOR Y GLORIA A LOS MARTINES DE NURENBERG" (Слава мученикам Нюрнберга).

Гитлеровец в Тандиле? И такой фанатичный? После стольких лет? И где же этот фанатизм? - В Тандиле - почему здесь?... Это снова, вероятно, одно из тех тандильских затемнений, помрачений, глупых, по сути своей... которые невозможно логически объяснить... но (имея ввиду тот "фашизм", которым меня угостили), выглядело так, как будто это намекало на меня... Намек? Я давно знаю, что много что намекает на меня, много...

А кроме того, этот Гитлер свалился на мою голову, когда мне хам опостылел, когда я, выbleванный хамом, сам хамом блевал.

Гитлера разбили в пух и прах, а вдогонку (опасаясь, как бы он не воскрес) *post mortem* загримировали под дьявольскую посредственность, крикливого сержанта - адского мегаломана. Испоганили ему легенду. И сделали это со страху. Но страх тоже бывает преклонением. Я бы скорее выступал за то, чтобы не бояться Гитлера - он рос на чужом страхе, как бы и на вашем страхе не вырос.

Что порождает в этом герое (а почему бы и не назвать его героем?), так это необычайная смелость в достижении предела, конца, максимума. Он считал, что выигрывает тот, кто меньше боится, что секрет могущества состоит в том, чтобы продвинуться на шаг дальше, на тот самый, на тот единственный шаг, который другие уже не в силах сделать, что того, кто пугает смелостью, выдержать невозможно, а потому он - сокрушитель - и этот принцип он применял как к отдельным людям, так и к целым народам. Его тактика на этом и основывалась: продвинуть на шаг дальше в жестокости, цинизме, лжи, хитрости, смелости, на тот единственный, но ошеломляющий шаг, уводящий от нормы, фантастический, невозможный, неприемлемый... выдержать там, где другие в испуге кричат: пас! Потому-то он и втянул немецкий народ в жестокость, и в жестокость втянул Европу, что желал наихудшей жизнью решительно проверить способность жить.

Он не стал бы героем, если бы не был трусом. Его самое большое насилие - это насилие над самим собой в тот момент, когда он представлял себя как Могущество, делая невозможным проявление слабости, отрезая себе пути к отступлению. Самым большим его отвержением был отказ от других возможностей существования. Интересный вопрос: как он выскочил в боги немецкого народа? Следует допустить, что поначалу он "связался" с несколькими немцами - "связался", то есть, подсунул им себя в качестве вожака-фюрера - и это совершила его личная незаурядность, поскольку в таком масштабе, в группе нескольких людей, личные качества еще что-то значат. И вот в этой первой фазе прогресса, когда связь была еще слабой, Гитлер должен был неустанно ссылаться на аргументы, убеждать, уговаривать, бороться с помощью идеи - поскольку он имел дело с людьми, добровольно подчинявшимися ему. Но все это пока еще было слишком человеческим и обычным,

для Гитлера и его подчиненных всегда существовала возможность отступить, каждый из них мог порвать с движением, выбрать что-то другое, связаться с другими по-другому. Здесь, однако, медленно начинает действовать почти неуловимый фактор, а именно - количество - постепенно растущее количество людей. По мере количественного роста группа начинала входить в другое измерение, практически недоступное отдельному человеку. Слишком тяжелая, слишком пассивная, она начинала жить своей собственной жизнью. Возможно, каждый из ее членов лишь немного доверял фюреру, однако эта малость, умноженная на количество, становилась грозным багажом веры. И вот, в один прекрасный момент, каждый из них почувствовал, может не без опасений, что и не знает больше, что могут с ним сделать другие (которых стало слишком много, с которыми он не знаком), если бы ему пришлось в голову сказать "пас" и дать драпака. В этот момент, когда он это осознал, за ним захлопнулись двери...

Однако этого Гитлеру было мало. Он, усиленный этим количеством людей, уже вырос - но ни в себе, ни в своих людях уверен не был. Не было гарантии, что его природа частного, обычного человека вдруг не вылезет наружу - он пока еще не полностью потерял возможность управлять собственной судьбой и был в состоянии сказать "нет" собственному величию. Тут и возникла необходимость перенесения всего в более высокие и недоступные индивидууму сферы. Чтобы это доказать, Гитлер должен был действовать не своей собственной энергией, а такой, которую ему передавала масса - т.е. силой, превышавшей его собственные силы. Так и было. С помощью своих подчиненных и почитателей, используя те напряжения, которые возникали между ним и остальными, выжимая из них максимальную смелость, чтобы самому стать еще смелее и стимулировать к еще большей смелости, Гитлер приводит всю свою группу в состояние кипения, делает из нее коллектив, делает ее страшной, превосходящей понимание каждого из ее членов. Все, не исключая вожака-фюрера, в испуге. Группа выходит в сверхестественное измерение. Составляющие ее люди теряют власть над собой. Теперь уже никто не может отступить, потому что находится не в "человеческом" измерении, а в "межчеловеческом", то есть в "сверхчеловеческом".

Заметьте, что все это очень похоже на театр... на представле-

ние... Гитлер представлял себя более смелым, чем он был на самом деле, для того, чтобы заставить других соединиться в этой игре - но игра вызвала к жизни реальные процессы и создала факты. Народные массы, естественно, не улавливают этой мистификации, они судят о Гитлере по его поступкам - и вот многомиллионный народ отступает в страхе перед сокрушительной волей вождя. Вождь становится великим. Странное это величие. Это усиление до невероятных размеров, бесконечно поразительное - когда слово, поступок, улыбка, гнев - переходит нормальные возможности человека, раздаваясь подобно грому, топча другие существа, в принципе такие же самые, и не менее важные... Но самая удивительная черта этого роста мощи состоит в том, что происходит этот рост от внешней стороны - у Гитлера все вырастает в руках, но сам он продолжает оставаться таким, каким и был, обычный, со всеми своими слабостями; это как карлик, объявляющий себя Голиафом, это обычный человек, который *снаружи* - Бог, это мягкая человеческая ладонь, ударяющая как топор. И тогда Гитлер оказывается в когтях этого Великого Гитлера - не потому что в нем не осталось обычных человеческих чувств или мыслей, индивидуального ума, а потому что они - слишком мелки и слабы и ничего не могут противопоставить Великану, который охватывает его снаружи.

Заметим также, что с той минуты, когда процесс вошел в сверхчеловеческую сферу, идея больше не нужна. Она была необходимой в начале, когда следовало убеждать, собирать сторонников - а теперь она почти не нужна, ибо человек как таковой не слишком много может сказать в новом, сверхчеловеческом измерении. Люди нагромоздились. Возникли напряжения. Появилась форма, имеющая собственные законы и собственную логику. Идея служит лишь видимостью; это фасад, за которым происходит связывание, околдовывание человека человеком: сначала оно происходит, и лишь потом задается вопросом о смысле...

* * *

Прощай, Тандиль! Уезжаю. Уже собран чемодан.

Я вываливаю на бумагу мой кризис демократического мышления и универсального чувствования, потому что не на меня одного - знайте - не на меня одного, если не сейчас, то через десять лет, нападает желание иметь ограниченный мир и ограниченного Бога.

Пророчество: демократия, всеобщность, равенство не будут в состоянии удовлетворить вас. В вас все сильнее будет разгораться жажда двойственности - двойственного мира - двойственного мышления - двойственной мифологии - в будущем мы будем присягать одновременно разным системам и магический мир найдет свое место рядом с миром рациональным.

* * *

4 февраля с.г. (58) окончил "Порнографию". Пока что я оставил это название. Не обещаю, что заглавие сохранится. С изданием не спешу. В последнее время в печати появилось много моих книг.

Одна из наиболее насущных потребностей во время написания этой довольно порнографической местами "Порнографии": пропустить мир через молодость, перевести его на язык молодости, т.е. на язык привлекательности... Смягчить его молодостью... Приправить его молодостью - чтобы он поддался насилию.

Подсказавшая мне это интуиция, видимо, содержит в себе убежденность, что Мужчина бессилен по отношению к миру... будучи только силой, и не будучи красотой... а потому, для обладания действительностью, силу сначала следует пропустить через существо, способное нравиться... т.е. способное отдаваться... через существо более низкое, более слабое. Здесь на выбор - женщина или молодость. Но женщину я отбрасываю из-за ребенка; потому что, иначе говоря, ее функция очень уж специфична. И здесь возникают ужасные формулы: зрелость для молодости, молодость для зрелости.

Что же это такое? Что я написал? Не так быстро выяснится, стоит ли чего тот акцент, который я делаю на Духе Молодости и его Проблемах... и чего стоит.

* * *

Письмо от одного литератора:

"Несколько дней назад я закончил читать "Порнографию". Анонс "Культуры" - не сомневаюсь, что в согласии с Вами - говорит о метафизическом смысле этой книги... До сих пор мне казалось, что мне удавалось добираться до значений, укрытых в глубине

Ваших произведений, но в “Порнографии” я впервые не смог усмотреть такого смысла. Поэтому я позволяю себе прямо обратиться к Вам за помощью, с просьбой показать, в чем следует искать метафизическую нить “Порнографии”.

Конечно, конечно! Это письмо весьма кстати. Оно мне позволяет еще раз напомнить, кто я такой и где на духовно-художественной карте мое место.

Отвечаю:

“Я не имею ничего общего с составлением анонса в ”Культуре”, но охотно расскажу, в чем, по-моему, состоит связь “Порнографии” с метафизикой.

Попытаемся это выразить так: человек, как известно, стремится к абсолюту, к Совершенству. К абсолютной истине, к Богу, к полной зрелости и т.д. Объять все, реализовать во всей полноте процесс развития - таков императив.

Так вот, в “Порнографии” (по старой привычке, потому что “Фердыдурке” сильно насыщена этим) выявляется другая - более потаенная и менее легальная цель человека, его потребность Несовершенства... Неполноты... Заурядности... Молодости...

Одна из ключевых сцен произведения - это сцена в костеле, когда под давлением сознания Фридерика идет насмарку Богослужение, а вместе с ним - Бог Абсолют. Тогда из темноты, из космической пустоты появляется новое божество, земное, чувственное, несовершеннолетнее, состоящее из двух недоразвившихся существ, составляющих замкнутый мир - потому что между ними существует притяжение.

Другая ключевая сцена - это совещание, предваряющее убийство Семяна... - когда Взрослые не в состоянии совершить убийство, ибо слишком хорошо знают, что это такое, какой оно имеет вес, и должны совершить это руками несовершеннолетних. Это убийство должно быть выпихнуто в сферу легкости, безответственности - только там оно возможно.

Ведь я не с сегодняшнего дня пишу об этом, эти идеи доминируют во всех моих писаниях. И в “Дневнике” идет об этом речь: например: “Молодость мне явилась как высшая и абсолютная ценность жизни... Но эта “ценность” имела одну черту, придуманную, видимо, самим дьяволом - будучи молодостью, она была чем-то менее ценным”.

Последние слова (“менее ценным”) объясняют, почему несмотря на столь острый во мне конфликт Жизнь-Сознание, я не высадился ни на каком из современных экзистенциализмов. Для меня равноценны как истинность, так и неистинность жизни. Моя антиномия - это с одной стороны Ценность, а с другой - Недоценность... Недостаточность... Недоразвитость... Это, я полагаю, во мне - самое главное, наиболее личное и особенное. Несерьезность, как мне кажется, точно так же нужна человеку, как и серьезность. Если философ говорит, что “человек хочет быть Богом”, то я бы добавил: “человек хочет быть молодым”.

По-моему, одним из инструментов этой диалектики Совершенство-Несовершенство, Ценность-Недоценность являются различные периоды жизненного цикла. Вот почему столь неизмеримую и драматичную роль я придаю начальному возрасту - молодости. И потому мой мир деградирован: это как будто Вы схватили Дух за шкирку и погрузили его в легкость, в низкое...

Разумеется, в “Порнографии” я не столько рассматриваю философские тезисы, сколько пытаюсь выявить художественные и психологические возможности темы. Я ищу определенные “красоты”, соответствующие этому конфликту. Метафизична ли “Порнография”? Метафизика - означает “внефизичность”, “внетелесность”, а моим намерением было дойти через тело к определенным антиномиям духа.

Это произведение, видимо, очень трудно, хотя оно имеет вид обыкновенного и даже довольно неприличного “романа”... С нетерпением жду его появления на французском, немецком и итальянском языках - эти издания постепенно готовятся - и я надеюсь, что на чужой земле найдется больше читателей, как и Вы, ищущих смысл”.

КОММЕНТАРИЙ К “ДНЕВНИКАМ”

Лехонь Ян (1899 — 1956) — поэт, журналист. Дебютировал в 1913 г. томиком стихов “На золотом поле”. Один из основателей поэтической группы “Скамандер”. В 1926 — 30 гг. редактор сатирического журнала “Цирульник Варшавски”. С 1930 г. — на дипломатической службе (Париж, Нью-Йорк).

Гжимала-Седлецкий Адам (1876 — 1967) — писатель. Дебютировал в 1898 г. на страницах студенческого журнала “Млодость” публицистикой и пьесой “Рабы крови”. В 1906 — 1918 гг. заведующий литературной частью краковских театров.

Дембицкий Здислав (1871 — 1931) — критик, поэт, публицист, редактор “Тыгодника Илюстрованого”; связан с крестьянскими демократами.

“*Небожественная комедия*” (1835) — анонимно опубликованная фантастическая драма-видение Зыгмунта Красиньского (1812 — 1859), где в обобщенно-публицистических образах впервые в польской литературе затронут вопрос о движущих истории противоречиях.

“*Камо грядеши*” (1894 — 1896) — роман-эпопея Генрика Сенкевича (1846 — 1916).

“*Рота*” (1908) — польская патриотическая песня на слова М. Конопницкой (“Не бросим землю, откуда наш род”).

Вавель — архитектурный ансамбль на горе Вавель к югу от Старого Мяста в Кракове; усыпальница польских королей, епископов и исторических деятелей.

Конституция Третьего Мая — основной закон Речи Посполитой, принятый четырехлетним Сеймом в 1971 г.; самая прогрессивная конституция своего времени. Ее действие прекращено в 1792 г. с разделом Польши.

Тетмайер Казимеж (1865 — 1940) — поэт, прозаик, драматург; автор рассказов с сильным фольклорным элементом.

Конопницкая Мария (1842 — 1910) — писательница; автор прозы и стихов в народно-патриотическом духе.

Собеский Ян, Ян III (1629 — 1696) — король Речи Посполитой с 1674 г., полководец. В 1683 г. разгромил турецкую армию, осаждавшую Вену.

Et quasi cursores... — “Словно бегуны передают факелы жизни” (Лукреций, “О природе вещей”).

“*Транс-Атлантик*” (1951) — роман Гомбровича.

Милош Чеслав (р. 1911) — поэт, эссеист, переводчик; лауреат Нобелевской премии по литературе. С 1945 — на дипломатической службе, с 1951 профессор Калифорнийского университета в Беркли.

“*Венчание*” (1953) — пьеса Гомбровича.

Жеромщина — национально-освободительная патетика, идейные искания интеллигенции в романах Стефана Жеромского (1864 — 1925).

ОБ АВТОРЕ

Витольд Гомбрович родился в 1904 году в Малошинах под Опатовом, в помещицкой семье. Экзамен на аттестат зрелости он сдавал в варшавской гимназии; в 1927 году получил в Варшавском университете степень магистра правоведения. Изучал также философию и экономику в Париже, несколько лет работал юристом. В 1939 году выехал с экскурсией в Аргентину, где и застала его война. Ему не пришлось принять в ней участия главным образом из-за сильнейшей астмы. Эмигрант поневоле, Гомбрович так и не сблизился с польской колонией в Аргентине; впрочем, он и не очень стремился к такому сближению. Аргентину он покинул только в 1961 году, вернувшись в Западную Европу. Умер в Вансе (Франция) в 1969 году.

Гомбрович дебютировал в 1933 году сборником рассказов "Дневник периода возмужания". Также до войны вышли его роман "Фердыдурке", пьеса "Ивона, принцесса Бургундская", а в литературной периодике печатались отдельные рассказы. Всеобщее признание пришло к писателю лишь после второй мировой войны. Его пьесы шли на сценах ведущих мировых театров. Последний всплеск интереса к творчеству Гомбровича, видимо, справедливо было бы связывать с предпринятым в 1986 году краковским "Выдавничеством Литерацким" наиболее полного, 9-ти томного издания сочинений писателя.

Представленные в данном сборнике рассказы были написаны и опубликованы до войны, а в новой редакции, взятой за основу для перевода, - в 1957г.; роман "Порнография" - написан в 1958, а опубликован в 1960 году. Из обширного дневникового наследия писателя выбраны те страницы, которые помогут читателю лучше понять помещенные здесь произведения. Давно вошедшие в наш обиход иноязычные слова и выражения оставлены без перевода, т.е. именно так, как это сделал Автор в отношении своего читателя.

При переводе сохранены некоторые особенности изобретенной Гомбровичем "интонационной" пунктуации, во многом отличной от общепринятой.

СОДЕРЖАНИЕ

Витольд Гомбрович в лабиринте мнений (вместо предисловия)	5
РАССКАЗЫ	9
Девственность	11
Банкет	29
Воспоминания Стефана Чарнецкого	41
Крыса	57
На лестнице черного хода	69
Приключения	89
ПОРНОГРАФИЯ	107
Информация	109
Часть первая	110
Часть вторая	178
СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА	253
Комментарий к “Дневникам”	318
Об авторе	319

Витольд Гомбрович

ДЕВСТВЕННОСТЬ и другие рассказы.
ПОРНОГРАФИЯ.
СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА.

Подписано в печать 26.11.1992. Формат 84x108 1/32.
Объем 10,0 п. л. Тираж 10 000 экз. Печать офсетная.
Заказ № 264.

„ЛАБИРИНТ”
103045, Москва, Последний пер., д. 23, стр. 3, комн. 9.
Тел. 207-19-22.

1. „Чертановская типография”, МГПО.
113545, Москва, Варшавское шоссе, 129а.

Одна из наиболее насущных потребностей во время написания этой довольно порнографической местами "Порнографии": пропустить мир через молодость, перевести его на язык молодости, т.е. на язык привлекательности... Смягчить его молодостью... Приправить его молодостью — чтобы он поддался насилию.

Витольд Гомбрович, "Дневник"

Он вел игру, состоящую из бесконечных провокаций, и загонял читателя в угол, вынуждая его признавать самые неприятные истины.

Чеслав Милош

Гений Гомбровича самые абстрактные идеи воплощает в сопряжении с эротикой.

К.А. Еленьский

Все герои Гомбровича способны совершать хорошие поступки лишь из страха перед дурными поступками. Абсолютная порядочность — это абсолютный маскарад.

Гэри Индиана

"Порнография", написанная двадцатью годами позже, чем "Фердымурко", — более традиционная и целостная вещь, совершенная по композиции и безукоризненно мрачная.

Джон Апдайк

Никакой сексуальной реальности. Весь секс остается в состоянии потенциального. Вот это — то Гомбрович и называет порнографией.

Ханс Майер

"Дневник" оставляет ощущение такой интимности, которая почти что несовместима с печатным станком. В этом смысле перед нами как бы догутенберговское произведение: оно обращается к читателю точно так же, как некогда обращался к своим слушателям сказитель в мрачных интерьерах средневековых покоев.

Ева Томпсон